САМУИЛ ЛУРЬЕ

ЛИТЕРАТОР ПИСАРЕВ

ВРЕМЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности…

- Самуил Лурье
  - КНИГА ПЕРВАЯ
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
    - Глава десятая
  - КНИГА ВТОРАЯ
    - Глава одиннадцатая
    - Глава двенадцатая
    - Глава тринадцатая
  - ЭПИЛОГ
  - ПРИЛОЖЕНИЕ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33

Самуил Лурье
Литератор Писарев

КНИГА ПЕРВАЯ

За теориею словесности следует история русской литературы. Эта история, как и все другие, представляет список имен, которые навсегда останутся для ученика именами, ровно ничего собою не означающими. Жил-был Нестор, написал летопись; жил-был Кирилл Туровский, написал проповедей много; жил-был Даниил Заточник, написал Слово Даниила Заточника; жил-был Серапион, жил-был, жил-был, и все они жили-были, и все они что-нибудь написали, и всех их очень много, и до всех их никому нет дела, кроме гимназистов и исследователей старины.

Д. И. Писарев. Наша университетская наука

Глава первая
1840–1856

Варваре Дмитриевне Даниловой долго не удавалось выйти замуж. Росла она без матери; ни сестер, ни подруг. Воспитывалась в доме тетушки Натальи Петровны. Зябкое девичество, французский дневник. Владела французским получше многих уездных барышень, порядочно играла на фортепиано.

Однако манерам ее недоставало плавности, в улыбке не было простодушия, обращение отзывалось какой-то суховатой восторженностью. И драгунские офицеры, наезжавшие к родным в Орловскую губернию, не спешили ангажировать Варвару Дмитриевну на гросфатер или же на мазурку. Ей исполнилось уже двадцать четыре, когда румяный, с холеными усами штабс-капитан Писарев сделал предложение.

В октябре тридцать девятого сыграли свадьбу, переехали в Знаменское Елецкого уезда, поселились в просторном, многолюдном доме: Иван Иванович владел имением сообща с братьями. Потянулась крикливая череда мелкопоместных развлечений. Не прошел медовый месяц, когда Варвара Дмитриевна случайно прочла письмо своего молодого супруга к какому-то бывшему сослуживцу. С некоторой горделивостью Иван Иванович сообщал, что вышел в отставку и женился — на деньгах.

«И не было той любви, которую я думала встретить», — жаловалась Варвара Дмитриевна дневнику.

В начале октября сорокового года родился у Писаревых сын Дмитрий. Кормила его кормилица, нянчила няня. В Знаменское были приглашены сперва бонна — фрейлейн Блез (малыш звал ее Люлей), а потом и гувернер — мсье Латорильер.

Варвара Дмитриевна неусыпно руководила воспитанием сына. Кажется, ей не чужда была мысль, что вот она среди сугробов растит необыкновенного человека.

Она приучила малыша к ежевечерней исповеди. Вдвоем разбирали каждый прожитый день. Митя вел для мамаши дневник, признавался ей в шалостях и проступках. Проступки порою бывали важные: читая задремавшей Люле Шиллерову «Тридцатилетнюю войну», пропустил несколько страниц. Ему и в голову не приходило, что можно скрыть, придержать хотя бы и самую мимолетную мысль. Домашние прозвали Митю «хрустальной коробочкой».

Варвара Дмитриевна считала, что ни часа не должно

пропадать впустую, без пользы для развития ребенка. Игры с деревенскими ребятишками, зряшная беготня, бесцельные прогулки не допускались. Сразу после завтрака начинались занятия. Французские глаголы, немецкий диктант, чтение вслух, чистописание, стихи наизусть…

Чему учить мальчика, кроме языков и арифметики, Варвара Дмитриевна не знала, и никто в уезде не знал. Выписывали «Детский журнал», вечерами читали вслух. Прослышав, что дьякон соседнего прихода славился в семинарии как отличный латинист, призвали дьякона. У писаря каллиграфический почерк — наняли писаря.

Случались в Знаменском гости — Митю высылали к ним, и те, как водится, ахали: до чего же бойко малютка стрекочет по-французски, и держится при этом невозмутимо, точно взрослый.

Митя выказывал прилежание, и языки давались ему легко. Но, к огорчению Варвары Дмитриевны, больше всего он любил играть в куклы да раскрашивать в книжках политипажи. Иногда отец брал его с собой на охоту. Мальчик до слез пугался лошадей, собак, выстрелов и выкриков. Иван Иванович прозвал сына нюней и время от времени собственноручно сек.

Но это бывало редко. Глава семьи большую часть жизни проводил перед зеркалом. Выписывал из столицы разные притирания, лосьоны. Выезжал на поля не иначе как под зеленым вуалем. Пользовался успехом у красавиц околотка.

Между тем, дела по имению шли неважно, а после неурожайного, пожарного сорок восьмого года стало ясно, что Знаменское придется продать за долги.

Хорошо еще, что купить вызвался двоюродный братец Николай Эварестович Писарев, бывший олонецкий гражданский губернатор, богатейший помещик.

У Ивана Ивановича было еще небольшое имение в Тульской губернии, в Новосильском уезде. Называлось оно Грунец. Туда и решили перебраться.

Семейство Писаревых к этому времени разрослось. Вере, дочери, шел пятый год.

А еще Варвара Дмитриевна взяла на воспитание племянницу мужа, Митину ровесницу, девятилетнюю Раису.

Ее мать, Настасья Ивановна Коренева, умерла в Москве, осиротив троих детей. Раиса и раньше гостила у Писаревых. Теперь осталась насовсем. Уж Варвара-то Дмитриевна знала, каково это — расти без матери. Но тут были не только христианские, не только родственные чувства. Все поступки, знакомства и разговоры Варвары Дмитриевны имели одну цель: как можно лучше приготовить Митю к неведомой, но великой

будущности.

А Митя тяготился бесконечными уроками. Ему недоставало честолюбия, упорства, желания отличиться. Да и перед кем? Сюсюканье взрослых приелось. Верочка еще слишком мала. Нужен был сверстник, равноправный товарищ.

Раиса была умна, насмешлива, развита не по годам: успела уже распробовать судьбу «чужой барышни», маленькой приживалки, успела узнать зависимость, одиночество, утраты. И читала в отцовском доме много, даже романы. Варвара Дмитриевна просто в ужас пришла, когда племянница без тени смущения призналась, что прочла «Ледяной дом» Лажечникова, — ни больше ни меньше!

Девочка была с характером. Смелая, гордая, скрытная. И собой недурна: худенькая, стройная, темные волосы, серые глаза. Рыхловатый, краснощекий Митя подле кузины казался малышом. Она его называла «деточкой», он ее прозвал «бабусей», Раизой, Розой. Дети стали неразлучны. Расчет мамаши, если он был, оправдался вполне. Занятия пошли гораздо веселей. Но зато скоро весь дом возревновал Митю к «чужой барышне». Однажды старая нянька сказала в шутку, что Раиса, дескать, чересчур уж тощенькая. Мальчик залился слезами: «Зачем ты это сказала, ведь я теперь никогда уже не смогу тебя любить, как прежде».

Ему было девять лет. Он был влюблен в Раису и часто, засыпая, представлял, как выносит ее на руках из горящего дома, или дерется за нее на дуэли, или бросается за ней с обрыва в реку.

Переезд в Грунец совершился осенью пятидесятого года. Варвара Дмитриевна была удручена неприглядностью новой обстановки: река далеко, сад запущен, и дом неудобный, скрипучий — даже не дом, а просто собрание пристроек и флигелей, косящихся в разные стороны.

Впрочем, к приезду господ были выбелены стены, заново расписаны потолки, ампирная мебель обита малиновым штофом, исправлены раздвижные вольтеровские кресла. Дети бродили по комнатам, еще не получившим названия и назначения. В эти дни Раиса придумала игру. Она так и называлась — Наша Игра. Каждый — Митя, Раиса, Вера — брал под свою власть и покровительство нескольких кукол. У кукол были красивые имена — Эльмира, Шам, Антонио. Их знакомили, женили, разлучали. Каждый вечер отношения менялись, фарфоровые персонажи тосковали друг без друга и соединялись вновь. Сюжет вился. Игре не видно было конца.

Но Мите предстояло ехать в Петербург. Николай Эварестович

Писарев вызвался платить за обучение племянника в гимназии. «В люди выйдет, станет на ноги — сочтемся». Много слез пролила Варвара Дмитриевна, и будущий гимназист, конечно, плакал навзрыд. Однако расставание было неизбежно. Это ясно понимали все, даже Иван Иванович, высказавшийся в том духе, что, дескать, не свиней же Мите пасти в деревне.

Год прошел в деятельной подготовке к экзаменам, которые Митя, по замыслу матери, должен был держать сразу в четвертый класс. С мсье Латорильером пришлось к этому времени расстаться, и занятиями увлеченно руководил Андрей Дмитриевич Данилов, брат Варвары Дмитриевны, недавний студент, красноречивый неудачник.

Был Андрей Дмитриевич в ту пору молод, великодушен и проникнут сознанием своей высокой миссии. Ему были вверены умы и сердца удивительных детей.

Он совершенно разделял убеждение сестры, что нет на свете другого такого кроткого, правдивого и остроумного малыша, как Митя. Всякую мысль схватывает на лету, каждое новое слово мгновенно запоминает. Знать бы, на каком поприще суждено ему отличиться. Слыханное ли дело, чтобы ребенок с восьми лет сочинял, да еще по-французски? И ведь забавно пишет, и эта сказка его, «Рамалион», где действие происходит на таинственной планете «Мир духов», — прелестная сказка.

Впрочем, Андрей Дмитриевич находил, что способности Раисы едва ли уступают Митиным. Он восторгался слогом ее дневника, силой ее характера, умом. «Какой материал! Это будет первая женщина в России!» — восклицал он за вечерним чаем. Варвара Дмитриевна, слушая брата, лишь качала головой.

Наступил день отъезда, мягкий декабрьский день тысяча восемьсот пятьдесят первого года. Вещи уложили в кибитку. Притихшая семья, кое-как покончив с завтраком, проследовала в образную. Не сводя глаз с киота — старинные иконы в серебряных ризах, пучки трав с берегов Иордана, — изо всех сил сдерживая слезы, Митя повторил за матерью молитву, которую затвердил, едва научившись говорить, — о ниспослании понятия к наукам. Варвара Дмитриевна повесила ему на шею бархатный мешочек с вышитым изображением Димитрия Солунского. Внутри была вата с мощей святого — лучшее средство от головной боли.

Потом, уже простившись, долго шли все вместе по накатанной, в мраморных разводах, дороге, шагах в ста позади кибитки. Говорили разные пустяки.

Наконец, поднявшись на косогор, кибитка остановилась. Дяденька Константин Иванович — он ехал в Петербург по делам

— усадил плачущего Митю на подушку и сам сел рядом, застегнув меховую полость. Кучер крикнул на переминавшихся лошадей, те резво взяли с места. Иван Иванович, Варвара Дмитриевна, Андрей Дмитриевич, Вера и Раиса размахивали цветными платками, пока не скрылась кибитка в быстро темнеющей дали.

…Потянулась дорога. Вечером в Сергиевском переменили лошадей, — дальше ехали на почтовых. Под утро остановились в Туле. Еще сутки добирались до Москвы. Полозья тонули в сугробах, скрежетали на редких мостовых, опасно звенели по наледям. На каждой почтовой станции пахло щами, дегтем, отсыревшей овчиной, блестел начищенными боками дежурный самовар. От самовара до самовара верст двадцать. Марьино, Маляково, Серпухов, Молоди, Подольск. Дорога шла сквозь сон, прерывалась ознобом и странно громкими мужскими голосами.

В Москве ночевали у родственников. Наутро отправились в контору железной дороги.

> «…Там были люди всяких классов: купцы, мещане, офицеры, солдаты, дворяне и даже Татары. Итак, мы наконец поехали; у меня невольно сжалось сердце, но это было скорее от нетерпения, от беспокойства, а не от боязни. Машина тронулась сначала очень медленно, потом все скорее и скорее и, наконец, достигла невероятной степени быстроты: мы летели».

Целые сутки летел поезд до Петербурга. На следующее утро дяденька Константин Иванович отдал Митю с рук на руки тетеньке Наталье Петровне. Теперь мальчик должен был жить у нее.

> «Тетенька вышла нам навстречу, и я бросился в ее объятия и благодарил ее мильон раз за ее благодеяние и обещал ее любить, как Тебя, милая, нежная Мамаша».

Так вот и случилось, что отрочество Мити Писарева прошло вдали от родного дома, среди петербургских подагрических дядюшек и перезрелых кузин, в одинокой, захватывающей борьбе с гимназической программой. Родители, Вера, Роза, дяденька Андрей застыли в ожидании где-то далеко, на краю учебного года, превратились в адрес на конверте, приготовленном к воскресенью, в слова «каникулы» и «Грунец», в мечту, неотвратимо тускнеющую к декабрю, но прибывающую после солнцеворота, — совсем как петербургский денек.

Наталья Петровна что ни год нанимала новую квартиру, но всякий раз так, чтобы не слишком удаляться от Гагаринской улицы, от Третьей Санкт-Петербургской гимназии, а стало быть, и от Пустого рынка, и от церкви Слепых, и от Летнего сада, — Литейная часть, одним словом.

В Третьей гимназии, где плата за обучение была не слишком высока, но состав преподавателей превосходный, — в Третьей гимназии учился Митя Писарев. И другой Митя, Уваров, тоже внучатый племянник Натальи Петровны.

А еще жила у нее Марья Федоровна Уварова, сестра этого другого Мити, вздорная девица лет двадцати.

Добрая и набожная женщина была штабс-капитанская вдова Наталья Петровна Данилова, урожденная Жукова. Любила племянников и племянниц, охотно тратила на них скромный свой пенсион и не докучала ни нотациями, ни нежностями. Воспитала в свое время Вареньку, то бишь Варвару Дмитриевну, теперь вот ее сына взяла к себе. Пусть учится.

И, невольно подражая Наталье Петровне, дальняя-предальняя петербургская родня Писаревых одобрительно гудела вокруг Мити все время, пока он учился в гимназии. Дарили ему портфели и галоши, книжки и перочинные ножички, конфеты и серебряные рубли. Закармливали на Рождество и на Пасху, звали на детские балы. Спрашивали об отметках. Хвалили почерк. Ставили в пример другим детям — смотрите, какой он скромный, прилежный, благовоспитанный.

— Это-то верно, — вздыхала Наталья Петровна, — только вот вялый он какой-то. Тихий слишком. А и расшалится, так некстати и чересчур. Затеет бегать по всему дому с другим-то Митенькой, с Уваровым, — батюшки мои, не угомонишь. Пока не разобьет что-нибудь — зеркало, или чашку, или нос. Да оно бы ничего, только редко резвость эта в нем проявляется. И то сказать, всё не дома. По своим скучает, бедный. Потом и учиться нелегко. Задач им, уроков задают — как только справляется! А Митя в классе-то самый младший. Писала ведь я Вареньке, что трудно ему будет…

Учился Митя Писарев очень хорошо, хотя и без блеска. Шел то вторым, то третьим. И награды, которые он получал каждую весну, при переходе в следующий класс, давались ему ценой усилий, головной боли. Но зато не бывало скучно. Жизнь скрашивал азарт отличника, понятливая память что ни день торжествовала победу, а главное — взрослые были довольны Митей. Ради этого стоило отложить «Трех мушкетеров», спрятать в стол коробку с игрушечными солдатиками. Завтра спросят из латинского, а Овидий не готов. И надо подзубрить физику — трение. И шесть задач по алгебре. И немецкие примеры.

День за днем, вечер за вечером уходили гимназические годы на приготовление уроков, на ожидание, что вызовут, спросят, пригласят к доске.

> «Я имею 5 по всем предметам, включая военные упражнения: итак, я сравнялся с Ординым, и не моя вина, если он считается первым».

Классы начинались в девять. Митя часто опаздывал. Мучительно было просыпаться впотьмах, становиться босиком на скользкий стылый паркет. Умыться, причесаться, глотнуть чаю с молоком, натянуть шинель и галоши, броситься к дверям и вернуться за позабытым учебником Смарагдова. Вывалиться, наконец, из подъезда в декабрьскую мглу, расквасив снежок на тротуаре. И с первым шагом, с первым глотком темного, сырого воздуха забыть, что видел во сне, и вспомнить, что на сегодня задано…

Догорают плошки на чугунных тумбах, мерцают свечи за обледенелыми окнами домов, топочут лошади, пахнет хлебом, проплывают заснеженные шинели. Оскользаясь и взмахивая руками, бормоча вызубренную строку из «Илиады», спешит на урок маленький гимназист.

Потом он идет по коридору, вдыхая тепло, пропахшее раскрошенным мелом и влажной ветошью. По правую руку — двери классов, там уже бубнят утренние голоса, по левую руку — большие окна, в которых сквозь его отражение, сквозь блеклые чернила столичной зимы уже проступает резкий контур соседней крыши с прямоугольными зубцами дымоходов.

Уняв дрожь, постучаться, извиниться, выслушать выговор, проскользнуть, не глядя на пересмеивающихся одноклассников, к своей парте, скорей достать все, что надо, и замереть на несколько секунд, пока возобновляется урок, пока забудут…

Вообще-то пансионеры гимназии не любили приходящих учеников, этих прилизанных баричей, которых за ручку приводили в класс горничные, а дома ждала отдельная комната, мягкая постель, рождественская елка. У пансионеров была своя компания. В карманах черных курточек они прятали окурки. Ночами в дортуарах по очереди рассказывали соблазнительные и страшные истории. Делились друг с другом родительскими посылками, на уроках тайком сочиняли письма в далекие степные уезды, а перед ужином гурьбой слонялись по Литейной, робко роняя неприличные слова вслед проходившим мещанкам. В гимназии случались драки.

Но Митю Писарева почти не трогали, хотя он и был самым младшим в классе. В конце концов, он тоже приехал издалека, и

жил не с родителями, а у какой-то тетушки, он не зазнавался и не ябедничал. Его дразнили «девчонкой», но, по правде говоря, и нельзя было не дразнить: высокий звонкий голосок, нежный румянец (фамильная черта!), тетрадки, все как одна, любовно обернуты цветной бумагой, перевязаны ленточками, в учебниках закладки, и перья всегда очинены… просто досада брала. Ходил Митя Писарев важно, как взрослый, руки держал на отлете, а толкни — сразу упадет. Драться с ним было неинтересно. Вот разве ущипнуть или руку выкрутить — чтобы весь покраснел, изображая невозмутимое достоинство, а голос жалобно задрожал: «Да что же это, господа! Полно ребячиться! За что?».

Чистюля, плакса, отличник — хотя казеннокоштный Ордин учился лучше, и Мостовенко и Цветков не отставали, — Митя все же иногда удивлял товарищей. То загрустит, затихнет — и целую неделю учителям от него толку не добиться. То на рекреациях ринется со всеми в обжоги — пятнашки, — на щеках багровые пятна, визгливо и громко хохочет, и хоть сам директор выйди в коридор — Писарев не увидит и не услышит.

Учителя к нему благоволили, особенно Буш, Эдуард Павлович, преподаватель немецкого. Словесник Владимир Яковлевич Стоюнин был суровее всех. И Писарев томился на уроках литературы. Свои гладкие, дельные сочинения он начинял общими местами, тоненьким эхом возвращая Стоюнину его же честные, черствые мысли. Но это в сочинениях по гимназической программе. А программа была урезана, хрестоматия Галахова бедна. И чтобы развивать учащихся, Стоюнин задавал им писать на вольные, неожиданные темы: «Первый урок за азбукой», «Скука»… В этих случаях у Писарева, к общему удивлению, выходило лучше всех. Всякий раз получался беззащитный мемуар, поразительная смесь жалобы и насмешки, точно было двое Писаревых — маленький и большой, точно старший писал о младшем, все без утайки.

> «И нам случается скучать; как засидишься дома на праздниках; на улице холодно, пойдешь гулять, уши отморозишь; дома скучно сидеть; читать надоело, писать нечего, да если и было бы, так лень. — А тут шепчет какой-то голос, вроде совести: — повтори-ка риторику; да и хронологию не худо было бы поучить. Или набери слова из Корнелия Непота. — Э, отвечаешь на этот тайный голос, риторика пустяки, и повторять-то не стоит, хронологию подучить успею, ну а слова… да еще время впереди…
>
> Вот и заглушишь кой-как тайный голос и опять

предаешься полусонному бездействию и погрузишься почти в то состоянье, в котором Китайцы представляют своих ленивых богов. — Но ведь это смешная сторона скуки; но беда, если к ней присоединится какая-нибудь другая причина; например, уединение; тогда она принимает громадные размеры, она переходит в тоску; к скуке присоединяется какая-то болезненная грусть, какое-то томительное, тяжелое, душное чувство одиночества, какая-то тайная, непонятная боязнь, сжимающая сердце, и скука, чувство и без того неприятное, делается невыносимым, переходит в хандру, приводит в отчаянье, и решительно отравляет жизнь».

Стоюнин выводил на полях: «Очень хорошо» — и ставил дату. Ни он и никто другой ни тогда, ни после не видели на линованной бумаге пятен судьбы.

Так прошли три с половиной года. Все чаще снилась Писареву Роза. Все дольше просиживал он у окна, глядя на грязный двор, загроможденный поленницами дров. Бродячие музыканты завывали: «Ты умерла, ты умерла!». В табеле были четверки за прилежание и за поведение. К счастью, это был седьмой класс, весна пятьдесят шестого. Прошли экзамены, а с ними — апатия и тоска. Пятнадцатого июля состоялся выпускной акт. Были прочитаны речи на греческом, латинском, французском, немецком и русском языках. Затем приступили к раздаче наград. Дмитрий Писарев получил похвальный аттестат за номером 739 «с правом вступления в гражданскую службу с чином четырнадцатого класса и с преимуществами второго разряда чиновников по воспитанию». Он был награжден первою серебряною медалью. Золотую получил Филипп Ордин.

Гимназический сторож в последний раз взмахнул колокольчиком, и музыка свободы раздалась в сердцах девятнадцати выпускников.

Назавтра Писарев уехал в родительское имение.

Стоит ли описывать деревенское лето? Всякий легко представит себе землянику в траве, и тающий в зените обрывок облака, и листву, на которой дрожат пятна света, отраженного рекой. Холстинковые платья барышень, кружевные зонтики; голоса в роще, завтрак на опушке, муравей бежит по скатерти, огибает серебряную солонку. Аукаются горничные девушки, обирая сумрачный малинник. И к вечеру будет гроза.

Все эти parties de plaisir, и купание в Зуше, и Куперов «Шпион», которого читают вслух, расстелив пледы под старинной

липой. А качели в саду! А шахматы на террасе!

И Митя Писарев был счастлив. Он потолстел. Отпустила судорога, пропал пугливый осклаб смышленого карлика. Он снова был наконец-то дома, и все любили его: родители, сестры Вера и младшая, Катенька, и Роза. Мир сомкнулся вокруг, стало светло и безопасно.

Смысл и долг и цель жизни заключались, собственно, в том, чтобы так было всегда. И для этого Мите надлежало непременно и скоро добиться солидного положения в обществе, сделать карьеру, упрочить семейный бюджет.

Навестили благодетеля Николая Эварестовича в белоколонном его Истленеве. Благодетель был человек дальновидный, практический был человек. Он говорил, что раз уж нет у Мити склонности к военной службе, то поступать с чином четырнадцатого класса в какой-нибудь департамент и вовсе глупо. В лучшем случае годам к сорока получишь статского советника с окладом тысячи в три, а это не бог весть что, особенно в столице. А в провинции служить не всякий сумеет, — надо ох какие тонкости знать досконально. Тем более сейчас, в начале нового царствования, после проигранной кампании в Крыму. Неизвестно, что ждет впереди. Поговаривают о каких-то реформах. Так что если молодой человек желает продолжать образование — давай Бог. Учение нынче в чести.

Благодетель выразил готовность платить за Митю в университет. Лучшего и желать было нельзя. Прошлое съежилось стопкой учебников в теткином шкафу, будущность сияла эфесом студенческой шпаги. Правда, опять сквозила разлука; опять, словно в холодную воду, входить в жизнь, полную городского шума и чужих людей, — но лишь затем, чтобы, выбравшись на берег, никогда уже не покидать его.

Оставалось выбрать факультет.

> «По математическому не пойду, потому что математику ненавижу, и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения… По естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики; юридический факультет сух… В камеральном факультете нет никакой основательности… Разве на восточный… Поехать при посольстве в Турцию или в Персию… жениться на азиатской красавице… привезти ее в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаже, в итальянской опере… Это, впрочем, пустяки… А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые,

пожалуй, будут похуже греческой… Ну и Бог с ним! Значит — на филологический!»

Читатель знает, конечно, что в этом беглом повествовании прошло уже более половины жизни Дмитрия Писарева. Ему шестнадцать лет.

Он не любил еще никого, кроме родителей, сестер и худенькой строгой кузины; не интересовался ничем, кроме картинок, игрушек и авантюрных романов. Подолгу жил от родных вдалеке. Выказывал отличные способности, но часто скучал и плакал. Ходил к исповеди и не читал газет.

Очень скоро вся эта светлая половина жизни представится ему сплошной дремотой, оцепенением путника, подавленного набегающим, пронизывающим пространством. Писареву покажется, будто он проспал отрочество, как дорогу от Грунца до Петербурга, как урок в гимназии…

Глава вторая
СЕНТЯБРЬ 1856 — АВГУСТ 1857

Профессоры читали слишком громко. На первом курсе числилось всего двенадцать филологов. Один из них, впрочем, на лекциях не показывался. Звали его Всеволод Крестовский, он писал стихи, печатался, вращался в литературных салонах. В университете он появился лишь перед началом переходных экзаменов, весной.

Остальные первокурсники посещали занятия довольно усердно. Тем более что и лекций было всего двенадцать в неделю, и записывать их было не обязательно (не то что в Главном педагогическом институте!). Один Писарев вел, разумеется, тщательнейшие конспекты и школьническим прилежанием вызывал снисходительные усмешки соседей. «Рыженький, розовенький, с веснушками на лице, одетый с иголочки, он глядел вербным херувимчиком. Лекций он записывал бисерным почерком в красивеньких, украшенных декалькоманиею тетрадочках с розовыми клакспапирчиками. Всегда тихонький и кроткий, он имел вид не столько студента, сколько гимназиста третьего или четвертого класса», — впоследствии вспоминал однокурсник его Скабичевский.

Главными предметами были древняя история (профессор Касторский), теория языка и история древнерусской литературы (адъюнкт-профессор Сухомлинов), а также славянские наречия (академик Срезневский).

Касторский был бездарный смешной педант, Сухомлинов — посредственный ученый, но умелый лектор, а Срезневский — блестящий исследователь и требовательный преподаватель.

Студенты потешались над Касторским, уважали и побаивались Срезневского и аплодировали Сухомлинову.

> «Я до сих пор помню, как он однажды, отработав специальный предмет лекции, начал говорить о величии знания вообще и вдруг заключил свою лекцию словами Беранже „L'ignorance, c'est l'esclavage, le savoir, c'est la liberté“ (невежество — рабство, знание — свобода). Нас так и подкинуло кверху, эффект вышел оглушительный…»

Известно, как действуют на новичков вступительные лекции. В самом монотонном изложении самого заурядного преподавателя слышится обещание и тайна. На вас обрушивается

целый мир новых слов, и каждое кажется путеводным. Горстке ошеломленных недорослей толкуют о вещах, самого существования которых они не подозревали. В плохо протопленных аудиториях порхают заманчивые названия: Краледворская рукопись, Моление Даниила Заточника, Русская Правда. А сколько имен: Страбон и Гизо, Лютер и Маколей, Востоков и Кирилл Туровский…

Все это было увлекательно и лестно. Все хотелось узнать самому, из первых рук, с самого начала и по порядку. Но стоило ухватиться за что-нибудь, за любое название — и в руке оказывался кончик бесконечно длинной нитки, которую никак всю не размотать. У той же Краледворской рукописи была такая сложная и загадочная история, что человеческой жизни могло недостать на ее изучение…

Это все потом, потом. А пока что глаза щипало от восторга. И учиться было не в пример легче, чем в гимназии. Времени свободного открылась пропасть. Обнаружилось, что день велик и Петербург огромен. Европейский город, пятьсот тысяч жителей. До чего затейливо был он иллюминован второго октября, как раз в день рождения Писарева, — по случаю въезда государя (Александр II возвращался из Москвы, где проходили коронационные торжества)! Как славно было после лекций плечо в плечо с Ординым и Мостовенко (вчерашними одноклассниками, а теперь однокурсниками) пройтись по Невскому, по солнечной стороне, распахнув плащи так, чтобы виднелись синие воротники мундиров.

Проголодавшись, заходили в кондитерскую, где шелестели дружно листаемые газеты, будто ветер в снастях корабля.

— «Сиамская армия, по общему мнению, обладает наилучшими боевыми слонами из всех стран Крайнего Востока», — читал вслух один завсегдатай другому.

А на Невском прибывал шум экипажей, говор толпы. Мимо витрин скользили нарядные дамы, франты в черных касторовых пальто. Один за другим зажигались фонари, и наступал вечер.

Пора было домой. Жил теперь Писарев не у тетушки Даниловой, а у дядюшки — генерала Роговского. Генерал был богат и со связями в кругах средней петербургской бюрократии. Предполагалось, что в доме у него Митя Писарев усвоит светский лоск и сделает нужные знакомства. Ну и, конечно, здесь он чувствовал себя гораздо независимей, чем под опекою тетушки Натальи Петровны. Генерал покровительствовал ему равнодушно и требовал одного: не опаздывать к обеду. В комнате у Мити стоял замечательный, тяжелый, орехового дерева стол, и можно было сколько угодно заниматься древнегреческим, читать

«Парижские тайны» или возиться с переводными картинками.

В самом конце первого семестра профессор Сухомлинов на лекции по истории языка заговорил о том, что филолог должен внимательно следить за работой западных мыслителей.

— Мы не имеем права брать сведения из третьих рук, как это бывает слишком часто, — внушал Сухомлинов. И закончил так: — Вот здесь передо мной лежит несколько статей, написанных виднейшими немецкими учеными. Вам, господа, предстоит не только прочесть их, но и перевести.

Все его слушатели поместились на одной скамье в первом ряду. Писарев сидел посредине и к кафедре подошел последним. Ему досталась самая толстая брошюра: «Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философия Гегеля». Имена эти Писарев знал только понаслышке, а фамилия автора брошюры — Штейнталь — и вовсе ничего ему не говорила. Но выбора не оставалось.

Впрочем, он принялся за эту работу с увлечением.

Он обожал Михаила Ивановича Сухомлинова. «Я увлекался в одно время и чувством массы, и своею личною потребностью найти себе учителя, за которым я мог бы следовать с верою и любовью». На лекциях Сухомлинова, особенно когда он читал теорию языка, Писареву казалось, что за малопонятными словами мелькает особенный, стройный мир знаний, где все друг с другом связано и полно смысла; казалось, что филология — великое призвание, тайное братство умов, обладающее истиной и способное повернуть мир. И от причастности к этому призванию нарастал восторг: «Хочу служить науке, хочу быть полезным, возьмите мою жизнь и сделайте из нее что-нибудь полезное для науки!» И вот наконец случай представился.

На святках Писарев засел за брошюру Штейнталя — и руки у него опустились. Сто сорок страниц немецкого философского текста!

> «…Вообразите себе, что Штейнталь, который о высоких материях пишет так же удобопонятно, как и все прочие немцы, начинает сравнивать Гегеля с Гумбольдтом, и притом не факты, добытые ими, не результаты, к которым они пришли, а методы их мышления и исследования; и это сравнение продолжается на 140 страницах; и это надо было переводить мне — человеку, читавшему Маколея с трудом и Диккенса без особенного удовольствия… У меня на первых пяти строках закружилась голова…»

Можно было отказаться от задания и вернуть книжку Сухомлинову. Можно было попросить у него разъяснений, взять

список дополнительной литературы, попробовать разобраться в теме. Наконец, стоило попытаться все же одолеть эту злосчастную брошюру, дочитать ее до конца.

Ничего этого Писарев делать не стал. Ему было страшно и скучно, и самолюбие страдало. Подавленный необъятностью предстоящей задачи, он прибегнул к испытанной гимназической уловке — переводить слово в слово, не вникая в смысл, «не читать, а прямо переводить, хотя бы связь между отдельными периодами и смысл целого остались для меня совершенно непонятными».

Таким способом удавалось изготовить не более двух страниц в день. Нелепая работа должна была отнять почти семестр. Этот расчет омрачил праздники.

Новый год Писарев встречал в дядюшкиной гостиной: легкий ужин, потом шампанское, конфекты. За столом толковали о ворах, которых в эту зиму появилось так много в Петербурге. Благодаря амнистии, объявленной в августе по случаю коронации императора Александра, свободу получили не только политические преступники — декабристы, петрашевцы, но и тысячи уголовных. Они наводнили обе столицы. Сколько сорвано дорогих шапок с проезжающих даже по Невскому проспекту, сколько часов вырвано из жилеток, серег прямо из ушей… Писарев рассказал историю, слышанную от Скабичевского, — как одного студента на прошлой неделе ткнули ножом в бок и отняли у него сто рублей только что полученного гонорара. И это на площади Мариинского театра, в восемь часов вечера!

Генерал сообщил свежую московскую сплетню: славянофил Шевырев заспорил с англоманом графом Бобринским о сэре Роберте Пиле. Профессор Шевырев ругал Пиля, Англию и вообще Запад. Бобринский назвал Шевырева квасным патриотом, который кадит правительству; профессор ударил его по лицу. А Бобринский повалил Шевырева и стал топтать ногами, и славянофила на простынях унесли домой полумертвого.

Митя не знал, кто такие сэр Роберт Пиль и Шевырев. Он отодвинул краешек тяжелой шторы и загляделся на снегопад, на свет, колеблющийся в чужих окнах. До слез хотелось в Грунец.

Перед сном он долго молился о том, чтобы все были здоровы и счастливы: Мамаша, Папаша, Раиза и сестры.

Восьмого февраля состоялся университетский акт — ежегодное торжественное собрание всех факультетов. Срезневский прочел обзор палеографических трудов в России — прочел, против обыкновения, занимательно и горячо, так что филологи поглядывали вокруг не без гордости. Впервые Писарев

увидел ректора университета, Плетнева, о котором знал, что это «друг Пушкина и Гоголя».

Среди приглашенных было много важных стариков в звездах и лентах и несколько дам. Присутствовали студенты Главного педагогического института. Один из них подошел к Срезневскому, когда тот, провожаемый аплодисментами, спустился со сцены в зал. Писарев удивился, заметив, как дружелюбно заговорил с этим студентом язвительный академик. Вокруг перешептывались. Выяснилось, что фамилия студента — Добролюбов и что в институте он на четвертом, последнем курсе. Больше никто ничего о нем не знал.

В том же актовом зале зимой по воскресеньям давались музыкальные концерты. Инспектор студентов Фицтум фон Экштедт дирижировал оркестром (стоя, как это было принято, лицом к публике). Оркестр считался студенческим, но состоял главным образом из профессиональных музыкантов. В концертах участвовали артисты итальянской труппы, примадонны императорских театров. Играл оркестр посредственно, однако публика — все больше родственники и знакомые университетских — посещали концерты усердно и аплодировали охотно. Все знали, что сбор от продажи билетов поступает к Фицтуму — на вспоможение нуждающимся студентам. Писарев купил абонемент на десять концертов (он стоил рубль). Студенческие места были на хорах.

Здесь и разговорился Писарев со своим однокурсником Сашей Скабичевским. Господи, чего только не знал этот юноша! Он так и сыпал именами итальянских композиторов, петербургских актрис, немецких философов, французских историков и русских журналистов.

— И сам немного пишу. Вот хочу Сухомлинову дать повесть для сборника. А вы, верно, готовите что-нибудь специальное, что-нибудь из классической древности? Наши все заметили, что вы, Писарев, единственный на курсе знаете греческий как следует.

— Ну уж и как следует. А что это за сборник такой?

— Разве вы не слышали? Министр просвещения разрешил издать сборник студенческих работ. Уже выбраны редакторы от каждого факультета. А на апрель назначена общая студенческая сходка для объявления о сборнике.

…Обширная, устроенная амфитеатром одиннадцатая аудитория была битком набита студентами и посторонними посетителями. Впереди сидели редакторы и несколько нарядно одетых женщин. Сухомлинов председательствовал.

«Я не в состоянии передать энтузиазм, которым

были исполнены присутствовавшие, в том числе и я, — вспоминал Скабичевский, сидевший рядом с Писаревым. — Энтузиазм этот дошел до высшей точки кипения, когда Сухомлинов, большой вообще мастер по части патетических заключений своих лекций… прочел прочувствованную речь, после которой последовал оглушительный взрыв долго не смолкавших рукоплесканий».

Дело было не только в сборнике, хотя многие намеревались в нем участвовать и прославиться. На сходке было объявлено, что князь Щербатов, попечитель университета, разрешил завести студенческую кассу и библиотеку. Но всего важнее было сближавшее всех чувство причастности к серьезному делу и заманчивый свет наступающего счастья. Вот же она, рядом, настоящая взрослая жизнь, в которой вас с нетерпением и радостью ожидают, потому что вы необходимы. И Писарев хлопал в ладоши громче всех и даже топал ногами от восторга.

В шинельной Скабичевский познакомил Писарева со своим другом Николаем Трескиным.

— Мы вместе кончали Ларинскую гимназию, но затем Коля пошел по математическому, хотя до сих пор жалеет об этом.

Небо над Васильевским было апрельского, сиреневого цвета, Нева была забита ладожским льдом, но снег на улицах растаял, и ветви деревьев, казалось, выведены тушью на долгом закате.

В этот вечер они втроем долго бродили по Острову. Заходили и в Андреевский собор, и в кондитерскую Кинши (угол Первой линии и Большого проспекта). Говорили об обязанностях мыслящего человека, и о Боге, и о любви, и о гоголевской «Переписке с друзьями». Писарев больше слушал. Многое было для него совершенной новостью. Александр и Николай были годом старше и гораздо начитаннее. Очень понравился Писареву Трескин — худенький, очкастый, серьезный.

— В шестом классе, — рассказывал он, — ну, помните, в самый разгар войны, когда в гимназиях ввели батальонные учения, мне хотелось пойти в офицеры.

— Да, и ты эдак прищелкивал языком и говорил, что непременно будешь флигель-адъютантом!

— Подожди, Саша. Так вот, представьте, Писарев, я мечтал об эполетах. Но у нас был учитель словесности, такой Корелкин — не слышали? Скоро уж два года, как умер от чахотки. Он любил повторять, что современный развитой человек должен жертвовать собою во имя высших интересов.

— Мы благодаря ему бросили Дюма и Поль де Кока и

беготню по Большому проспекту с папиросами в зубах. И поняли, что главное — наука, философия, университет.

— А мне тоже нравилось маршировать, — смеялся Писарев. — И должность нравилась: фланговый и линейный унтер-офицер восьмого взвода. Только первоклассниками командовать — мученье, особенно на церемониальном марше.

— А помните, как нам объявили, что умер государь Николай Павлович? Сколько было слез! Ведь это наше первое настоящее горе.

Они стали наперебой вспоминать разные случаи гимназической жизни, и Писарев впервые опоздал к вечернему чаю.

Через неделю начались экзамены, в том числе и по теории языка. Писарев тут же, прямо на экзамене вручил Сухомлинову две толстые тетради с переписанным набело переводом брошюры Штейнталя. Михаил Иванович просил почитать вслух. Текст оказался грамотным и связным. Профессор был доволен.

— Перевод весьма хорош, господин Писарев. По-моему, он заслуживает опубликования в нашем сборнике. Вот только объем великоват. Знаете что? Сделайте-ка из вашего перевода извлечение, а мы его и напечатаем.

Предложение было почетное, хоть и показывало, что у обожаемого учителя довольно странное представление о научной работе. Но Писарев думал не об этом. Просто Штейнталь ему смертельно надоел.

> «А положение безвыходное. Сказать: „не хочу“ — неловко, да и весь разговор совсем не в таком тоне был веден. Признаться в том, что переводил машинально, признаться публично, при студентах, ведь это значит — дураком себя назвать. Нет! что будет, то будет! Все эти размышления промелькнули в моей голове чрезвычайно быстро, и я сказал, что извлечение будет сделано».

Экзамены он сдал отлично, а половина курса срезалась. Вот когда он уверовал в свои силы. К тому же Сухомлинов обласкал его — и не только на экзамене.

Они оказались соседями по вагону третьего класса в поезде, увозившем Писарева на каникулы, и до Москвы ехали вместе.

> «Мы пробыли вместе 30 часов, и, по крайней мере, 10 часов были проведены в серьезных разговорах. Я с наивным восторгом объяснял… какую чудесную перемену произвел во мне один год, проведенный в университете, как перед моей мыслью открылись целые

новые горизонты, и какие теперь у меня хорошие стремления».

Это написано спустя пять лет, когда в нашем герое уже обнаружилась поразительная черта — беспощадное, насмешливое отношение к своему прошлому. Не к одной какой-нибудь полосе, а вообще к любому прошедшему моменту собственной жизни. Как будто, просыпаясь утром, он каждый раз начинал новую жизнь, — а вчера думал, действовал и говорил не он, а другой Писарев, гораздо глупее сегодняшнего.

Вот почему в шестьдесят третьем году он пересказывает содержание этого дорожного разговора с иронией и обидой:

> «Человек рассудительный и неспособный удовлетворяться пылкими речами тотчас спросил бы у меня, в чем именно состоит перемена, какие горизонты и к чему клонятся стремления. При таком вопросе с меня поневоле соскочил бы хмель, и, может быть, за пароксизмом восторга последовал бы пароксизм уныния: пришлось бы вдруг сознаться, что все упоение произведено какою-нибудь дюжиною слов и что, кроме этих слов да профессорских записок, не воспоследовало никакого умственного приобретения. Но… все мои восторги были приняты за доказательства развитости, болтовня моя о науке сошла за чистую монету, и мой собеседник пресерьезно посоветовал мне заняться специально теориею или философией языка».

Можно представить себе, как горячо простился юноша с любимым профессором и в каком настроении проделал он остаток пути, спеша поделиться с родными этой последней радостью университетского года. В самом деле, итог представлялся более чем достойным: экзамены сданы с блеском, работа назначена в печать, а главное — сам профессор Сухомлинов взялся быть его руководителем. Теперь жизнь и карьера Мити Писарева — в надежных и заботливых руках.

Раиса стала взрослой барышней — вот единственная перемена, которую Писарев нашел в Грунце.

Его двоюродная сестра была не то чтобы красива, но миловидна: пушистые темно-русые волосы, мягкие черты лица, выпуклый лоб и насмешливые серые глаза. В сущности, они с Митей были похожи, но он этого не замечал. Зато Варвара Дмитриевна замечала очень. Она не могла сдержать гнева, когда видела, с каким безвольным обожанием сын ее подчиняется этой

девушке. И то, что Раиса, очевидно, не была им увлечена (впрочем, кто ее знает, она ведь такая скрытная), почему-то злило Варвару Дмитриевну еще сильней. Она принуждала себя быть осторожной и делать вид, что все хорошо. Да и в самом деле, должна же пройти у Мити эта детская блажь. Но ей было тяжело.

> «Она положительно сделала для себя какое-то пугало из этой привязанности и ожидала от нее самых ужасных последствий, — писала Раиса Коренева много десятилетий спустя. — На религиозные убеждения тут сослаться нельзя: в других случаях она совершенно снисходительно смотрела на брак между двоюродными, но по отношению к нам она создавала себе какие-то призрачные страхи. Эти вечные волнения отравили жизнь и ей, и мне. Как только приезжал из Петербурга Митя, так на меня начинались гонения; он уезжал, и мамаша усиленной нежностью и самыми горячими ласками старалась как бы вознаградить меня за претерпенные несправедливости. Увлеченная этим добрым чувством, она сама же писала сыну, какая я хорошая девочка и как она меня любит. Но он приезжал на лето, и с ним вместе возвращались наши дурные отношения».

Лето шло заведенным порядком. Иван Иванович Писарев гарцевал по полям, брат его Сергей Иванович возился с «Мессиадой» Клопштока, которую затеял перевести. Варвара Дмитриевна каждый день занималась с дочерьми французским языком и музыкой. Приехавший в конце июня Андрей Дмитриевич взялся, как обычно, преподавать им литературу. Митя по утрам сидел за извлечением из Штейнталя, а после обеда пропадал с сестрами, Раисой и Андреем Дмитриевичем в саду.

Вечерами Иван Иванович с братом упражнялись на бильярде, а остальные рассаживались в гостиной — каждый на своем излюбленном месте, — играли в географическое лото или читали вслух. Тени от лампы плыли по потолку, расписанному деревенским художником. Соловьи в саду так гремели, что приходилось закрывать двери на балкон. Читал обычно Андрей Дмитриевич. Начал он с главной новинки — с «Губернских очерков» Щедрина, но Варваре Дмитриевне (которая хоть и не поднимала головы от шитья, а слушала внимательно) юмор автора показался грубым, а тон — злорадным. Тогда Митя вспомнил, что Скабичевский очень хвалил ему «Обыкновенную историю» Гончарова. Достали в одном образованном помещичьем семействе старый, десятилетней давности нумер

«Современника», — и недели две в лото не играли, и долго еще Раиса дразнила Митю Адуевым.

— Вещественные знаки невещественных отношений, — повторяла она, и оба смеялись, а Варвара Дмитриевна смотрела на них не мигая, отвердев лицом.

А потом лето кончилось, и Митя опять уехал в Петербург.

Глава третья
СЕНТЯБРЬ 1857 — АВГУСТ 1858

Студентов на факультете заметно прибавилось. На сводных лекциях по греческой грамматике (профессор Штейнман), по средней истории (профессор Куторга 2-й) аудитория бывала почти полна.

> «На одной из первых таких сводных лекций в начале сентября, — вспоминает Петр Полевой, сын знаменитого издателя „Московского телеграфа“, поступивший той осенью в университет, — вызвался читать автора какой-то худощавенький, беленький и розовенький мальчик и чрезвычайно бойко прочел несколько десятков строф греческого текста; прочитав отрывок, он перевел его так же бойко, внятно произнося каждое слово своим мягким и тоненьким, почти детским голоском. Я спросил у студентов, как фамилия этого второкурсника? Мне ответили, что фамилия его Писарев, и прибавили еще, что он отлично знает древние языки, лучше всех студентов второго курса. На другой лекции — опять та же история, тот же студентик вызывается читать и переводить Гомера, и опять его нежный и тоненький голосок один в течение целого часа раздается в аудитории. На меня это подействовало пренеприятно — мне студентик этот показался выскочкой… Я бы, вероятно, невзлюбил Писарева за это, если бы не узнал вскоре, что он является выскочкой невольным, потому что остальные товарищи его ленятся приготовлять отрывки из классического автора и каждый раз заставляют переводить Писарева, который переводит Гомера без всякого приготовления. Это сведение значительно примирило меня с маленьким студентиком; притом же я в это время подружился с некоторыми из второкурсников, и они мне расхваливали Писарева как доброго малого и отличного студента…»

Да, теперь у Писарева были товарищи. Теперь по утрам он торопился в университет, чтобы увидеться с ними еще до лекций.

Трескин перешел-таки на филологический, выдержав дома страшную бурю, поднятую отцом — отставным адмиралом. Теперь он учился на первом курсе, а в перерывах между лекциями не отходил от Писарева и Скабичевского ни на шаг. Так втроем и

бродили по коридорам, а из университета отправлялись к Трескину (тот жил рядом на Острову) и за чаем с плюшками рассуждали о том, чем духовная любовь выше телесной и вправе ли настоящий христианин жениться. Само собой разумеется, что история любви Писарева к кузине была известна его приятелям во всех подробностях. С присущей ему почти навязчивой искренностью Митя рассказывал о каждом письме, полученном из Грунца, и жаловался на холодность Раисы. Но Трескин и Скабичевский, хотя и сочувствовали ему, все же стояли на том, что любовь к женщине несовместима ни с уважением к ней, ни с заповедями Евангелия. Всем троим эти беседы в полутьме (шторы были задернуты, крошечную комнату озаряла единственная свеча) доставляли огромное удовольствие, хотя они и доводили порою друг друга до слез.

Попечитель разрешил факультетские сходки для обсуждения работ, предлагаемых в сборник. Филологи могли собираться два раза в месяц в зале Пятой гимназии, у Аларчина моста.

Обсуждать оказалось, в сущности, нечего. Первый выпуск был почти готов, а материалов на второй пока не было. Между прочим, работа Писарева в первый выпуск не попала. Сухомлинов заявил, что недавно вышла в свет подробная биография Гумбольдта, написанная Гаймом. Хорошо бы, дескать, по этой книге составить статью, которая дополнила бы уже готовое извлечение из Штейнталя. А до тех пор о сборнике думать рано. Итак, все надо было начинать сначала. Писарев согласился — что еще оставалось, чуть ли не год ушел на эту работу, не бросать же теперь.

— Не огорчайтесь, Писарев, — сказал ему, когда сходка окончилась, Леонид Майков, однокурсник. — Вы сами виноваты: зачем взяли тему такую трудную? Но времени впереди еще много, а сегодня давайте кутить. Все наши собираются у меня, это недалеко, на Садовой, напротив Юсупова сада. Пойдемте вместе.

— Очень охотно.

Майковым Писарев восхищался и чуточку завидовал ему. Этот рыхлый, приветливый скромник мог не беспокоиться о своей будущности. Сын академика живописи, брат модного поэта (даже Писарев знал наизусть «Ниву» Аполлона Майкова), он вырос в доме, где любили бывать запросто и писатели, и профессоры, и журналисты. История литературы была для него как бы семейной хроникой, тему («Тилемахиду» Тредиаковского) он выбрал без колебаний уже на первом курсе, и сам Сухомлинов во всеуслышание называл Майкова весьма дельным филологом.

— Старик Аксаков в своих воспоминаниях много интересного рассказывает о знаменитом драматурге Александре Ивановиче

Писареве. Это не родственник ваш?

— И довольно близкий — родной дядя. Но он умер совсем молодым, когда меня и на свете не было.

— Я тоже Валерьяна почти не помню. Знаете, был такой критик, соперник Белинского, Валерьян Майков? Это мой брат, он погиб двадцати трех лет.

— Как это — погиб?

— Утонул в озере под Петергофом. А был, говорят, отличный пловец. Вы приходите к нам как-нибудь вечером, Писарев. Мама прочла аксаковские воспоминания и велела, чтобы я непременно вас ей представил.

…Толпой ввалились в тесный кабинетик, заставленный книжными шкафами. Сбросили сюртуки, откупорили мадеру и лафит, закурили сигары. В сущности, все было очень чинно, и все же каждый упивался сознанием, что начинается настоящая студенческая пирушка. Кроме Писарева, Трескина и Скабичевского, здесь был Викентий Макушев — целеустремленный зубрила, не умевший говорить ни о чем, кроме славянских древностей, и еще трое студентов: Георгий Замысловский, Филипп Ордин и первокурсник Петр Полевой. Эти трое в занятиях не усердствовали. Ордин пропадал в маскарадах и в итальянской опере, Полевой предпочитал общество девиц в Загибенином переулке, а Замысловский, прозванный за нрав и шевелюру Лихачом Кудрявичем, любил встречать рассвет в ресторанчике где-нибудь на Островах.

…Выпили за дружбу, за университет. Долго отчитывали Скабичевского, высказавшего намерение сделаться журналистом, изменить чистой науке. Кстати уж осудили в один голос легкомысленных первокурсников, затеявших рукописный журнал «Колокольчик» явно в подражание Герцену: этим они только ставят под угрозу университетские вольности, больше ничего.

— Бросьте вы умничать, — кричал Полевой, — давайте лучше бороться!

Поднялась возня. Вечер тонул в сумбурном, скучноватом веселье. Но было твердо решено, что такие пирушки должны войти в обычай.

Вот и пошла жизнь Мити Писарева размеренными кругами. Коридор университета переходил в Невский проспект, на расписание лекций наплывала театральная афиша (петербургскую молодежь сводило с ума пение итальянки Бозио), от Аларчина моста Писарев вслед за товарищами брел к Юсупову саду или на Васильевский — к Трескину. Дома, то есть в семействе генерала Роговского, его почти и не видали, и дядюшка

Михаил Мартынович махнул на него рукой после того, как Митя отказался пойти ко всенощной в день его именин — спешил, видите ли, на сходку.

Зато лекции Писарев посещал неуклонно и целые вечера просиживал в Публичной библиотеке над книгою Гайма — купить этот толстенный том ему было не по карману — он стоил пять рублей!

В библиотеке было душно, читатели вставали, входили, выходили, шуршали страницами, шептались, из коридора доносились голоса. Писарев затыкал уши, сжимал руками голову. В нем еще теплилась надежда, что вся эта работа не пропадет совсем впустую. В конце концов, он читает серьезные книги, приобретает знания, этого ведь на улице не найдешь.

Он отмечал на клочке бумаги собственные имена и даты.

> «Надо знать, какое это неприятное чувство — видеть перед собой несколько собственных имен, знать, что их следует поместить в статью, и чувствовать при этом, что можешь сказать о них только то, что вычитал вчера в книжке; собственного мнения не имеешь; боишься употребить свой оборот или свой эпитет, потому что можешь провраться; и при всем этом соблюдаешь декорум и притворяешься перед публикою, будто владеешь вполне обрабатываемым материалом. Точно будто ходишь на цыпочках по темной комнате и каждую минуту ожидаешь, что стукнешься лбом в стену или повалишь ногою какую-нибудь затейливую мебель».

Когда-то в гимназическом сочинении Писарев признавался, что всегда чувствует отвращение к тому, что ему не удается. Через несколько лет в статье «Наша университетская наука» он напишет — никогда не мог долго заниматься тем, что не доставляет умственного наслаждения.

Сейчас в зале Публичной библиотеки, стискивая голову руками, он не мог дать себе отчет, что с ним происходит, отчего такое глухое, безнадежное отчаяние, точно предчувствие чего-то ужасного, — тоска, похожая на тошноту, — охватывает его.

Перед зимними вакациями Писарев отдал Сухомлинову законченную статью — и услышал, что есть еще сочинение о Гумбольдте, которое он также должен принять к сведению.

Это уже походило на насмешку.

> «Я заметил ему, что, стало быть, придется переделывать заново всю работу; на это он возразил, что переделывать незачем, а что можно прочитать эту книгу

Шлезиэра „Воспоминание о Вильгельме Гумбольдте“ и потом сделать некоторые дополнения и вставки. Я покорился…»

Из Грунца шли невеселые письма: ввиду предстоящей эманципации крестьян семье грозило разорение. Никаких методов ведения хозяйства, кроме нещадной порки, Иван Иванович не знал.

В гостиной у Майковых тоже только и слышно было, что об эманципации, о рескриптах государя виленскому и петербургскому генерал-губернаторам, о его речи к московскому дворянству: лучше-де начать сверху, пока не началось снизу. И будто бы уже образован комитет для проведения реформы. Реформа было самое модное слово. И верно — перемены буквально бросались в глаза. Россия переодевалась. Всем родам войск, всем чиновникам предписана была новая форма одежды. Студенческих мундиров пока не отменили, но они как-то сами собой вышли из обихода, и нужно было просить у дядюшки денег на партикулярный сюртук.

У Майковых собиралось много народу. Общий разговор получался редко: в каждом углу смеялись о своем. Впрочем, обычно оказывалось, что для гостей припасен какой-нибудь занятный сюрприз: явление модной знаменитости, например, или лотерея в пользу бедных, или сядет за рояль, скажем, композитор Вильбоа и споет романс своего сочинения.

Отшелестят аплодисменты — и возобновляется нестройный, оживленный гул. За чайным столиком — один разговор, на диване — другой, а в кружке молодежи у окна — третий.

— Государь добр и благороден, но слаб и нерешителен. А вот Константин Николаевич…

— Это вряд ли верно. Государь всех слушает, но никого не слушается.

— Говорят, он читает «Колокол».

Писарев тут никого не знал, и на него никто не обращал внимания. Он солидно прогуливался по зале, переходя от кружка к кружку, и метель непонятных толков шумела вокруг него, наводя сон. Отставка Пальмерстона. Покушение Орсини на Наполеона III. Крестьянское дело.

— Напрасно все-таки Некрасов раздражает цензуру. От этого всем только хуже…

— Шевченко наконец прощен. Он здесь, в Петербурге. Бенедиктов был у него…

— Полонский пишет из Рима, что встретил там графа Кушелева-Безбородко, — знаете, этого молодого расслабленного

миллионера. Граф, среди прочих безумств, вознамерился издавать новый журнал — «Русское слово» и поручает Полонскому редакцию…

— Вы слышали, как мадам Шелгунова интриговала Тургенева в маскараде?

— Теперь показывают в Петербурге женщину-обезьяну. Она вся покрыта шерстью, и у нее борода. Зовут ее Юлия Пастрана. Она говорит по-английски, танцует и поет. Кто-то выдумал, что Михайлов в нее влюбился и изменил Шелгуновой!

— Какой вздор!

Здесь, в гостиной у Майковых, Писарев впервые увидел Гончарова. Говорили, что автор «Обыкновенной истории» недавно окончил новый роман, который скоро будет напечатан. Гончарова Майковы любили, за ним ухаживали. У него было здесь постоянное место: за чайным столом, возле хозяйки дома. Толстенький, чопорный, с вялой речью и холодным юрким взглядом, не похож он был на романиста.

И Писемский тоже оказался престранным господином — бесцеремонный, громогласный, зачастую крепко навеселе.

Рассевшись в кресле посреди гостиной, он принимался вдруг, ни к кому не обращаясь, энергически укорять современную молодежь, которая пришла на все готовое и не умеет чувствовать благодарность.

Писареву становилось не по себе. Аполлон Майков, потряхивая черными, тщательно расчесанными кудрями, старался перевести разговор на литературные новости.

По дороге домой Писарев бранил себя за то, что напрасно потерял три часа, да еще и четвертак, который придется заплатить извозчику. До дома было минут двадцать скорой ходьбы, но бродить ночью по всем этим Казначейским и Подьяческим было небезопасно: сказывалась близость Сенного рынка.

Но главное, что ужасало его, — было потерянное время. Дни шли все быстрее. Будущность пятилась от него.

Как он завидовал Майкову или Макушеву, как он хотел, подобно им, отмежевать себе тему и замкнуться в ней. Представить себе определенную цель и продвигаться к ней, шаг за шагом, следуя чьим-нибудь авторитетным указаниям.

Но здесь, в университете, в целом Петербурге, не было человека, который принял бы в Писареве горячее участие.

Измаил Иванович Срезневский, который так возился с Викентием Макушевым и был, по слухам, чуть ли не дружен с Добролюбовым, — этот самый Измаил Иванович был с Писаревым любезен, но сух, видел в нем дилетанта и барича и высмеивал

любую его попытку заняться славянскими наречиями.

> «Когда я в совершенном отчаянии спрашивал у него: да что же мне делать? Чем заниматься? — тогда он с необыкновенным искусством успокаивал меня на минуту несколькими общими словами и таким образом уклонялся сам от всякого категорического ответа».

А Сухомлинов… Пронесся слух, что он уезжает в заграничную командировку на несколько лет. Писарев наконец отдал ему готовую многострадальную статью о Гумбольдте. Профессор похвалил его равнодушно. И хотя статью, обсудив на очередной сходке у Аларчина моста, приняли в сборник, радоваться Писарев уже не мог. Ведь почти два года потрачено, половина университетского курса позади. А каков результат?

> «Слова, стремления, беготня по коридорам университета, бесплодное чтение, не оставлявшее по себе ни удовольствия, ни пользы, машинальная работа пером, не удовлетворявшая потребностям ума и не дававшая даже денег, школьническое приготовление к экзаменам и школьническое отвечание на экзаменах, скука на лекциях, скука дома — вот и все, что пережито мною в эти два года, вот и все, чем наградил меня волшебный мир университета за мою страстную и неосмысленную любовь к недостижимым и неведомым сокровищам мысли».

Наступила весна. Писарев сдавал экзамены — как всегда, с блеском. Вместе с Трескиным ходил смотреть парад по случаю освящения Исаакиевского собора. Побывал и в Зимнем дворце, где была выставлена картина художника Иванова «Явление Мессии». Художник недавно приехал из Италии, там прожил чуть ли не двадцать лет и все работал над этой одной картиной.

Трескин восхищался, а Писарев хмурился. Двадцать лет, думал он, двадцать лет работать в безвестности и только истратив жизнь добиться успеха. И это при том, что у художника были ясная цель, и любимое призвание, и признанный талант. А у меня? Что есть у меня? Что мне делать?

— Нет, ты пойми, — говорил он Трескину. — До выхода из университета остается меньше двух лет, а потом что? Жить по-прежнему на родительских хлебах? Да ведь надо же и честь знать. По ученой части пойти? В учители гимназии? Это, конечно, хорошо, но только что же я за учитель? Что я знаю, кроме книги Гайма о Вильгельме Гумбольдте? И что я успею изучить в течение

этих двух лет, когда мне в это время придется еще готовиться к выпускному экзамену и писать кандидатскую диссертацию?

Трескин терпеливо выслушивал монологи друга, хотя считал его тревогу отчасти надуманной. Не может статься, возражал он, чтобы такой блестящий студент, как Митя, не нашел, окончив, достойного места. И потом, это будет еще так не скоро. Два года — большой срок, а пока что Мите нет и восемнадцати, а над городом такое лето, что на шпиц Петропавловской крепости больно смотреть — так сверкает. И пора Мите собирать вещи, а он, Трескин, придет на вокзал его провожать.

Но говорил он это с грустью. Не зря шутил Скабичевский, что чувствительный Коля и рассудительный Митя созданы друг для друга и не могут врозь прожить и дня, как старосветские помещики. Писарев списался с матерью, Трескин переговорил с отцом. Было решено, что в Грунец приятели отправятся вместе, и Коля проведет там хотя бы несколько недель, а с осени Митя поселится у Трескиных.

Проводили Сухомлинова на пароход: бывший Митин кумир уезжал за границу. Прямо с Английской набережной пошли гурьбой в трактир и немножко выпили по случаю окончания семестра. Вечером адмирал, Колин отец, строго сказал:

— Вот что, молодые люди. В городе холера. Художник Иванов сегодня умер от нее. Так что извольте собираться — я купил вам обоим билеты на завтрашний поезд.

Трескин погостил в Грунце до конца июня и уехал, а в июле Писарев сделал кузине предложение. Вышла, должно быть, очень грустная сцена, потому что Раиса была девушка умная и понимала, насколько все это важно для Мити. Сколько она его помнила, он всегда любил ее больше всех на свете. Стало быть, нечего было и толковать о том, что он ошибается в своем чувстве, что его любовь пройдет, — она и сама в это не верила. Да и не хотела этого. Она была сирота, она была одинока и росла среди добрых, но чужих людей. Этот смешной брат, этот странный мальчик целых восемь лет, почти половину ее — и своей — жизни, открыто и кротко обожал ее, и благодаря его нелепой, ребяческой страсти, над которой все вокруг так охотно трунили, Раиса не чувствовала себя лишней в доме Писаревых. Она привыкла быть любимой, это стало чертой ее характера. А ведь после покойной матери один Митя любил ее горячо и сильно.

Но Раиса его не любила. Вернее — не была влюблена. Еще точнее — ей было стыдно и почти противно, что Митя, с которым она — двух лет не прошло — играла в куклы, такой родной, такой понятный, скорее уж сестра, чем брат, — и вот желает на

ней жениться, стать ее мужем…

> «Но я все-таки Митю люблю и решительно не понимаю тех, которые его отталкивают, но, разумеется, еще менее поняла бы ту женщину, которая полюбила бы его и отдалась ему. Понятно, о какой любви я говорю и какая разница между ею и тем, как я люблю Митю», — напишет еще года через два Раиса Варваре Дмитриевне.

А сейчас Мите она говорила все-таки о том, что надобно еще подождать, пока они оба станут совершеннолетними. Что привыкла любить его как брата, а этого мало для замужества, и счастливы они не будут. К тому же этот брак разобьет сердце Варваре Дмитриевне и поссорит Митю с родными.

Он искусно и даже весело отражал ее доводы: конечно же, он их все предвидел. Ничто не могло поколебать его уверенности, что рано или поздно она станет его женой. Он соглашался ждать сколько угодно и терпеть все. Было очевидно, что весь смысл его жизни заключался в этой мечте. Невозможно было не дать ему хоть слабой надежды, тем более что, как выражались тогдашние романисты, сердце Раисы было свободно. И они условились ждать, пока Митя закончит университет и найдет себе должность. Пока что пускай все остается по-старому. А там будет видно. Может быть, за два года вообще все забудется и травой порастет. Митя очень смеялся этому предположению Раисы.

Дней десять спустя после этого разговора Раиса получила приглашение погостить в Истленеве, у Николая Эварестовича Писарева. Она очень дружила с его дочерьми, Машей и Любой. Варвара Дмитриевна не возражала, и Раиса уехала. Писарев увиделся с нею только в конце августа, явившись с обязательным визитом к Николаю Эварестовичу.

Трескин, предупрежденный письмом, ждал его у дебаркадера Николаевского вокзала.

Взяли извозчика, велев ему ехать на Васильевский. По дороге Николай рассказывал главные новости. Во-первых, Щербатов смещен. Попечителем университета назначен какой-то Делянов. А Щербатову велено было подать в отставку — говорят, за то, что он разрешил профессору Кавелину напечатать в журнале статью об освобождении крестьян с землею. Во-вторых, в университете новый профессор богословия — протоиерей Полисадов, настоятель Петропавловского собора. Он магистр философии, этот Полисадов, и жил одно время за границей. И еще новое лицо — Стасюлевич, будет читать у нас среднюю историю.

— В-третьих, народу в этом году поступило видимо-

невидимо. Но из двухсот пятидесяти человек только один — на филологический. В-четвертых, наши все уже съехались, одного тебя недоставало. Особенно Майков о тебе спрашивал. Кстати, Владимир Майков теперь в отъезде, и редакцией «Подснежника» вместо него заведует Леонид. Еще о журналах. Дюма-отец этим летом приезжал в Петербург. А сейчас граф Кушелев-Безбородко отправляет его на свой счет в кругосветное путешествие. Много сплетен ходит об этом графе. Он богат, как Монте-Кристо, а пишет рассказы и в своем дворце задает пиры литераторам. Он одержим пляской святого Вита, но это не помешало ему жениться недавно, и как-то скандально жениться, так, что семья графа отвернулась от него. Он тоже надумал теперь издавать журнал, и уже наш Всеволод Крестовский приглашен в сотрудники. Это в-пятых, а что же в-шестых? Ах, да! В газетах пишут — Шамиль сдался князю Барятинскому. В ауле Гуниб. Теперь его, наверное, в Петербург привезут. Извозчик! Сворачивай!

Глава четвертая
1858. СЕНТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

Этой осенью Писарев был настроен чрезвычайно решительно. «Пропали даром два года: я молод и деятелен; наверстать потерянное время нетрудно». Теперь главное было — в кратчайший срок выбрать себе научную специальность и руководителя. Срезневский или Стасюлевич? Стасюлевич был новый профессор истории. Он только что вернулся из-за границы, где три года усовершенствовался в науках. Это был элегантный, надушенный джентльмен, любивший щегольнуть своим коротким знакомством с европейской культурой. Маколея он называл: Мэкаулей. Постановка тем и разработка их в лекциях, даже самые имена, на которые он ссылался: Тьерри, Мишле, Прескотт и Мотлей — все это у Стасюлевича было изысканно и сильно било на эффект. Но к эффектам Писарев теперь относился с опаской. Перечитывая свою статью о Гумбольдте (ее предстояло — в последний раз! — просмотреть и выправить перед тем, как сдать в набор), он с отвращением и обидой вспоминал Сухомлинова; направил на ложную дорогу, а сам отвернулся, уехал. А тоже все начиналось блестящими фразами. Нет! Наука — это сухое, скрупулезное изучение фактов, наука — это Срезневский. Не беда, что его любезности насмешливы, а древние славянские памятники невыносимо скучны. Все же это тексты, это факты, их можно собрать, сопоставить, понять. Стерпится — слюбится. Что под силу Викентию Макушеву, этому самодовольному педанту, то сумеет и Дмитрий Писарев. И как еще сумеет! Да что, в самом деле, не в чиновники же идти…

Он набрал в университетской библиотеке гору книг. Наскоро сделал обязательные визиты родственникам. Однокурсники собрались всей компанией посетить «заведение минеральных вод Излера», а Писарев отказался: «время дорого, и путь ко спасению узок и прискорбен», — и провел этот вечер за чешской азбукой.

Как знать! Он мог пересилить себя и сделаться ученым. Но тут произошло вот что.

Понадобились деньги. Из Грунца он уезжал богачом: и папаша дал на жизнь, и благодетель Николай Эварестович по обыкновению подарил пятьдесят рублей на конфекты. Но, доехав до Москвы, Митя не отправился прямо на железную дорогу, а навестил дядю Андрея Дмитриевича, да и провел у него в гостях несколько дней. Андрей Дмитриевич служил корректором при какой-то московской редакции, служба эта оставляла ему много

свободного времени. Они вдвоем бродили по Москве, и ездили в Марьину рощу, и слушали цыганское пение, и без конца говорили о Раисе, о любви вообще и о том, как страшно быть неудачником, а по вечерам отправлялись в театр. Эти душные августовские дни были прекрасны, однако деньги таяли, их едва хватило на дорогу до Петербурга.

И вот теперь они вовсе кончились. В Грунец писать об этом было невозможно, занять у родителей Трескина — неудобно. И Писарев спросил у Леонида Майкова: нет ли какой-нибудь работы? Леонид обещал дать перевод, пригласил к себе. Писарев явился в тот же вечер и получил поручение перевести из иностранных газет несколько заметок для «Подснежника», для раздела «Смесь». Полистав летние нумера журнала, действительно изящные и занимательные, он уже собрался уходить, когда Майков сказал:

— Сегодня был у меня один господин, некто Кремпин Валериан Александрович. Артиллерийский офицер, теперь в отставке. За женой он получил какие-то деньги и хочет их употребить на издание журнала для девиц. Сейчас ведь, после статей Михайлова в «Современнике», все только и говорят что о женском вопросе. Так вот, этот Кремпин ищет сотрудников, просил рекомендовать ему студента, который мог бы вести в его журнале библиографию. Я указал на тебя. Он пожелал познакомиться. Живет он в Малой Дворянской, в доме Беркова. Сходи, потолкуй с ним. Да не продешеви, торгуйся, он, кажется, прижимист.

На следующий день Писарев отправился на Петербургскую сторону. Он воображал себе предстоящий разговор и волновался. Он думал, что решается его судьба, и не знал, что так оно и было. Он так хотел, чтобы этот издатель, этот Кремпин, понял, как Митя Писарев ему необходим. Он будет работать день и ночь, и люди станут спрашивать друг у друга: «Вы читали новый журнал? Это неважно, что он для девиц, вы подпишитесь непременно, там библиография лучшая в России!». И подписка вырастет необыкновенно, и первый же нумер надо послать в Грунец, а Кремпин увидит, что без Мити ему не обойтись, и возьмет его в помощники, а потом и вовсе передаст ему редакцию, а журналисты, Майков говорил, теперь зарабатывают больше, чем профессоры, взять хотя бы Чернышевского. Вот Раиса удивится…

Несколько дней назад ему исполнилось восемнадцать. Пошел октябрь. На деревьях еще развевались пестрые облака листвы, Большая Невка сверкала, смеялись дамы в прогулочных яликах, и сотни подков гвоздили булыжник.

Кремпин, плотный мужчина лет сорока, держался приветливо, хотя чуточку важничал. Видно было, что он очень гордится своей ролью издателя и еще не привык к ней. Он объявил Писареву, что журнал его будет называться «Рассвет», и показал изготовленную для обложки виньетку: женщина, заложив руки за голову, спит на каком-то античном ложе, а над нею парит в воздухе другая женская фигура, пытаясь разбудить спящую и указывая рукой на восходящее солнце.

— Это, видите ли, гений преобразования-с…

Оказалось, что и передовая для первой книжки уже готова, и Валериан Александрович громко и выразительно прочитал ее Писареву. В статье очень красиво говорилось о благодетельных переменах, коими ознаменовано новое царствование: отмена ограничений при приеме в университеты, амнистия изгнанникам, строительство железных дорог, проекты улучшения быта крепостных.

— «Наконец, на рассвете нового дня для России, подлетает гений к спящей русской женщине и будит ее, указывая на тот путь, по которому она должна идти, чтобы сделаться гражданкою и приготовить себя к высокому долгу — быть воспитательницею нового, подрастающего поколения».

После нескольких фиоритур в этом роде издатель изъяснял программу своего журнала:

— «Главная цель „Рассвета“ — возбудить сочувствие молодых читательниц к тому направлению, которое получило наше общество в последнее время, — доказать им, что современные идеи вполне согласуются с духом христианского учения».

Статья была довольно длинная, но Писареву понравилась, и он горячо выразил свое одобрение.

Поговорили о библиографии. Кремпин хотел, чтобы в этом отделе разбирались религиозные и популярно-научные брошюры, а также статьи из лучших русских журналов.

— Весьма желательно, не входя в подробности, указать девицам — а вернее, воспитательницам их, — что следует прочесть, чтобы вникнуть в современные идеи. Выберите что-нибудь — ну хоть из «Отечественных записок», да и напишите на пробу, — ласково заключил Кремпин. Манеры Писарева произвели на него самое выгодное впечатление. Особенно ему пришлось по душе то, что маленький студент брался разбирать и французские, и немецкие книги.

Кремпин не был и нисколько не чувствовал себя литератором. Однако любил почитать книжку и побеседовать о ней с умным, развитым человеком. Через тетушку свою, директрису Екатерининского института, он был знаком с

петербургскими педагогами — Стоюниным, Класовским, Шишкиным, и общество их предпочитал офицерским попойкам. Удачная женитьба дала Кремпину возможность избавиться от службы, но теперь им овладела жажда независимой, честной и прибыльной деятельности. Вокруг все покупали акции железных дорог и пароходств, но периодическое издание представлялось ему делом более увлекательным и надежным.

Расчет простой. Положим на первый год тысячу подписчиков. Больше вряд ли будет (у самого «Современника» только пять с половиной тысяч), а тысяча наберется. Мы приманим господ подписчиков дешевизной. «Современник» не всякому по карману. А у нас подписная цена на весь год, скажем, восемь с полтиной. Таким образом, от подписки мы получим восемь тысяч пятьсот рублей. Теперь посчитаем расход. Книжка журнала — десять печатных листов. Половину займет переводная беллетристика, главным образом с французского, такие переводы оплачиваются по десяти рублей за лист. Два листа займет библиография: по тридцати рублей за лист. Еще три листа — статьи, переводные и оригинальные; оригинальная статья размером в лист, если автор не имеет известного имени, будет стоить рублей пятьдесят. Всего, таким образом, придется платить сотрудникам около двухсот пятидесяти в месяц. Прибавим расходы на типографию, на бумагу, жалованье корректору, писцу, рассыльному, канцелярские расходы, — наберется еще столько же, если не гнаться за первым сортом. Но пускай даже расходы по нумеру составят шестьсот рублей. Это семь тысяч двести в год. Стало быть, от суммы подписки останется тысяча триста — чистый доход издателя. Это не меньше, а то и больше, чем получает столоначальник в департаменте. А ежели подписка будет расти? Успех Некрасова у всех перед глазами. Каменный дом Краевского чуть ли не в пословицу вошел. А какую пользу можно принести делу прогресса!

Ни малейшей, либо какую-нибудь совсем ничтожную, — утверждал человек, подписывавший свои статьи в «Современнике» последним слогом фамилии: —бов.

> «У лучших наших журналов, в которых сосредоточивается вся литературная деятельность, насчитывается до 20 000 подписчиков, столько же будет и у газет (хотя подписчики на журналы обыкновенно подписываются и на газеты). Если на каждый экземпляр положить 10 читателей, то окажется 400 000. Можно порадоваться такой цифре, забыв на минуту, что она

преувеличена. Но скажите, что же значат эти сотни тысяч пред десятками миллионов, населяющих Россию?»

Возможно, Кремпин невнимательно прочитал эту (в февральском «Современнике») статью; возможно, не догадался разузнать (хотя бы на почтамте), сколько в России новых журналов и газет (а за три последних года их число удвоилось: до двухсот пятидесяти названий). Или же прочитал и разузнал, но все равно гибельная пропорция — двести пятьдесят изданий на двадцать тысяч подписчиков! — его не смутила. К счастью для литературы, издателями редко становятся люди благоразумные.

…Через несколько лет Писарев будет о «Рассвете» вспоминать с усмешкой:

> «Мы даже за эмансипацию женщины стояли, стараясь, конечно, не огорчать такими суждениями почтенных родителей. Добродетель мы любили особенно горячо и об ней говорили уже совершенно смело…»

Но в тот октябрьский день пятьдесят восьмого года, когда Писарев вышел от Кремпина, иронии в нем не было. Вся жизнь его осветилась новым увлечением.

Он и раньше знал, что умеет писать. Не зря же чуть ли не с пяти лет вел подробный дневник, а с десяти поддерживал с Грунцом самую регулярную и обстоятельную переписку. Выработалась привычка плавной, без помарок, письменной речи, поспевающей за мыслью, выработалась пространная, отчетливая фраза. Сотни часов, проведенных над статьей о Гумбольдте, тоже, как видно, не пропали даром: научили сжато и внятно пересказывать прочитанное. Казалось бы, чего еще? Но для журнальной библиографии, и особенно для Кремпина, который так дорожил — это Писарев сразу почувствовал — солидной внешностью своего издания, нужно было найти особый тон — уверенный тон хорошо осведомленного человека. Ни в коем случае нельзя было выдать себя и позволить читателю — или тому же Кремпину — догадаться, что предметы и вопросы, трактуемые рецензентом, — такая же новость для него самого, как и для воображаемых девиц, к которым он обращается.

И это удалось! И удалось сразу же, без репетиций.

> *«9 октября.*
>
> …Отсутствие надежды не выгонит чувства, но это чувство, поверь, не будет тебе в тягость, а на меня будет иметь самое благотворное влияние. Ты с своей стороны сделала все, что могла, чтобы уничтожить его или, по

крайней мере, отнять всякую надежду. К чему загадывать о будущем, да еще о таком отдаленном будущем. Настоящее, право, хорошо. Теперь работа, научные занятия, а впереди лето, каникулы. О чем же тут толковать…

Я кончил чтение статьи „Картины Италии“ и написал такую рецензию, которую Коля нашел почти превосходной. Когда я прочел ее, он просто изумился: „Молодец, Митька. Да какой же ты шарлатан! Ты выйдешь отличным рецензентом“. — Такая похвала со стороны Трескина, который постоянно ругает меня, — это важная вещь, которая очень ободрила меня, тем более, что статья моя была написана в течение полутора часа, почти без помарок и изменений. Раиза, ведь это славно, душа моя. Завтра утром отправляюсь к Кремпину и прочту ему две первые статьи свои. Ежели он их одобрит, я сделаюсь библиографом. Ты не можешь себе представить, как это будет мне приятно, ежели я, будучи еще студентом, поставлю себя независимо в денежном отношении. Это так много содействует самостоятельности. В декабре у меня наверно будут деньги, но как я дотяну до тех пор, не знаю. Вся надежда на дядю А. Д.…

10 октября.

Занялся поутру переводом в „Подснежник“, потом в 10 часов с трепетным сердцем отправился к Кремпину на Петербургскую. Прихожу, застаю его дома и объявляю, что желаю прочесть ему две статьи свои, написанные в виде опыта. Он усадил меня, подал чаю, я прочел… — Прекрасно-с! Совершенно то, что мне нужно…

После некоторых взаимных комплиментов, Кремп. встает, затворяет дверь: — Теперь, — говорит он, — позвольте условиться о цене. Как вам угодно, чтобы я платил вам, — по месяцам или по листам? — Ежели вы будете платить помесячно, — отвечаю я, — между нами могут произойти недоразуменя. Вы можете найти, что я написал слишком мало. Лучше будет платить с листа. Дело будет чище. — Хорошо. Сколько же? — Назначайте сами. — Нет, скажите вы. — Вам покажется, может быть, дорого, — говорю я, 35 руб. сер. — Ежели хотите, я положил от 25 до 30 р. с. — Я согласен на 30. — Извольте. — Ударили по рукам. — А сколько листов в месяц моей библиографии? — Да листа по два. — Таким образом, я с января 1859 г. могу получать в месяц руб. по

50, не считая того, что могу зарабатывать в других местах. Кроме того, я достал работы Трескину, перевод с франц. руб. по 10 за лист. За английский платят 16 р. сер. Не хочешь ли принять участие. Отвечай мне, пожалуйста, на это, в состоянии ли ты переводить с анг. О чистоте русского языка не очень заботься; я выправлю, как следует. Ты этим не шути, душа моя Раиза; это поможет занятию англ. яз., укрепит тебя в знании русского и принесет денег. Отвечай мне на это… Печатный лист 16 стр.

12 окт. Сегодня воскресенье, и до 3-х часов я просижу дома… Коля читает Тацита, и мы изредка перекидываемся словами. Сегодня прекрасный солнечный день, и я имею обыкновение смотреть на твой портрет в солнечном луче: так он особенно симпатичен. Губы краснее, цвет лица свежее, даже выражение меняется. Я никогда не видал такого подвижного портрета. До свидания, бабуся.

13 октября. Сегодня у нас нет лекций; утром я читал Тацита, потом перевел несколько страниц для „Подснежника“, часа в 2 из летучей библотеки принесли две другие книжки „Отеч. Зап.“. Я прочел 2-ю статью Ковалевского: „Путешествие из Венеции в Рим“ и написал свою библиографическую статью; но когда я прочел ее Трескину, он нашел, что она чрезвычайно бесцветна; я согласился с ним и задумался… Главное, тревожит меня мысль: что, ежели я исписался, что, ежели мой весь мой талант ушел на первые три статейки. Что, ежели изменит надежда на библиографию. Не правда ли, какая горестная мысль? Увидим, прав ли я в этой мысли. Сажусь за статью… Прощай, душа моя.

14 октября.

…А скверно, что денег не присылают. M-me Treskine уже заплатила за перешивку моего пальто на теплое, а теперь в скором времени придется платить за отдельные оттиски Гумб.; нужно будет занимать, а это мне не нравится. Видел я сегодня в унив. студента Федорова, который рассказал мне, что он видел в одном обществе Кремпина и что тот сильно расхваливал меня. Это мне приятно… Прощай, ангел мой. Кажется, это письмо похоже на переписку об сороке, но ведь всякие события ежедневной жизни обрисовывают характер человека. А знаешь, какая мысль меня преследует часто, когда я

занят работой, — я все думаю, какой предмет я выберу для кандидатской диссертации и из чего буду держать экзамен на магистра…»

Вот какая пошла теперь жизнь. Все планы казались осуществимыми, все затруднения представлялись пустячными — теперь, когда открылся талант.

Да, тут был, пожалуй, привкус игры, ну и что из того? Товарищи Писарева смотрели на журналистику свысока. Он и сам повторял им, что видит в своей библиографии всего лишь заработок, нетрудный и приятный. Пятьдесят рублей в месяц! Стипендия в тридцать пять рублей давала студенту возможность жить безбедно. Скабичевский уроками не зарабатывал столько.

Но кто бы что ни говорил, эти деньги, столько раз пересчитанные (правда, лишь мысленно: Кремпин обещал заплатить сразу, как выйдет первый нумер), эти деньги были не просто подспорьем. Они были доказательством: Митя Писарев умеет делать нечто такое, что другие люди ценят высоко и за что готовы платить. А если так, если в руках ремесло, дар, талант, искусный навык — называйте, как хотите, — то и будущего нечего бояться, и настоящее светлей. Допустим невероятное: не оставят при университете. Что ж, раскланяемся с наукой; литература не выдаст; будем писать в месяц не два листа, а пять или шесть — сколько надо, чтобы обеспечить всех, кого любим; еще и известность, глядишь, приобретем.

Но это разве уж на худой конец. А покамест — мы развлекаемся, и только.

В октябре Писарев просмотрел десять книжек «Отечественных записок», в ноябре — одиннадцать нумеров «Современника», в декабре — годовой комплект «Библиотеки для чтения». Выбирал описания путешествий, исторические очерки, статьи о воспитании женщин и повести с привлекательными героинями. Все это надо было пересказать и похвалить.

Кроме того, в книжной лавке купца Давыдова, на Невском, напротив Арсенала Аничкова дворца, Писарева, по условию, которое заключил Кремпин с книгопродавцем, снабжали новейшими сочинениями — религиозными, популярно-научными, педагогическими. По большей части это был книжный хлам, неходовые брошюры по цене пятьдесят копеек за фунт: «Дочери. Советы старушки, посвященные матерям, имеющим дочерей», «Арифметика для девиц», «Вступление молодой девицы в свет, или Наставление, как должна поступать молодая девица при визитах, на балах, обедах и ужинах, в театре, концертах, собраниях».

Но попадались и настоящие книги. Писарев читал их с увлечением. В короткий срок они раздвинули его мир. Это были «Химические сведения о различных предметах из повседневной жизни» Джонстона, «Естественная история земной коры» С. Куторги, затем сочинение Арнольда Гюйо «Земля и человек, или Физическая география в отношении истории человеческого рода», потом записка знаменитого Араго «Гром и молния», ну и, конечно, «Фрегат „Паллада“» Гончарова.

Разумеется, Писарев рекомендовал своим предполагаемым читательницам все подряд: «Советы старушки», «Записки доброй матери», «Минуты уединенных размышлений христианина» и стихотворения Юлии Жадовской. Вежливо указывая на отдельные недостатки, он позволял себе усомниться в достоинствах разве одной лишь «Арифметики для девиц».

Каждую брошюру, и статью, и повесть он разбирал с предупредительным участием, с уважительным интересом к намерениям автора и ни на миг не упускал из виду педагогических целей «Рассвета». Он не забывал отметить, какие страницы рекомендуемого сочинения не след читать молодым девушкам, и высказывал искренне-благоразумные мысли о религии, воспитании, литературе.

Но с настоящим одушевлением он писал о популярно-научных книгах и путешествиях.

Благодаря им он в три месяца вдруг узнал о жизни больше, чем успел узнать за все свои восемнадцать лет. Новые сведения сходились в связную, полную, грандиозную картину. Наконец-то он смог вообразить себе мир как целое. Это переживание захватывало, и Писарев говорил о нем горячо:

> «Джонстон представляет общие выводы химии, обзор различных видоизменений и вечного кругообращения материи: частичка газа из воздуха переходит в почву, потом делается составной частью растений, потом входит в тело животного или человека, потом опять улетучивается и принимает вид газа и таким образом, не уничтожаясь, не теряясь, вечно обращается в различных формах, вечно движется и изменяется».

Он ходил в университет слушать Стасюлевича и Срезневского, а также нового профессора богословия, протоиерея Полисадова (несмотря на свою степень магистра философии, протоиерей читал скучно). Университет кишел людьми, было множество новых лиц. В «коптилке» под главной лестницей, среди клубов табачного дыма, ораторствовали странные новички в нечищеных сюртуках, усатые, с длинными волосами. На сходках в

одиннадцатой аудитории бурно и бестолково спорили о каких-то непорядках в студенческой кассе. Писарев, как и другие филологи третьего курса, держался от всех этих историй в стороне. Нужно было заниматься наукой.

Однако занятия подвигались плохо. Писарев корпел над славянскими древностями, но Срезневский был с ним по-прежнему любезно-небрежен и не хотел помочь ни советом, ни одобрением. Видимо, его раздражала манера Писарева спешить к выводам, искать связей между единичными фактами. Академик считал филологию дисциплиной вспомогательной, добывающей данные для других наук, и трудолюбие в студентах ценил гораздо выше, чем остроумие. Поэтому ему нравился Макушев, а Писарев — нет. В свою очередь, Писарев не мог, не умел, не хотел больше «смиренно строить свой домик, кладя кирпич на кирпич и не зная заранее, какая из всего этого выйдет фигура». Этим способом он уже убил два года на сравнительное языкознание. Теперь в работе ему нужна была перспектива — цель и даль. Но Срезневский само это требование полагал признаком дилетантизма. Получался заколдованный круг.

> «Мне было очень тяжело, и нерешительность моя увеличивалась вместе с мучительным сознанием, что время не терпит и что решиться на что-нибудь надо поскорее. Когда вам случается особенно торопливо одеваться, то дело редко идет удачно: вы спешите, и каждая отдельная вещь тоже спешит и не дается вам в руки. Я спешил заняться чем-нибудь, и потому только метался из стороны в сторону, хватался то за один предмет, то за другой, читал много, но, во-первых, без толку, во-вторых, с глухим отчаянием, с постоянною мыслию, что это все бесполезно и что ничего из этого не выйдет. Понятно, с какою горячею благодарностью я вспоминал тогда почтенных руководителей, сбивших меня с толку и отнявших у меня даже доверие к своим силам».

Он не навещал родственников, не бывал у Майковых, не ездил с однокурсниками на Острова, не ходил в церковь, — сидел и работал. Написал для «Рассвета» листов десять — чуть не всю библиографию на полгода вперед.

Изучил «Мухамеданскую нумизматику» Савельева и еще дюжину подобных книг — в видах будущей диссертации. Прочел множество иностранных и русских исторических сочинений.

И за целую осень только раз выбрался в театр — Трескин уговорил посмотреть на африканца Айру Ольриджа в «Отелло».

Африканец — то есть, собственно, английский негр — им не понравился: очень уж рычал и рыдал, зато прогуляться по скользкому ночному городу было хорошо. Ноябрьская слякоть затвердела, тучи разошлись, и над Петербургом пылала бенгальской свечой комета Донати.

— Смотри, хвостом она задевает Медведицу! И ярче стала с октября — наверное, приближается.

— Ну и пусть ее. Новосильский знаешь что пишет? Звезда, с которой сталкивается комета, колеблется не больше, чем египетская пирамида под тяжестью кузнечика.

— Ох, Митя, какой ты у нас умный стал. Что значит библиография — обо всем понемножку…

Декабрь выдался гнилой, с ледяным, беспощадным ветром. Галоши тонули в грязном снегу. Пришлось побегать: из университета — на Невский, в лавку Давыдова, оттуда — к Кремпину на Петроградскую, потом в типографию Вульфа, где готовился первый нумер «Рассвета», да еще в университетскую типографию за корректурой сборника. В ночь на двадцать седьмое ударили пушки с Петропавловской крепости: наводнение. Университетскую набережную затопило, линиям Васильевского острова угрожала серьезная опасность. В доме Трескиных никто не спал. Собрались в гостиной, одетые как для улицы. Адмирал играл с Митей в шахматы, адмиральша вязала, Коля читал, сестры его дремали в креслах.

Оконные стекла дребезжали от выстрелов и еще сильнее — от ветра. Адмиральский денщик, дежуривший у входной двери, через каждый час докладывал, что воды на улицах пока не видно. Наконец наступил рассвет, и стрельба прекратилась.

Слава богу, стрелять перестали!
Ни минуты мы нынче не спали,
И едва ли кто в городе спал:
Ночью пушечный гром грохотал,
Не до сна! Вся столица молилась,
Чтоб Нева в берега воротилась,
И минула большая беда —
Понемногу сбывает вода, —

прочел Писарев в «Современнике» недели две спустя и решил, что Некрасов — поэт не хуже Аполлона Майкова.

В той же книжке журнала была повесть Тургенева «Дворянское гнездо». До сих пор Писарев читал только его «Записки охотника» — и скучал над ними. Теперь Тургенев его

захватил. Вспоминать и воображать разговоры его героев было увлекательно. К тому же дом Калитиных, и парк, и вся обстановка так знакомы были с детства и похожи на Знаменское. А главное — Лаврецкий влюблялся в свою кузину, и родственники негодовали. И собственная Митина жизнь, как будто еще и не начатая, в этой повести вдруг наполнилась волнением, музыкой, красотой — и казалась значительной.

Глава пятая
1859

Столько событий! Появился новый журнал «Русское слово». Курочкин и Степанов основали «Искру» — сатирический еженедельник. В «Отечественных записках» начался наконец «Обломов» Гончарова — вяло, растянуто, совсем не то, что «Дворянское гнездо», а все-таки уже сейчас видно, что вещь капитальная. А «Рассвет» опаздывает, еще нет цензурного разрешения, первый блин — комом, но это пустяки.

Двадцать восьмого января Кремпин вручил Писареву гонорар и два экземпляра первой книжки «Рассвета». Один был тотчас отправлен в Грунец, а с другим Писарев не расставался. Это был пухлый — восемнадцать листов против обещанных публике десяти! — томик, набитый тусклой переводной беллетристикой да посредственными историческими статьями.

Но отдел библиографии открывался предисловием, которое Писарев составил сам, потом шла дюжина его рецензий, а в конце полужирным шрифтом была набрана его подпись. Почти все статьи в журнале были анонимные, переводчики подписывались одними инициалами, а тут на видном месте стояло: Д. Писарев.

Впервые видел он свою фамилию в печати, впервые отослал матери двадцать рублей.

Он ликовал, он хвастался налево и направо:

— Оказывается, можно получать наслаждение от самого процесса работы. Можно делать то, что нравится, что дается легко, и этим приносить пользу и себе, и другим. А раньше я думал, что и труд, и польза непременно связаны с принуждением, с усилием воли, побеждающим скуку. И я делал это усилие, но с отвращением. Результат выходил самый незначительный, и все говорили, что я лентяй. А может быть, все дело в том, что я вовсе не создан быть ученым.

Трескин и Майков пожимали плечами. Не спорить же с человеком, который, ошалев от случайного заработка, чуть ли не готов, хотя бы на словах, променять филологию на пошлое ремесло журналиста.

— Тоже, Брамбеус нашелся!

— А вот и нет! Брамбеус осмеивал одних и восхвалял других не по убеждению, а только из выгод. А кто честно высказывает обществу свои мысли — пускай незрелые, наивные, я согласен, без этого на первых шагах и нельзя, — тот не шарлатан, нет!

Так он мог рассуждать часами. Никогда прежде не говорил

Писарев так много и таким звонким голосом. Он стал как будто выше ростом, и чаще смеялся, и резче жестикулировал. Перемену, происшедшую в нем, товарищи называли «сиянием». В самом деле, он излучал оживление и бодрость, к удивлению Трескина, знавшего, как мало Митя спит.

В первых числах февраля, вернувшись из университета, Писарев нашел дома записку: троюродный брат, Валериан Вилинский, приглашал его зайти. Валериану было под тридцать, он служил бухгалтером в департаменте окладных сборов; Писарев виделся с ним раз в год на именинах у тетушки Натальи Петровны. Заинтригованный приглашением, он явился к кузену на следующий день. Вид у кузена был озабоченный и почему-то смущенный.

— Маша приехала, — объявил Валериан, — живет на Петергофском. Прослышала о твоих литературных подвигах и непременно желает тебя видеть. Она ведь у нас теперь писательница. Ты, верно, знаешь, — Марко Вовчок?

— Я читал ее рассказы в «Русском вестнике».

— Здешние малороссы ее только что на руках не носят. Не успела приехать — ей уже Шевченко стихи написал. Вообще, дым коромыслом. Песни украинские поют, стихи декламируют, шампанское пьют за здоровье новой Жорж Санд. А ребенку есть нечего.

— Так Марковичи всей семьей приехали?

— Маша с Богдасиком здесь, Афанасий Васильевич в Москве задержался, хлопочет насчет места, — Валериан вздохнул. — Ты навести ее, не манкируй. А про меня доложи, что раньше той недели не выберусь. Не охотник я до песен, правду тебе сказать. Шумно там. И Маша какая-то странная стала.

Маша была сестра Вилинского, Мария Александровна, по мужу Маркович. Писарев смутно помнил смешливую кузину, с которой бегал в горелки в Знаменском, — ему было десять, ей шестнадцать лет. И в Грунце она была на новоселье. В Новый год за столом желали ей счастья — она уж была помолвлена. И, кажется, Варвара Дмитриевна сердилась на племянницу за что-то.

С тех пор и не виделись. Но из летних, домашних разговоров Писарев знал, что Маша очень скоро после отъезда из Грунца вышла замуж за некрасивого, бедного украинского дворянина, который был к тому же двенадцатью годами старше нее и после какой-то истории находился на подозрении у правительства.

С этим Марковичем она уехала в Малороссию и в несколько лет настолько выучилась тамошнему наречию, что опубликовала целую книгу малороссийских народных рассказов под мужским

псевдонимом Марко Вовчок. Этим летом «Русский вестник» напечатал их в переводе и с весьма лестным предисловием.

Возобновить знакомство было любопытно. Писарев не замедлил явиться с визитом в тесную квартирку на Петергофском проспекте и действительно застал там довольно шумное мужское общество и увидел самую безалаберную бедность. Тем более необыкновенной женщиной показалась ему вновь обретенная кузина.

Не красавица, даже не хороша — но как понятно было Мите это лицо! Она похожа была на Варвару Дмитриевну: та же, даниловская порода — крупные, мягкие черты и русая масть. Плавно двигалась, и крепко жала руку, и смотрела прямо в глаза.

Под этим взглядом Мите сразу стало легко: будто его давно здесь ждали, и знают ему цену, и в обиду не дадут.

Но, вероятно, не он один себя так чувствовал: люди, сидевшие за шатким чайным столом в холодной, дурно меблированной комнате, тоже радовались так, словно встретили сестру после долгой разлуки.

И странно прелестен был разговор: каждому заметно хотелось сказать интересное, важное, чтобы заслужить быструю улыбку Марии Александровны. Каждый, верно, знал, что будет услышан и понят с полуслова совершенно так, как он сам себя понимает.

Люди все были Писареву незнакомые: какой-то Кулиш, какой-то Каменецкий. Только профессора Костомарова он видел издали в университете. И Костомаров, перед которым студенты благоговели, здесь держался робко, точно влюбленный мальчик.

А роль Маши была — тишина, простота. Трудная роль: ведь ею так восхищались. Тургенев ездил каждый день, Шевченко называл ее дочкой. А она две недели как явилась из безвестности, но говорила о себе и своих рассказах спокойно, с достоинством и весельем. Казалось, она настолько умна, что не сфальшивит ни жестом, ни словом; казалось, вы знаете ее давным-давно и любите.

Писарев ушел очарованный и полночи истратил на письмо к Раисе, в котором объяснял, что непременно влюбился бы в Маркович, не будь она стара (двадцать четыре!) и не знай он, что в Тульской губернии ждет его другая, тоже современная женщина в полном смысле слова, но прекраснее, прекраснее…

Он достал «Русский вестник» с рассказами Марка Вовчка, читал их Трескину вслух и сочинил рецензию — свою лучшую рецензию. Он провел в ней необычный, самостоятельно придуманный прием: не разбирая отдельных вещей, вывел общую схему, по которой они написаны. Он показал, что в них под

разными именами действуют одни и те же характеры, обозначенные одной-двумя чертами, — но говорил об этом не в осуждение, а в похвалу, видя в авторе собирателя народных сюжетов, не сочинителя. Он нашел особенную прелесть в уменье автора скрыться за спиною рассказчика…

Хорошая вышла рецензия.

Писарев не хотел идти к Маше, пока не закончит ее. Но было очень много другой работы — для журнала, и университетскими занятиями неглижировать он не мог. Весь февраль Писарев паинькой просидел за столом, не был даже на похоронах Бозио (простудилась итальяночка, задушили ее петербургские холода). И Скабичевский и Трескин рассердились на него за такую черствость. Весь университет присутствовал на отпевании, из церкви студенты вынесли гроб на руках, неистовствовали, чуть не подрались с полицией. А Писарев в это время читал «Историю рыцарства» вперемежку с «Химической частью товароведения» — надо было спешно сдавать в типографию вторую книжку «Рассвета».

Когда он наконец выбрался в гости, его не приняли. Прислуга объявила, что Мария Александровна больны и не могут никого видеть.

Писарев выждал несколько дней и пришел снова. На этот раз его встретил и провел в знакомую уже комнату пожилой растерянный господин в невероятно засаленном сюртуке. Это был муж Маши, Афанасий Васильевич Маркович. Писарев отрекомендовался. Афанасий Васильевич, мешая русские и украинские слова, стал плести какой-то вздор о том, что очень рад познакомиться с родственником, но Маши сейчас нет и когда будет — неизвестно, а на свете много злых и неблагородных людей, и можно только пожалеть Богдасика. Мальчик плакал в другой комнате, и сам Афанасий Васильевич чуть не плакал, и Писарев, недоумевая, поспешил проститься.

Он зашел к Вилинскому. Тот, выслушав, только рукой махнул:

— И не ходи туда, братец. Там скандал. Маша связалась с этим Кулишом. Ты его видел у нее? Издатель, типография своя. Так вот, она им увлеклась, он бросил жену, та раззвонила на весь город. Тут и Афанасий Васильевич приехал из Москвы. Легко ли? Месяца не прошло, как расстались, а у жены уже любовник. Не ходи, повторяю, — удались от зла, как говорится.

Вскоре стало известно, что Маша, взяв сына, уехала за границу — почему-то в компании с Тургеневым. Писарев больше не пытался ее увидеть. И думал о ней не больше, чем, например, о начавшейся в Италии войне. Другие мысли занимали его.

Мужики сбрасывали снег с крыш, дворницкие лопаты скрежетали по тротуарам, Николаевский мост — если перегнуться через перила и глянуть вниз, — казалось, плыл навстречу ледоходу, и все это значило, что до каникул осталось несколько недель.

Третьекурсникам не обязательно было держать переходные экзамены, однако Писарев, следуя примеру большинства, решил экзаменоваться. С утра он садился за конспекты профессорских лекций, а вечерами строчил рецензии, чтобы оставить Кремпину задел на летние нумера.

Писать было нетрудно. Из книг, полученных в лавке Давыдова, лишь одна стоила того, чтобы над ней поразмыслить. Какой-то Новосильский — судя по всему, очень одаренный популяризатор — составил «по новейшим иностранным сочинениям» обзор современных научных представлений о Вселенной.

Книга называлась «Природа и ее силы» и написана была не без блеска. Конек Новосильского была относительность времени: «Если б время действительно существовало, если б оно необходимо было для развития событий, оно не могло бы всецело вмещаться в другое, несравненно кратчайшее время». Но ни один человек на Земле не заметил бы, если бы оно вдруг пошло вдвое или хоть в тысячу раз быстрей.

> «Он предполагает, — пересказывает Писарев, — что все отправления нашей жизни совершаются вдвое, втрое, в тысячу раз скорее против обыкновенного порядка; и солнце, и луна, и часовая стрелка в тысячу раз скорее совершают свое обращение; жизнь сама становится в тысячу раз короче, — и, между тем, мы не замечаем никакой перемены, потому что мы ничем не можем измерить продолжительность этого времени…»
>
> «…Вообразим наблюдателя, — не унимался Новосильский, — на звезде 12-й величины, вооруженного необыкновенно сильным телескопом. Он мог бы видеть землю, какой она была назад тому четыре тысячи лет. Представим себе, что этот наблюдатель несется от звезды 12-й величины с такою скоростью, что может прилететь на землю в один час. На половине дороги он увидел бы землю в том виде, как она была за две тысячи лет, и т. д.».
>
> «Во всех этих гипотезах, — заключил рецензию Писарев, — есть своя поэтическая сторона; но все они чрезвычайно бесполезны, неуместны и несостоятельны».

Он вполне усвоил уверенный тон и осмелел настолько, что критиковал даже брошюру с текстом проповеди одного архиепископа за устарелые словесные обороты: «Изложению недостает простоты…».

Наконец настал день, когда оказалось, что экзамены все выдержаны, рецензии для «Рассвета» все готовы, и деньги от Кремпина получены, и долги розданы, и закуплены подарки. Можно было уезжать.

Дорога заняла, как обычно, трое суток. Писарев знал ее наизусть: каждую осень она разбивала его жизнь на неравные части, но что ни лето соединяла их опять. За болтовней с Трескиным, за мельчайшими дорожными происшествиями, из которых каждое почему-то казалось ужасно смешным, волнение забывалось. Долго ехали поездом, затем пересели в карету, а в Новосиле дожидалась их бричка, высланная из Грунца. Лето началось жарой, дорога была сухая, лошади бежали бойко. Шумел полевой ветер, заглушая жаворонков. Митя Писарев, студент последнего курса столичного университета, сотрудник нового петербургского журнала, будущая знаменитость, возвращался домой.

Он был вполне счастлив — до той минуты, пока бричка не подкатила к крыльцу, где столпились все обитатели дома.

Раисы в Грунце не было. После первых объятий и поцелуев Митя спросил о ней. Варвара Дмитриевна объяснила: дядюшка Николай Эварестович пригласил Раису погостить в Истленеве. Отказать было нельзя; вернется она не раньше как недели через три.

Разумеется, тут был семейный заговор, и Писарев сразу это заподозрил. Но виду не подал и выказал огорчение прилично, в меру. В самом деле, ничего страшного ведь не случилось. Хоть и досадно, а делать нечего — придется подождать еще три недели. Он написал Раисе — но не получил ответа. Послал еще одно письмо — она опять не отвечала. Тогда он решил съездить в Истленево, но Иван Иванович не дал лошадей, а Варвара Дмитриевна объявила, что дяденька строго-настрого запретил навещать Раису.

Сын слушал их молча, только бледнел. В тот же день с ним случился обморок, чрезвычайно напугавший Трескина. Коля закричал, и весь дом сбежался в их комнату на втором этаже.

Мите натерли виски уксусом, он скоро пришел в себя и успокаивал мать почти весело, разве только голос потускнел — от слабости, наверное. Обморок свой он объяснил утомлением: в самом деле, что за весну он пережил, сколько было ученых

занятий и литературной работы.

Конечно, организм устал, но это пустяки, и теперь на деревенском воздухе скоро все пройдет.

Варвара Дмитриевна вздохнула свободней. Пять минут назад, целуя сыну безжизненные руки, она решилась было сама ехать за Раисой. Правда, детей разлучили для их же пользы, но эта затея показалась ей вдруг бессмысленной и жестокой.

— Если хочешь, мой друг, поедем вместе к дяденьке Николаю Эварестовичу, — не удержалась она.

Но, к огромному ее облегчению, сын покачал головой.

Варвара Дмитриевна была совершенно уверена в том, что от нее Митя не стал бы таиться. И она упрекнула себя за малодушный порыв. Мальчик просто утомлен, а она вообразила себе какой-то Шекспиров сюжет. Митя не Ромео, Раиса не Юлия, ребяческая привязанность — не страсть. Мальчик устал, повторяла она про себя, это пройдет.

Иван Иванович был того же мнения. Происшествие дало ему повод рассказать за ужином несколько историй о своей кавалерийской молодости; в ту пору ни сам Иван Иванович, ни его сослуживцы не знали устали, не слыхивали таких слов, как «организм» или «утомление», а падали без чувств только уездные барышни, которых они похищали. Смеялся один Коля — из вежливости; Варвара Дмитриевна и девочки с тревогой наблюдали за Митей. Но он как будто совсем оправился, только был молчалив, и щеки странно побагровели.

Прошло две недели. Раиса не возвращалась, и никто о ней не вспоминал, кроме маленькой Кати. Митя засел за работу для «Рассвета» — он привез с собой из Петербурга толстую кипу педагогических журналов, чтобы составить обзор. Трескин полистал их и ужаснулся: ничего скучнее он никогда не читал. Чего стоил хотя бы «Подробный конспект преподавания первоначальной математики малолетним детям»! Но Митя работал, как машина: каждый вечер внимательно просматривал две-три книжки «Русского педагогического вестника» или «Журнала для воспитания» и каждое утро сочинял по рецензии.

Коля тоже принялся за дело. Кремпин через Митю заказал ему перевод «Рассказов из времен Меровингов» Тьерри. Первые главы уже появились в «Рассвете». Переводил Коля хорошо, но медленно — подолгу бился над каждой фразой и не начинал новой страницы, пока не отделает и не перепишет начисто предыдущую. После каждой страницы он подолгу отдыхал на диване и слушал, как в жаркой тишине кричат петухи на деревне и как ровно и скоро идет по бумаге перо в Митиной руке.

После обеда отправлялись в сад, а когда жара спадала — на

берег Зуши. Коля не отходил от Веры. Они без конца горячо и серьезно толковали о смысле жизни, о настоящей любви и других важных вещах. Митя предпочитал беседовать с Катей. Ей шел девятый год. Угловатая и капризная, она очень огорчала Варвару Дмитриевну своенравными выходками, ни в грош не ставила отца и обожала брата.

Они вдвоем подолгу разговаривали, расстелив плед где-нибудь на берегу. Он рассказывал ей о Петербурге и обещал взять с собой, как только она подрастет. Он научил ее игре, которую когда-то придумала Раиса.

— Это очень просто. Вообрази героя и героиню. Назови их как-нибудь — ну хоть именами твоих любимых кукол. И пусть они живут. Потом мы познакомим их с другими героями, которых выдумаю я. Все они будут путешествовать по разным странам и писать друг другу письма, встречаться и расставаться. Мы с Верой считали, что это лучшая игра на свете. А тебя тогда еще не было.

Игра, однако, не клеилась. К огорчению Кати, старший брат часто и надолго задумывался, и растормошить его не удавалось. Вскоре он стал избегать ее, гулял один, прятался и от сестер, и от Трескина.

…То, что его мучило, нельзя было назвать любовной тоской. Не зря Митя гордился своей рассудительностью: он понимал, насколько, в сущности, смехотворен заговор взрослых.

— Нас, кажется, принимают за героев пошлого переводного романа, — сказал он как-то вечером Трескину. — Полагают, что довольно нескольких недель и нескольких десятков верст, чтобы чувства наши переменились. Как это умно! А того не берут в расчет, что по десять месяцев в году между мной и Раисой дорога в тысячу верст. Дражайший дяденька и с ним мамаша судят по себе. Откуда же догадаться, что современные люди — не то что дрянное старичье, что наш выбор не зависит от случайной обстановки или чужой воли. Но что за подлость они выдумали с письмами?

Из гордости он не подавал виду, до какой степени взбешен. Но мысли его были сосредоточены на мстительной переоценке неприкосновенных доселе отношений и понятий. Ему казалось, что, перестав уважать родителей, он навсегда разлюбил их. Он радовался этой небывалой свободе от любви, когда никто не нужен и ничто не страшно. И тут же страх обдавал его горячей волной, потому что он был теперь совершенно один в мире фальшивых привязанностей и ложных авторитетов, и это надо было продумать до конца, недаром же он прочел столько книг по естественным наукам.

Теперь, когда он не мог доверять Варваре Дмитриевне, ее

строгая набожность представлялась ему смешным ханжеством. Теперь, когда он чувствовал себя потерянным в мире, где никто никого не любит, он верил только в свой ум. Стройный ход собственных мыслей доставлял ему наслаждение. Роясь в ворохе вычитанных сведений, располагая их по порядку и связывая заново, он сам удивлялся тому, как легко отыскивалась эта связь, как быстро на каждый вопрос набегает ответ, как очевиден и грандиозен вывод.

Получалось, что во вселенной нет никого, кроме людей, и только один человек никогда ему не наскучит и не изменит, и этот человек — он сам. Получалась целая теория, такая неуязвимая, что в ней можно было спастись от любого горя. Он назвал ее теорией эгоизма.

По воскресеньям Писаревы всей семьей отправлялись в деревенскую церковь к ранней обедне. Митя остался дома раз и другой.

За обедом Иван Иванович осведомился о причине такого небрежения приличиями.

— Оставь, Jean, — поспешно вмешалась Варвара Дмитриевна. — Ты же знаешь, Митя нездоров.

Но сын ее уже объяснял самым равнодушным голосом, что он не считает больше нужным притворяться, будто разделяет нелепые восточные суеверия.

Последовала ужасная сцена. Отставной драгун, когда приходил в гнев, не выбирал выражений. Митя отвечал ему с невозмутимой, оскорбительной кротостью. Варвара Дмитриевна молила их прекратить этот разговор.

— Как вам не стыдно обоим! — твердила она. — При девочках! При людях, наконец!

Действительно, в столовой находились трое слуг: два лакея разносили кушанья, а казачок — мальчик лет четырнадцати — отгонял мух, размахивая огромным опахалом.

Перейдя на французский, Иван Иванович невольно сбавил тон. Он уже не бранил сына, а язвительно упрекал:

— Вот чему вас учат в университетах, господа студенты! Хороши же выйдут из вас деятели, нечего сказать.

С этого дня ни один обед в Грунце уже не проходил мирно. Приехавший через несколько дней Андрей Дмитриевич Данилов попал в самую гущу событий.

> «Не было предмета, — вспоминал он впоследствии, — который не порождал бы между нами спора, не было разговора, который не оканчивался бы

страшным криком и раздражением всех в нем участвующих. Мы говорили друг другу колкости, дерзости, оскорбления… и только что не дрались».

В этих спорах, вспыхивавших теперь по любому поводу, Андрей Дмитриевич, принявший сторону молодежи, горячился больше всех. Тем не менее он первый заметил, что с племянником его творится неладное, и обратил на это внимание Варвары Дмитриевны.

Он выговаривал сестре за то, что она удалила Раису:

— Неужели ты не видишь, что Митино спокойствие — только маска, что он страдает, что его так и корчит всего! Разве ты не замечала, как он вдруг задумывается посреди разговора, точно его здесь и нет? А этот ненатуральный, зловещий румянец! И ты ведь сама мне рассказывала, что с ним был обморок. Усталость тут ни при чем, здоровый юноша его лет не потеряет сознания от усталости. Боже мой! Из ревности, из вздорных предрассудков, из денежного расчета — да, да! — но главное, из ревности — губить здоровье собственного сына, разбивать ему жизнь… Опомнись, Варя. Лучшей жены, чем Раиса, ему не найти в целой России. Да и не станет он искать, дети все равно сделают по-своему, а тебя возненавидят, попомни мои слова.

Варвара Дмитриевна холодно предложила ему, во-первых, успокоиться и не кричать на всю усадьбу. Во-вторых, она напомнила брату, что все это, и почти в тех же выражениях, она от него слышала, и не раз. Он всегда потакал развитию этого, — она помедлила, выбирая слово, — этого увлечения и сам виноват во всем, что теперь случилось. Она тоже сожалеет, что вынуждена была применить крайнюю меру, и, может статься, не решилась бы на нее, если бы не Николай Эварестович — как-никак, умный человек и старший в семействе, и Митя многим ему обязан, — так вот, он заявил, что не позволит детям делать глупости. Теперь он не отпускает Раису в Грунец, но напрасно Андрей Дмитриевич громоздит здесь все эти ужасы. Раиса очень довольна, она ездит в Липецк на балы, танцует с офицерами. А Митя? Митя, конечно, расстроен, однако меньше, чем Варвара Дмитриевна ожидала. Румянец у него был всегда, он, слава богу, мальчик здоровый. А что он так упорно противоречит старшим, — так разве не Андрей Дмитриевич поддакивает ему?

Затем Варвара Дмитриевна намекнула, что у брата имеются личные, далекие от педагогии причины желать возвращения Раисы, и разговор окончился очередной ссорой, тем более бурной, что это была правда. Андрей Дмитриевич был влюблен в невесту своего племянника, и та знала об этом, и Митя знал, и

обоим льстила эта заведомо безнадежная страсть взрослого человека, восторженно приносимая в жертву их счастью. Сам Андрей Дмитриевич не сумел бы, пожалуй, сказать, насколько сильна его страсть и в чем заключается жертва, но у молодых людей не возникало на этот счет никаких сомнений. Дядя очень любил мечтать с ними вместе и плакать.

В этом печальном июле по ночам Митя приходил в комнату Андрея Дмитриевича и, усевшись в ногах постели, жадно слушал рассказы о своем семействе. Ожесточенный ежедневными скандалами, Андрей Дмитриевич давал волю неприязни к писаревской родне. Он находил, что должен раскрыть племяннику глаза на то, какие низкие и лицемерные люди навязывают ему свою мудрость. И вот оказывалось, что Николай Эварестович Писарев, действительный статский советник и камергер, Митин благодетель, в бытность свою олонецким гражданским губернатором разорил целый край и прославился на всю Россию как взяточник и казнокрад.

— Вот откуда в Истленеве все эти статуи, колонны, картины… И сигнальная пушка перед крыльцом!

Затем наступил черед Ивана Ивановича. Не обинуясь, Данилов называл его «пустейшим малым».

— Ты ведь слышал, как он хвастает своими кавалерийскими подвигами. И столь же простодушно он способен рассказать, как обсчитывал провиантское ведомство, закупая фураж для эскадрона. А мужиков как дерет — любо-дорого! Успехи его у крепостных красавиц тоже, вероятно, тебе известны. Сколько Варя унижений терпела! Между прочим, это один из ее доводов против твоей женитьбы на Раисе. Дескать, вы тоже ровесники. Раиса в сорок лет будет уже старуха, ты примешься волочиться, ну и так далее…

Митя не просто слушал. Он задавал вопросы, уточнял даты, сопоставлял факты — словом, производил настоящее дознание.

Атмосфера в доме сгущалась. Один Коля Трескин блаженствовал: переводил очерки Тьерри, подолгу беседовал с Верой, научился ловить рыбу. Митя, конечно, изложил ему свою теорию эгоизма и с удовольствием убедился, что оспорить ее Трескин не в состоянии. Но и согласиться с вещами ясными, как солнце: что человек может прожить один, ничья любовь ему не нужна и нельзя стать по-настоящему свободным, пока не похоронишь мысленно всех, кто тебе дорог, — согласиться с этим Коля тоже не желал. Как раздражал Писарева этот медлительный ум, не способный ни защищаться, ни признать свое поражение! Прижатый к стене неотразимыми аргументами, Коля заявлял: «Ну, ты софист, с тобою не столкуешься!» — и преспокойно

заговаривал о другом, как будто на свете было что-нибудь важнее, чем Митино открытие. В отместку Митя встречал ледяной иронией каждое слово друга.

…В последних числах июля он объявил Варваре Дмитриевне, что хочет как можно скорее вернуться в Петербург. Она не стала возражать — даже заметила вскользь, что это, может быть, и к лучшему, да и Раиса вряд ли приедет этим летом: из Истленева пишут, что она не на шутку увлечена каким-то Гарднером. Митя кивнул и сказал, что отправится завтра.

Прощание вышло принужденное, все точно радовались и были этим смущены. Только Катя плакала навзрыд и долго бежала за коляской в облаке пыли.

В Москве Писарев объяснил Трескину, что должен задержаться: надо навести справки о Гарднере. Коля решил, что останется тоже. Он был сердит на друга, но и жалел его, и даже, сам не зная почему, за него тревожился. Остановились у Александра Павловича Коренева, отца Раисы, и от него же узнали необходимые сведения. Оказалось, что Гарднер учится в Московском университете, на медицинском. Александр Павлович знал даже, где он живет.

— Да только сейчас не застанете. Что делать студенту летом в городе? Уехал, разумеется, куда-нибудь к родным.

Писарев не сомневался в этом, но по указанному адресу все-таки пошел, и Коля увязался с ним. Петр Александрович Гарднер принял их, лежа в постели: у него был сильный жар. Узнав, что Писарев — кузен Кореневой, больной обрадовался и, превозмогая глухой надрывный кашель, принялся расспрашивать о том, как Раиса Александровна проводит лето.

Это было очень странно: человек, из-за которого Раиса не может покинуть Липецк, — этот человек лежит больной в Москве…

Он вызывал симпатию и сочувствие и вовсе не походил на счастливого жениха: о Раисе говорил тоном, далеким от всякого намека на короткость, держался приветливо, хотя и с оттенком недоумения, — да ведь его гости и сами не знали, зачем пришли. Им оставалось только откланяться. Простились они с Гарднером дружески и обещали зайти еще. На обратном пути Писарев был весел. Не слушая Трескина, который толковал о каком-то недоразумении, он радовался тому, что избранник Раисы опасно болен. Он был убежден теперь, что брак ее с Гарднером не состоится.

«Я говорю теперь чистосердечно, — ликуя, писал он матери, — что желаю пока одного: чтобы Раиса не

умерла и чтобы сгоряча не дала себе обета девственности. А там — будет ли она моею женою или женою другого — лишь бы была счастлива. Себе-то я всегда найду утешение в области мысли. Теперь я могу себе представить только одно несчастье, которое сломило бы меня: сумасшествие с светлыми проблесками сознания. Все остальное: потеря близких людей, потеря состояния, глаз, рук, измена любимой женщины, — все это дело поправимое, от всего этого можно и должно утешиться».

В вагоне петербургского поезда он обрушил на Трескина последние выводы своей теории. Да, человек живет и умирает один, и никому во вселенной нет дела до него. Он свободен — в той мере, в какой способен отрешиться от привязанностей. Это понимали древние греки, — не зря они над всеми богами, которые так похожи на людей, поставили судьбу, Мойру. Что такое эта слепая сила? Судьба — это законы природы, единственные, которым подчиняется мир. Мы не знаем этих законов или знаем малую часть. То, что мы называем природой, то, чем любуемся, — бесстрастно, бесчувственно, бессознательно, неумолимо, глухо к нашим благодарственным возгласам и к нашим бессильным проклятиям.

— К чему же становиться нам к этой слепой силе в какие бы то ни было нравственные отношения? Она не посторонится для нас ни вправо, ни влево.

Он решил писать об этом диссертацию. Судьба в миросозерцании древнегреческих поэтов. Это будет переворот в науке. А все остальное неважно. От любой потери можно оправиться, когда живешь в мире мысли.

— Этот мир теперь мой, и я буду жить исключительно в нем, безвыходно, постоянно. Наука бесконечна, как вечность. Я погружусь в нее безраздельно до той минуты, когда…

На краю неба блеснул шлем Исаакиевского собора. Поезд приближался к Петербургу.

Никогда еще Писарев не работал так много, как в этом августе. Поиски специальности закончились, и путь лежал перед ним прямой как стрела. По нескольку часов в день Писарев переводил и комментировал Гомера, предвкушая потрясение, которое произведет в ученом мире его диссертация. Его осаждал рой мыслей, таких значительных и глубоких, что невозможно было выстроить их в ряд и не было сил усидеть за столом. Он подолгу кружил по безлюдному, выцветшему от жары городу,

шагая чрезвычайно скоро и разговаривая тихонько сам с собой.

На ходу он составлял письма к Раисе — от нее по-прежнему не было ни слова, — воображал свою речь на магистерском диспуте и даже сочинял стихи. Утомившись и успокоившись, он возвращался домой — то есть к Трескиным — и принимался писать статьи для «Рассвета». Хотя Писарев не сомневался, что его научная карьера обеспечена, он твердо решил не бросать журналистики. Но теперь он иначе смотрел на свою библиографию. Во-первых, следовало изгнать из нее всякое упоминание о религиозных брошюрах. Во-вторых, нечего было скромничать, довольствоваться пересказами. Ему хотелось говорить с публикой полным голосом, а для этого надо было как можно чаще и обстоятельней обсуждать произведения изящной литературы, прежде всего капитальные вещи — «Обломова» и «Дворянское гнездо». Он уже не понимал, как сумел целое лето пробавляться скучными обзорами педагогических журналов, — да еще чуть ли не все статьи оттуда выбрал на одну тему: деспотизм материнской любви. Кремпину эти обзоры весьма понравились, но Писарев-то знал, что способен на гораздо большее.

Конечно, —*бов*, то есть Добролюбов, пока что сильнее всех в историко-литературных суждениях, и такой статьи, как его «Обломовщина» в майской книжке «Современника», не получится, пожалуй, ни у кого.

Зато Писареву удается анализ характеров. Да это только так говорится — анализ. Он умеет вообразить себе человека, встреченного на книжной странице, так ярко и полно, в таких подробностях, точно сам его выдумал. Он может рассказать жизнь Обломова, как свою собственную, и во время бессонницы (сна почему-то нет) пересочиняет по-своему объяснение Лаврецкого с Лизой. Он испытывает огромное наслаждение, подробно описывая действующих лиц хорошего романа, сравнивая их между собою, разбирая их отношения, — точно вспоминает удивительный сон. Только в той игре, «Нашей Игре», которую десять лет назад придумала Раиса, была такая же радость.

И он ввел в библиографию «Рассвета» новый разряд рецензий. Каждая была размером в печатный лист. Каждая открывалась набором отвлеченных рассуждений — вроде того, что «Онегин, Печорин, Обломов воплотили в себе различные фазы болезни века, поражавшей лучших представителей прошлого поколения», или что «творчество с заранее задуманной практической целью составляет явление незаконное; оно может быть предоставлено на долю тех писателей, которым отказано в могучем таланте, которым дано взамен нравственное чувство, способное сделать их хорошими гражданами, но не художниками».

Затем следовала краткая формула идеи разбираемого произведения. «Обломов», например, написан об апатии, знакомой всем векам и народам и вызываемой отсутствием ответа на страшный вопрос: «Зачем жить? К чему трудиться?». Так сказать, байронизм слабых (это в пику Добролюбову, который выразился об Илье Ильиче, что это «коренной, народный наш тип»).

А «Дворянское гнездо» берет лучших представителей современной жизни и показывает нам, что в них есть хорошего и чего недостает, что следовало бы добавить и исправить.

И, покончив таким образом с теорией, Писарев приступал к самому главному: одного за другим представлял публике литературных героев. Впрочем, о читателях он почти забывал. Он сводил счеты с Паншиным, жалел о Лаврецком, упрекал Лизу, ставил ей в пример Ольгу Ильинскую, — словом, вел себя с персонажами так, будто сам был одним из них и, прежде чем писать статью, долго жил в чужом романе, а теперь вот сбежал из него.

Наступила осень, вернулись в город знакомые, начались лекции в университете. При первой же встрече с однокурсниками Писарев неприятно поразил их каким-то восторженным самодовольством. Он говорил очень громко, очень много и только о себе. Перебить его не было никакой возможности. Он подробно рассказывал об умственном перевороте, который пережил этим летом, об измене кузины, о ссорах в семье, а главное — о своем открытии, что никто никому не нужен, и человеку нечего терять, кроме собственной жизни, и некого — кроме себя. Он хвастал своим атеизмом, и будущей диссертацией, для которой перевел уже восемь песней «Илиады», и деньгами, которые доставляет ему журналистика: в этом году он сам (не дядя-взяточник!) внес деньги за учение и все-таки нисколько не бедствует. Он ссылался беспрестанно на Трескина, но тот прятал глаза и помалкивал. Ему, как и остальным, совестно было слушать, откровенность Писарева выглядела нескромной и нелепой. Как-то уж больно пылко влюбился Митя в самого себя и слишком часто повторяет, что чья угодно гибель ему нипочем. Сомнительна и вся история с диссертацией, хотя, конечно, греческий он знает превосходно и работает как одержимый. Но эта невозмутимая, бесцеремонная самоуверенность, как ни странно, делает его беззащитным, почти жалким, он даже не видит, что над ним смеются.

На самом деле Писарев хорошо заметил впечатление, которое произвел на товарищей; тем больше нравилось ему дразнить их: ему казалось, они ненавидят его, потому что завидуют.

Никогда еще не был он так одинок. Лишь от дяди Андрея Дмитриевича приходили пространнейшие письма: дядя плакал о своей зря пропавшей жизни, называл себя лишним человеком и проклинал Раису.

А Варвара Дмитриевна, которую брат познакомил с теми отрывками из Митиных писем, где говорилось, что и смерть матери — не самая страшная беда для мыслящего человека, прислала сыну короткую, горькую записку и замолчала.

И теперь уже никто в мире не любил Митю Писарева.

Повсюду — в университете, на улице, в доме у Трескиных — люди смотрели на него с выражением мрачной злобы и улыбались фальшиво, и голоса их звучали глухо и отдаленно. К тому же что-то случилось со временем: часы тянулись мучительно медленно, зато целые дни и даже недели пропадали бесследно, так что календарь все время лгал — как у Фамусова! — и поневоле приходилось вспоминать ту лукавую книжку Новосильского: может, и правда, время не существует, мир не таков, каким представляется. Вот Нева, такая холодная, тяжелая на вид, и закат, и октябрь, а ведь это все обман и декорация, поддельное все, как любовь Раисы к этому Гарднеру, как усмешка Коли Трескина, когда он говорит, что денщик ворует у адмирала книги. Все притворяются; отвернись — подстерегут и набросятся разом, и задавят, как червяка.

Ему было очень страшно.

> «Он вообразил, — напишет впоследствии Скабичевский, — что под видом якобы денщика Трескин подозревает в краже книг не кого иного, как его, Писарева, и что все товарищи учредили над ним тщательный надзор, чтобы поймать его на месте преступления, и решились уничтожить его без суда и следствия, зарывши в землю живым».

Голова болела. Писарев больше не бродил по улицам — вообще не выходил из дому, сидел за столом неподвижно, уставясь в окно, на дождь, и сжимая голову руками. О пресловутой своей диссертации он думал теперь с отвращением и тоской, работа эта представлялась ему такой же бессмысленной и безнадежной, как два года назад — перевод из книги немецкого философа; он не верил уже в свою гениальность. Не верил ни во что.

В ужасе он написал Варваре Дмитриевне:

> «Я стал сомневаться и наконец совсем отвергнул вечность собственной личности, и потому жизнь, как я ее

себе вообразил, показалась мне узкою, бесцветною, холодною. Мне нужны теперь привязанности, нужны случаи, в которых могли бы развернуться чувства и преданность, нужно теплое, разумное самопожертвование, над которым я так жестоко смеялся несколько дней тому назад… Я нахожусь теперь в каком-то мучительном, тревожном состоянии, которого причин не умею объяснить вполне и которого исхода еще не знаю… Мама, прости меня, мама, люби меня!»

Он порвал диссертацию. Сжег портрет Раисы и ее письма. Он уже не сомневался, что его ждет позорная гибель, и не хотел навлекать подозрений на бывшую свою невесту.

«Ради бога, мама, прости меня, напиши ко мне, — взывал он. — Ты бы пожалела обо мне, друг мой мама, если бы знала, как я жестоко наказан за свою самонадеянность, за свой грубый эгоизм. Я сам себе противен, потому что вижу, что, когда мне везет, я подымаю голову, когда является несчастье, я падаю духом и прошу утешения у всех, кто меня окружает. Так случилось теперь. Пока ты была нежна со мной, я не понимал и не ценил тебя, увлекаясь разными личными видами и планами, которым, вероятно, никогда не сбыться… Теперь, когда ты решительно отказалась от меня, отталкиваешь меня, мне делается так страшно и больно. Я начинал к тебе четыре письма и ни одного не решился отправить: в каждом из них слишком мрачно выставлялись мои опасения за себя и мой взгляд на будущее…»

Наступил день, когда он перестал сопротивляться: лег на диван, отвернулся к стене и так лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху, но не откликаясь на зов, не отвечая на вопросы.

Адмирал Трескин съездил к попечителю университета Делянову. Тот призвал для совета инспектора Фицтума фон Экштедта. Инспектор аттестовал Писарева как даровитого и благоразумного студента и добавил, что от сбора, который дали великопостные концерты прошлой зимы, осталась еще малая толика денег, достаточная для того, чтобы поместить бедного юношу в частную лечебницу. Делянов согласился.

— Доктор Штейн берет шестьдесят рублей в месяц, но это знающий врач, и у него обеспечен пациенту хороший уход. А в городской больнице несчастный молодой человек вряд ли

поправится.

На следующий день — это было в середине декабря, — к ужасу Коли Трескина и Скабичевского, плакавших в соседней комнате, двое здоровенных мужчин явились за Писаревым и отнесли его в карету, чтобы доставить в психиатрическую лечебницу доктора Штейна — Тверская улица, дом 10, у Таврического сада.

Глава шестая
1860. ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ

Как это сказано у Диккенса, в романе, который появился в России года за два до описываемых событий?

> «На нашем жизненном пути мы встретимся со всеми, кому суждено встретиться с нами, и сделаем для них, как и они сделают для нас, все, что должно быть сделано… Вы можете быть уверены, что уже вышли в путь те мужчины и женщины, которые должны столкнуться с вами. Да, без сомнения, столкнутся».

Пока Дмитрий Писарев, в уверенности, что весь мир — зловещая мистификация, бился головою о стены, которые предусмотрительный доктор Штейн распорядился обить войлоком; пока, терзаемый непереносимым ужасом, больной пытался спастись, затягивая на горле скрученную жгутом простыню, одним концом привязанную к спинке кровати; пока его пичкали солями железа, успокаивали теплыми ваннами, отвлекали от навязчивых идей гимнастическими упражнениями и выводили гулять во внутренний дворик больницы; пока Варвара Дмитриевна, примчавшаяся в столицу по письму адмирала Трескина, следила из окон докторской квартиры, как робко бродит в кучке безумных ее сын, — в это самое время происходили события, определившие продолжение его судьбы. Но Писарев об этих событиях не знал.

И люди, которым предстояло сделаться соучастниками его славы и совиновниками его гибели, тоже пока еще не думали о нем или даже не подозревали о его существовании, а занимались своими делами.

Уже были разработаны вчерне основные положения крестьянской реформы, и журналы получили дозволение говорить о вреде крепостного права. Открылись в Киеве, а затем в Петербурге и в Москве первые бесплатные воскресные школы — на манер лондонских. В ноябре был учрежден, а с января принялся действовать Литературный фонд — общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым.

Десятого января в зале Пассажа состоялся первый платный вечер в пользу Литературного фонда. Впервые русская образованная публика увиделась со своими любимцами. Тургенев, встреченный бурей рукоплесканий, прочитал статью «Гамлет и Дон-Кихот». В кругах, близких к журналу

«Современник», подозревали, что Иван Сергеевич готов изменить журналу, что, говоря о Дон-Кихотах, он едва ли не имеет в виду людей отрицательного направления во главе с Чернышевским, едва ли не подпевает статье Герцена против Добролюбова — «Very dangerous!!!». Однако Иван Сергеевич объявил, что статья его идет в январской книжке «Современника», вместе со всею залой горячо хлопал Некрасову и был очень мил с Чернышевским, брал его под руку, шутил: «Вас я могу еще переносить, но Добролюбова не могу». — «Это оттого, — сказал Чернышевский, — что Добролюбов умнее и взгляд на вещи у него яснее и тверже». — «Да, — отвечал Тургенев с добродушной шутливостью, — да, вы простая змея, а Добролюбов очковая змея».

Этот тургеневский mot мгновенно распространился в публике, и многие злорадно усмехались, негодовала только молодежь. Из старших один Гончаров был недоволен выходкой «бархатного плута», как называл Тургенева в разговорах с короткими знакомыми. Иван Александрович злился, хотя дела его шли прекрасно: лето он провел в Мариенбаде, жадно читая русские журналы и газеты, в которых взахлеб хвалили «Обломова». Добролюбов в «Современнике» превознес его до небес — и как верно взял и глубоко, даром что вчерашний студент, и несмотря на свои опасные заблуждения, — но Герцен, друг Тургенева Герцен, этот наглый агитатор, поместил в своем вредном листке статью, наполненную ругательствами против Добролюбова, а главное — против самого Ивана Александровича! Он позволил себе сказать, что «Обломов» непроходимо скучен! Что это, видите ли, «длинная одиссея полузаглохшей, ледящейся натуры, которая тянется, соловеет, рассыпается в одни бессмысленные подробности». «Вы готовы, — обращался Герцен к Добролюбову, — сидеть за микроскопом и разбирать этот гной…» Каково?! Ничто не могло утешить Ивана Александровича — ни слава, ни значительная сумма, полученная за «Обломова», ни даже новый роман, потихоньку подвигавшийся, — отрывок из него Некрасов взял в ту же январскую книжку «Современника», где появится этот самый «Гамлет и Дон-Кихот». Иван Александрович был мрачен, и острота Тургенева еще больше воспалила в нем желчь. Уж конечно, «бархатному плуту» не по душе Добролюбов, раз этот юноша понимает значение Гончарова.

Добролюбов на вечер в зале Пассажа не пошел. Ему нездоровилось. Он сидел дома, в своей квартире на Моховой, и вслух читал младшему брату книжку, на обложке которой значилось: «Рассказы из народного русского быта Марка Вовчка». Рассказы были хорошие, трогательные, простолюдины страдали в

них гордо, и Николай Александрович почти решил, что напишет об этой книге.

Автор ее, то есть Марко Вовчок, то есть Мария Александровна Маркович проводила эту зиму в Гейдельберге вместе с сыном, и муж ее тоже был здесь. «Кулишом они оба очень недовольны, — сплетничал один современник, — и очень обрадовались его примирению с женой». Но у самих Марковичей семейная жизнь, несмотря на старания Афанасия Васильевича, не выправлялась. Мария Александровна раздумала возвращаться в Россию: она увлеклась молодым юристом Александром Пассеком, и он, к огорчению своих родных, тоже горячо полюбил эту замужнюю, взрослую (на несколько лет старше него) женщину. Назревал скандал и разрыв, мать Пассека плакала, Маркович плакал, говорилось много злых и жалких слов. Тем не менее Мария Александровна успела написать новую большую повесть «Червонный король». Полонский выпросил ее для «Русского слова». Герцен, с которым она еще осенью, побывав у него в Лондоне, почти подружилась, назвал эту вещь гениальной.

> «И что в этой женщине, что все ею так увлекаются? — негодовала в своем дневнике юная графиня Толстая, дочь вице-президента Академии художеств, познакомившаяся в этом году с Марией Александровной. — Наружностью — простая баба… противные белые глаза с белыми бровями и ресницами, плоское лицо; в обществе молчит, никак ее не разговоришь, отвечает только „да“ и „нет“… А все мужчины сходят по ней с ума: Тургенев лежит у ее ног, Герцен приехал к ней в Бельгию, где его чуть не схватили, Кулиш ради нее разошелся с женой, Пассек увлечен до того, что бросил свои занятия, свою карьеру, исхудал весь и уезжает с нею, несмотря на то, что брат только начал поправляться после горячки, а мать захворала от горя…»

Герцен действительно приезжал в Бельгию, рискуя свободой, и виделся в Брюсселе с Марией Александровной. Но главная цель этой поездки была другая: разузнать, нельзя ли перенести издание «Полярной звезды» и «Колокола» на континент. Однако у бельгийского правительства были на этот счет другие виды. В Брюсселе появился в качестве агента русского министерства финансов некий барон Фиркс, Теодор Иванович. До недавнего времени он служил инженером на постройке железной дороги в южной России, но на пятом десятке ощутил в себе литературное призвание и напечатал по-французски и по-немецки брошюру под

названием «Письма о железных дорогах в России». За «Письмами» последовали «Этюды о будущности России», первый из которых назывался «Освобождение крестьян» (вышел в пятьдесят девятом году в Берлине на французском языке). Печатался барон под псевдонимом Д. К. Шедо-Ферроти: от французского chemin de fer — железная дорога. Книжка Шедо-Ферроти о крестьянской реформе понравилась Головнину, доверенному сотруднику великого князя Константина Николаевича. Он доложил великому князю о новоявленном публицисте. Было решено, что Шедо-Ферроти — как раз тот человек, который способен отстаивать перед европейским общественным мнением точку зрения либеральных администраторов, возглавляемых Константином Николаевичем (противники называли их партией константиновцев), и тем влиять на внутренние русские дела. Великий князь рекомендовал сочинение Шедо-Ферроти государю. Так барон Фиркс получил дипломатический пост в Брюсселе и средства для издания политической газеты «Отголоски русской печати» на четырех языках. Бельгийское правительство было уведомлено о намерениях барона и одобрило их. А планов Герцена брюссельский кабинет не одобрял. Министр юстиции даже не ответил на его запрос. И пришлось Александру Ивановичу возвращаться в Лондон, в свой Park-house, ни с чем.

Правда, и в Англии он тогда не чувствовал себя оторванным от отечества. Корреспонденции в «Колокол» шли потоком, и чуть ли не каждую неделю являлся с визитом новый гость «оттуда».

> «Тогда приезжало много русских, особенно весной и летом, — вспоминает Н. А. Тучкова-Огарева. — Помню Григория Евлампиевича Благосветлова; он был средних дет, по-видимому добрый, честный человек, но такой молчаливый, что я не слыхала, для какой цели он пробыл довольно долго в Лондоне, помнится, года два. Он занимался переводами, за которые Герцен платил ему, кроме того, давал уроки старшей дочери Герцена, за что тоже получал вознаграждение…»

Говоря «года два», Наталья Алексеевна слегка ошибается. Благосветлов появился в Лондоне в августе пятьдесят восьмого, но в ноябре уехал в Париж и провел там почти год: В Англию он вернулся осенью пятьдесят девятого, дочерям Герцена (обеим — Наташе и Оле) давал уроки всего лишь несколько месяцев, а теперь, в начале шестидесятого, снова собрался уезжать.

Не то чтобы он боялся скомпрометировать себя слишком тесным и продолжительным общением с патриархом эмиграции. Подлость аристократов и злоба правительства и так уже навсегда

погубили карьеру Григория Евлампиевича — в тот самый день пять лет назад, весной пятьдесят пятого, когда в одном из классов Пажеского корпуса он позволил себе иронически отозваться о покойном государе Николае Павловиче, и дрянной мальчишка, высокородный тупица, племянник Дубельта, в отместку за нуль, поставленный ему по заслугам, донес. До сих пор Благосветлов не мог вспоминать об этом спокойно.

— Донес! — восклицал он. — Донес на своего учителя, который никогда ничего не делал своим воспитанникам, кроме добра и пользы. Ученик предал своего учителя, как Иуда, которому даже отказали в кровавых сребрениках… Это совершенно достойно русского аристократа и его сына… Мерзавцы, достойные костров, темниц, цепей и рабства, гнетущего вас, пресмыкающихся тварей и подлых лакеев придворного крыльца!

Тогда ему было запрещено преподавать в военно-учебных заведениях. Еще через год — запрещено преподавать где бы то ни было. Годы ученья впроголодь, бессонные ночи над книгами, дар волновать молодые сердца вдохновенной любовью к литературе — все пошло насмарку. На четвертом десятке Григорий Евлампиевич остался без средств к существованию и вынужден был добывать их составлением журнальных статей, которые почему-то никому не нравились. В них, видите ли, недоставало блеска, ну а дельность, ученая основательность и честный образ мыслей, разумеется, не в счет, — и вот Григорию Евлампиевичу, с его бешеным самолюбием, приходилось терпеть равнодушную медлительность редакций, довольствоваться неопределенными обещаниями, перебиваться редкими, скудными гонорарами и жить в совершенной безвестности. А какой-нибудь Аполлон Григорьев, заклятый славянофил и человек положительно вредный по своим московско-вяземским убеждениям, печатается где хочет и сколько хочет, и знаменит, и первенствует сейчас в «Русском слове». А Чернышевский, который в Саратовской семинарии учился двумя классами младше Благосветлова и брал с него пример, и шел за ним след в след (тоже покинул духовное ведомство ради Петербургского университета, также подружился с покойным Введенским, также, хоть и с меньшим успехом, преподавал), — так вот, теперь Николай Чернышевский задает тон в «Современнике», и этот журнал считается чуть ли не лучшим в России. А Григория Евлампиевича там не печатают — будто бы оттого, что стиль его отдает высокопарной, тяжеловесной риторикой.

«Но это приказная придирка. Спорить о том —

> почему Чернышевский любит носить грязные калоши, а я — чистые сапоги, — не стоит и сального огарка. Очень странно, но писать гадко, неопрятно, немецко-пономарским стилем для меня так же отвратительно, как спать на паршивой постели. Нет, я желал бы выслушать здоровый, крепкий упрек за содержание, идею статей», — писал Благосветлов Я. П. Полонскому, когда тот еще редактировал «Русское слово».

В ходе переписки с добрейшим Яковом Петровичем и родился у него смелый план, ради осуществления которого надо было теперь опять переезжать из Лондона в Париж.

Дело в том, что «Русское слово» падало. Подписка сокращалась, убытки росли, редакцию раздирала свара. Напрасно Полонский вербовал в сотрудники лучших своих приятелей, Григорьев строчил статьи — одну хлестче другой, а граф Кушелев-Безбородко составлял подробнейшие приказы по редакции и закупал на корню романы Дюма-отца. Ничто не помогало. Их учено-литературный журнал оставался неряшливым альманахом, где между «Шахматным листком» и руководством по анатомии можно было встретить порою недурные стихи или серьезную философскую работу, но все это терялось в груде посредственных компиляций.

Журнал был всеяден, бесцветен, подписчиков осталось всего полторы тысячи. Полонский винил в этом Григорьева, Григорьев — Полонского, а граф Кушелев — их обоих.

В ноябре пятьдесят девятого года граф доверил управление редакцией какому-то проходимцу по фамилии Хмельницкий, и тот повел дело с таким беззастенчивым невежеством, что многим стало ясно: журнал Кушелева вот-вот прикажет долго жить, подобно тем сорока шести, что ли, возникшим и прекратившимся за последние два года изданиям, список которых с многозначительным простодушием опубликовал «Современник». То есть это Благосветлову стало ясно, издалека, а граф как будто и не подозревал опасности, грозившей его детищу. Напротив, заменив безалаберных, но даровитых и честных сотрудников темным спекулятором, он успокоился, точно дело сделал, — настолько успокоился, что собрался за границу, во Францию.

Как только Григорий Евлампиевич узнал об этом, он сразу понял, что и ему пора в Париж. Он заклинал петербургских знакомых сообщать ему всякий слух, касающийся «Русского слова», а главное — написать, когда уезжает граф Кушелев и где остановится. Григорию Евлампиевичу необходимо было увидеться с графом; вся его жизнь могла перемениться от этого свиданья.

Кто-кто, а уж Благосветлов умел говорить с молодыми людьми, а граф был человек молодой, добродушный, со слабым характером и недальнего ума.

Да что там недальнего, думал Григорий Евлампиевич, просто безмозглый мальчишка, сиятельная бездарность. Но как страшно богат!

> «Какая бы новая мощь хлынула из души, — писал Благосветлов Полонскому, — если б Вы имели средства Кушелева для Вашего развития! И что бы и как бы я распорядился своим образованием и безграничной жаждой литерат. труда, если б какой-нибудь Юсупов вместо пяти гончих собак подарил мне три тысячи на заграничное путешествие…»

Странное дело! Григорий Евлампиевич глубоко презирал графа Кушелева, этого аристократического недоумка, но знал, что способен его полюбить и при свидании сделает все, чтобы граф его полюбил тоже. Граф должен оценить его искренность и прямоту, должен понять: «Если он продаст десять деревень или проиграет в карты полмиллиона — я не осмелюсь сказать ни слова; но в пользу общего предприятия, связанного с успехом многих писателей и всей нашей литературы, я вправе говорить». Да, именно так и надо начать, искренне и резко, не скрывая волнения и с гневом на тех, кто искажает прекрасную, бескорыстную мысль графа и топчет в грязь честь и святость его превосходнейшего предприятия, одного из благороднейших журналов. Григорий Евлампиевич откроет графу глаза на интриги и неспособность Хмельницкого, и, может статься, Кушелев догадается, какой человек должен стоять во главе «Русского слова»… А если нет, если его взбалмошное сиятельство разозлится и пойдет наперекор, — что ж, «тогда мы опять надевай колодки Краевского и ползай в передней Некрасова», а как станет совсем невмоготу — можно вернуться в Лондон да и остаться тут навсегда…

Но пока что Григорий Евлампиевич и думать об этом не хотел, дыша предвкушением огромной, невероятной, близкой удачи.

> «Я одного боюсь, — писал он в начале января уже из Парижа единственному своему другу, штабс-капитану Попову, такому же, как и он сам, дюжинному литератору из числа преподавателей военно-учебных заведений, — я одного боюсь: ты выдашь и себя, и меня Хмельницкому… Но прогнать дурака с чужого ему места всегда следует

порядочному человеку».

И, как всегда, спрашивал:

> «Ну, что нового у вас? Хотелось бы знать, что цензура Корфа и Гончарова с компанией. Неужели крыса и бульдог также способны цензуровать человеческую мысль! Исполать нашему прогрессу!..»

Сильно не любил Гончарова Григорий Евлампиевич, обзывал его в письмах к Попову подлейшим трусом, цензором, ленивцем и лицемером, восклицал, впадая в неистовство:

> «Бейте этого (следовало совсем уж крепкое словечко) до конца, я не отстану…»

Если бы он только знал, как тяжко жилось Гончарову весной тысяча восемьсот шестидесятого года! Ни минуты покоя не было у Ивана Александровича с первых дней февраля, когда в «Русском вестнике» появился новый роман Тургенева — «Накануне». Иван Александрович не читал этой вещи — зачем? Он и так не сомневался, что в ней, как и в «Дворянском гнезде», найдет темы и образы, и целые сцены, и отдельные выражения из своего еще недописанного романа «Художник», программу которого имел несчастье рассказать Тургеневу много лет назад.

Напрасно посыльные из редакций и типографий звонили у дверей квартиры Ивана Александровича: он велел слуге не пускать никого. Не до цензорских обязанностей ему было. Заперев дверь на ключ, укутавшись в халат, небритый, он скорчился в кресле перед камином и, глядя в огонь, снова и снова сопоставлял обстоятельства дела.

Он вспоминал тот вечер, когда открыл Тургеневу план своего романа — рассказывал, как рассказывают сны, с увлечением, едва поспевая говорить.

Это было в пятьдесят пятом году, на квартире, которую снимал Иван Александрович в доме Кожевникова на Невском проспекте, близ Владимирской. Как притих тогда этот человек!

> «Он слушал, неподвижно, притаив дыхание, приложив почти ухо к моим губам, сидя близь меня на маленьком диване, в углу кабинета. Когда дошло до взаимных признаний Веры и бабушки, он заметил, что „это хоть бы в роман Гете“».

В каком восторге он был тогда, видно даже из того, как

подробно он все запомнил, чтобы перенести в свое. «Дворянское гнездо».

> «У меня бабушка, у него тетка, две сестры, племянницы, Лаврецкий, схожий характером с Райским, также беседует по ночам с другом юношества, как Райский с Козловым, свидания в саду и прочее. Разумеется, я не мог передать на словах, например, ему всей изменчивой, нервной, художнической натуры Райского — и у него вышел из него то Лаврецкий, то Паншин. Он не забыл и фигуры немца — истинного артиста. У меня бабушка достает старую книгу — и у него старая книга на сцене. Словом, он снял слепок со всего романа…»

Иван Александрович так и сказал Тургеневу, едва только закончилось чтение «Дворянского гнезда» и слушатели разошлись. Это было уже в пятьдесят восьмом году. Тургенев явился в Петербург с новой рукописью и всех пригласил на обед — Некрасова, Панаева, Боткина, Анненкова и графа Льва Толстого, помнится, позвал, — а Ивану Александровичу про обед ни слова. Что же, он пришел без приглашения, после обеда, выслушал чтение Анненкова и, оставшись с Тургеневым наедине, так и отрезал: «Прослушанная мною повесть есть не что иное, как слепок с моего романа».

> «Как он побелел мгновенно, как клоун в цирке, как заметался, засюсюкал: „Как, что, что вы говорите: неправда, нет! Я брошу в печку“».

— Нет, не бросайте, — гордо ответил Иван Александрович, — я вам отдал это — я еще могу что-нибудь сделать. У меня много!

Тем и кончилось тогда, хотя Тургенев и пытался еще оправдываться, даже написал письмо, в котором очень ловко доказывал, что повесть — самостоятельное произведение; посторонний человек, чего доброго, и поверил бы. Но Иван Александрович что знал — то знал и держался величественно и сухо. Между тем «Дворянское гнездо» вышло в свет; в журналах и гостиных только и говорили что о нем; и каждая похвала жгла обидой сердце Ивана Александровича. Его намеков никто не понимал, — один Дудышкин, сидя за чайным столом у Майковых, подмигивал, как посвященный в тайну, да ведь Дудышкина хлебом не корми, а дай стравить литературных людей между собою. Но он по крайней мере хоть знал Тургеневу настоящую цену, а остальные только что на руках не носили «бархатного

плута» — вон какую овацию сделали на вечере Литературного фонда: как будто он и есть первый писатель. Иван Александрович предчувствовал, что Тургенев не замедлит развить свой успех. Он уже постиг замысел этого хитреца: мало-помалу вытаскать все содержание из «Художника».

> «Когда-то еще я соберусь оканчивать роман, а он уже опередит меня, и тогда выйдет так, что не он, а я, так сказать, иду по его следам, подражаю ему! Так все и произошло, и так происходит до сих пор! Интрига, как обширная сеть, раскинулась далеко и надолго».

Еще летом, в Мариенбаде, Иван Александрович заметил, что находится под наблюдением. Какие-то личности сновали по коридору отеля, и не было сомнений, что стоило ему выйти на прогулку (а они нарочно подстраивали разные встречи и разговоры, чтобы он отсутствовал подольше) — и они проникали в его комнату и читали, а то и списывали черновики.

И теперь, в Петербурге, происходило то же самое. Иван Александрович держал рукописи под замком и не позволял слуге отлучаться из дому, но это не спасало. Люди, в которых на первый взгляд никак нельзя было заподозрить подручных Тургенева, пользовались всяким случаем завести с Иваном Александровичем литературный разговор, а потом прощались и уходили, чтобы записать его слова («и мне случалось, пойдя осторожно за ними в след, ловить их»). Мало того, — следили и на улицах: эти люди употребляли такой маневр, будто им и дела нет до Ивана Александровича, но стоило ему обернуться — и он всегда узнавал того, кто следит. И вот — всеми этими средствами Тургенев добился своего: напечатал-таки новую повесть. Думать об этом было невыносимо.

29 марта профессор А. В. Никитенко записал в дневник:

> «Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, Гончаров грубо и злобно сказал ему: „Скажите Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги“ (Тургенев получил за свою повесть от „Русского вестника“ 4000 рублей). Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее; но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Разумеется, это должно было в последнем переполнить меру терпения. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц; в противном случае

угрожал ему дуэлью…»

Ай, какое неприятное и неловкое получилось объяснение! Тургенев пришел с Анненковым, Дружининым и Дудышкиным, а Гончаров пригласил в свидетели Никитенко. Тургенев был очень бледен сначала, а Гончаров красен. Тургенев ясно и просто изложил весь ход дела, на что Гончаров, по словам Никитенко, «отвечал как-то смутно и неудовлетворительно». Иван Александрович вооружился программой своего романа — ветхой рукописью, извлеченной из особой шкатулки, — а Дружинин и Анненков снисходительно доказывали ему, что случайные совпадения, если даже они имеются, ничего не значат, что они скорее неизбежны в произведениях двух таких крупных художников, раз уж оба изображают современную русскую жизнь. «А знаете что, Иван Александрович, — сказал вдруг Тургенев, — ведь вы не читали „Накануне“!» Гончаров хмуро сознался, что это правда, что он судит о повести со слов самого Тургенева, который рассказывал ему этот сюжет в прошлом году. «А вы прочтите, непременно прочтите!» — требовал Тургенев. Спор потерял всякий смысл.

> «Самое важное, чего мы боялись, — говорит Никитенко, — это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки, впрочем, по его собственному признанию, неделикатной и грубой, а Дудышкин выразил, что он не был уполномочен сказавшим их передать их Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими…»

Когда с этим вопросом было покончено, Тургенев поднялся и, теребя перчатку, дрожащим голосом объявил, что с этого дня дружеские отношения между ним и Гончаровым прекращаются. Иван Александрович молчал:

> «Я молчал перед этой беззастенчивостью, видя, что я потерял всякую возможность обличить правду, — и пожалел опять, что не бросил сразу все».

Тургенев с друзьями отправился в ресторан и остроумно потешался за обедом над этой новой повестью о том, как поссорился Иван Александрович с Иваном Сергеевичем, но на сердце у него скребли кошки, и рука с бокалом дрожала еще

сильней, чем писклявый голос. Не везло ему с «Накануне». Если бы все обошлось только стычкой с этим маниаком, с этим обезумевшим чиновником цензуры! Но со дня на день должен был выйти очередной нумер «Современника», а в нем — статья Добролюбова о «Накануне». Вот кого ненавидел Иван Сергеевич — мальчишку с лицом протестантского пастора и корявыми ухватками бурсака! Статья была чудовищна. Мало того, что, как предупреждал по-приятельски цензор Бекетов, дерзкие выходки Добролюбова против правительства могли привлечь и к автору «Накануне» нежелательное внимание. Это бы еще куда ни шло. Но издевательски объявить на всю Россию, что «талант господина Тургенева не из титанических», что на протяжении двадцати лет он варьирует в своих произведениях один и тот же характер, одну и ту же мысль и обязан своим успехом главным образом чутью, с которым отзывается на злобу дня и подновляет в духе самых современных и прогрессивных идей «некоторую пошлость» мотива! С каким ядом все это было написано! С какой неуловимой насмешкой восхищался безнравственный семинарист «господином Тургеневым — певцом чистой идеальной женской любви», тут же добавляя, что талант господина Тургенева всегда был силен этой стороною, «и в этом, конечно, заключается существенное значение» его повестей для общества. После этого стоило ли удивляться тому, что «Накануне» оценивалась мимоходом, как вещь, которая производит «слабое, даже отчасти неблагоприятное впечатление»; дескать, исписался Тургенев, не совладать ему с деятельными характерами, не по зубам Инсаровы поклоннику «лишних людей» — персонажей, «до тонкости изученных и живо прочувствованных автором». То ли дело — Гончаров с его «Обломовым». А сколько было рассыпано в статье двусмысленных политических намеков, самый зловещий из которых — в самом конце:

> «Во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..»

Статья так и называлась в рукописи: «Когда же придет настоящий день?». Этого Бекетов, конечно, не допустит. Но что бы он там ни вычеркнул, обидный смысл впрыснут в текст до того глубоко, что ежели только Некрасов осмелится напечатать — нет, этого мало — ежели он раз навсегда не откажется от услуг господина Добролюбова, то Иван Сергеевич порывает с «Современником» навеки. Довольно он терпел эти плебейские шуточки и якобинские фокусы. Слуга покорный! Он так и заявил Некрасову, когда тот привез добролюбовскую статью — этакая дружеская любезность, — предлагая выбросить неприятные

места. Иван Сергеевич, конечно, подчеркнул красным карандашом все змеиные укусы, — и что же? Во второй корректуре все осталось почти как было, только начало другое. Больше уже Иван Сергеевич с Некрасовым разговаривать не стал, а написал ему четыре слова: «Выбирай — я или Добролюбов». С тех пор прошел почти месяц, от Некрасова — ни слова, март на исходе, а третьей книжки «Современника» — нет и нет…

Редакция «Современника» была охвачена смятением. Во-первых, потому что Добролюбов тяжко захворал и доктора заявили, что в петербургском климате он долго не протянет. Во-вторых, потому что Панаев встретил в театре начальника штаба корпуса жандармов — Тимашева, и тот отечески посоветовал Ивану Ивановичу «очистить свой журнал от таких сотрудников, как Добролюбов и Чернышевский, и всей их шайки». Стало быть, следовало немедля отправить Добролюбова за границу — лучше всего в Италию. Некрасов взялся хлопотать о заграничном паспорте. Чернышевский опять, как в былые времена, принялся редактировать отдел библиографии. (Между прочим, Добролюбов рекомендовал ему для этого отдела юного автора с философским образованием и оригинальным складом ума — некоего Антоновича.) Куча корректур на столе у Панаева выросла вдвое.

Некрасов был мрачен, Панаева плакала, и Чернышевский трубно сморкался в свой огромный платок. Один Добролюбов делал вид, что нисколько не унывает, и сочинял смешной отчет о диспуте, на котором успел побывать еще до того, как слег, 19 марта: диспуте Костомарова с Погодиным в актовом зале университета.

— Яблоку негде было упасть, — жаловался он Панаевой. — Студенты, дамы из общества, литераторы… Как подумаешь, до чего же необходимо нашей образованной публике знать доподлинно, кто таков был Рюрик — норманн или литовец, и откуда он привел свою дружину — из Скандинавии или с берегов Немана! Вот уж действительно — более важных забот у нас нет. Несчастная страна, право! Молодежь хлопает Костомарову с таким ожесточением, точно он не замшелую теорию норманнскую опровергает, а прямо всю российскую неправду изобличил. Крик, шум, противники раскланиваются, важно улыбаясь, — ну точь-в-точь как в гейневской балладе, которую — помните? — читал Михайлов. Вот я их обласкаю в «Свистке»!

Авдотья Яковлевна через силу усмехалась и поила его с ложечки бульоном.

Нева разошлась пятого апреля, на Святой неделе было уже совершенно сухо. Вслед за несколькими теплыми днями была

гроза, и снова стало холодно. В двадцатых числах пошел по Неве ладожский лед.

> «Приготовления к цветочной выставке уже начались, — писал Панаев в фельетоне „Современника“. — Она скоро откроется, по обыкновению, в экзерциргаузе Зимнего дворца… Гулянья в Летнем саду начались после святой недели. На Мариинской площади между Исаакиевским собором и памятником Николая I устраивается сквер. Говорят, он украсится фонтанами, если петербургские водопроводы откроют когда-нибудь свои действия».

В эти-то дни, в половине апреля, из лечебницы доктора Штейна сбежал пациент, совсем еще молодой человек, страдавший dementia melanholica. Больничные служители явились в дом, где он укрылся, но хозяин дома, отставной адмирал, не выдал им беглеца, который, весь дрожа, уверял, что в больнице его мучают, хотя он совершенно здоров, и что он наложит на себя руки, если снова попадет туда. С одобрения университетского начальства адмирал отвез юношу к родителям, в Тульскую губернию. Так Дмитрий Писарев опять возвратился домой.

Глава седьмая
1860. МАЙ — ДЕКАБРЬ

«Я оправился от тяжелой душевной болезни, и, собравшись с новыми силами, снова принимаюсь за те работы, от которых, полгода тому назад, был принужден отказаться. Полгода в молодых летах много значат; в полгода много прибавляется росту и в физическом, и в умственном отношении; платье, которое полгода тому назад было как раз впору, делается коротким, узким, жмет и теснит развившиеся члены; идеи, которые полгода тому назад казались новыми, смелыми, чуть не гениальными, теперь кажутся обыкновенными; что тогда казалось обыкновенным, то теперь уж сделалось плоским; что тогда вполне удовлетворяло критическим требованиям, в том теперь обнаружились недостатки и пятна, которые, как известно, есть везде, даже и на солнце».

Статья выходила огромной, и мысль металась в ней, как жук-плавунец по зеркалу реки, чертя зигзаги, рассекаемые кругами. Здесь было все — обзор собственной литературной деятельности в «Рассвете», личные признания, рассуждения о родах и жанрах словесности, экскурсы в историю Украины, замечания о крепостном праве, полемика с какими-то безымянными социалистами о том, что такое национальный характер, даже упоминание о дяде Александре Ивановиче — знаменитом некогда водевилисте. И все это были «Мысли по поводу сочинений Марка Вовчка», — так статья и называлась.

Но о рассказах Маши Маркович в ней говорилось мало. Героем статьи был ее автор, Дмитрий Писарев, — человек, выдержавший трудное испытание и оглядывающий жизнь с новой высоты. Этот человек наслаждался достигнутым вновь душевным спокойствием и спешил поделиться тайной, которую ему только что посчастливилось разгадать. Дело в том, что он знал теперь, в чем состоит цель жизни:

> «В возможно-всестороннем и полном развитии всех способностей души, всех сторон человеческого существа, и в тесно связанном с этим процессом развития, полном и гармоническом наслаждении всеми благами жизни: собою, природою, окружающими людьми, наукою, искусством, словом, жизнью, в самом обширном и благородном смысле этого прекрасного и

многозначительного слова».

Теория эгоизма освобождалась от ожесточения. Конечно, самодовольство — чувство особенно приятное, и каждый честный и развитой человек должен дорожить собственным уважением несравненно больше, нежели уважением других людей, даже самых близких. Но зачем же отвергать их привязанность или отказываться от любви к ним? Важно только помнить, что любовь никогда не должна становиться кумиром, исключительною целью жизни; и смешны те, «кто полагает, что любовь должна быть непременно связана с самоотвержением, с жертвами, с забвением собственной личности для личности другого». Главное — избегать крайностей, односторонних увлечений, и тогда, развивая свои способности и поддерживая их равновесие, вы непременно будете счастливы — если сумеете воспользоваться обстоятельствами.

До чего кстати вынырнул из памяти Гайм — та самая книга, над которой Писарев так изнывал когда-то в Публичной библиотеке! Оказалось, что в биографии Вильгельма Гумбольдта находится самый живой пример человеческого счастья. А ведь счастье едва ли не совпадает с целью существования.

> «Ему 20 лет, он силен, здоров, горизонт его мысли необъятно широк, он живет в собственном поместье и окружен всеми удобствами комфорта, всеми признаками довольства; он находится в дружеских отношениях со всею умственною аристократиею Германии; возле него сидит нежно любимая жена его, прелестная, умная, прекрасно образованная молодая женщина, любящая его сознательно и в то же время безгранично; он окружен любимыми своими занятиями и делит их со своею Каролиною, читая вместе с нею в подлиннике Овидия, Пиндара, Эсхила, Гомера. Вот это жизнь, вот это семейное счастье, какое дай Бог и мне, и вам, читательницы, и всякому человеку, способному оценить его по достоинству!»

Писареву тоже было двадцать лет, и этот идеал казался как никогда близок к осуществлению. В Грунце его ласкали и баловали так, словно прошлого лета никто не помнил; литературная слава ждала его в Петербурге — стоило только послать в «Рассвет» эту статью, для верности застраховав ее рублей на двести. Денег — сколько угодно — можно заработать переводами. Ученая карьера — впрочем, бог с ней, с ученостью, но тема, объявленная Стасюлевичем, — «Аполлоний Тианский и

его бремя» — нетрудная; ежели сметать на живую нитку сведения из источников да разных специальных трудов, получится работа не хуже, чем о Гумбольдте, — а та ведь напечатана. Отчего бы и этой не получить похвальный отзыв — для звания кандидата вполне достаточно, — а там, глядишь, и ее удастся поместить в каком-нибудь журнале.

Одним словом, ни облачка не было над головой, ни морщинки на поверхности души. Для счастья не хватало только прелестной, умной, прекрасно образованной молодой женщины, — но maman сама просила ее приехать, и Раиса твердо обещала. Больше того — она теперь в глазах целого света Митина невеста, это решено, и все препятствия отпали, а Гарднер ей всего лишь приятель, она и не думала в него влюбляться, даже говорит, что это недоразумение.

Правда, приезд свой Раиса все откладывала по каким-то там домашним обстоятельствам, но она и сама досадовала на проволочки, письма ее были веселые и сердечные, так что время в ожидании текло хоть и медленно, а все же не мучительно. Митя ездил верхом, купался, лакомился земляникой со сливками, за обедом степенно беседовал с отцом о резне в Дамаске и о войне Испании против Марокко, а после ужина слушал, как дядя Сергей Иванович читает свой перевод старинного английского романа, или — в очередь с Верой и Катей — переписывал стихи из различных журналов в нарочно для этого купленный альбом с золоченым тиснением на обложке.

Этим летом он много читал стихов — и сам сочинял: впервые в жизни взялся за стихотворные переводы. Начал с того, что вызвался помочь Сергею Ивановичу, который все еще бился над «Мессиадой». Митя в какой-нибудь месяц перевел целую песнь — три тысячи стихов, и получилось, по общему мнению домашних, недурно.

Тогда он осмелел и взялся за Гейне, хотя тут надо было рифмовать. Он обходил стороною те вещи, в которых поэт, умерший так недавно и так тяжело, похвалялся своими горестями и тоской, и дразнил читателя непочтительными жестами и паясничал для того, чтобы все увидели, насколько ему не до смеха. Полгода назад Писарева, быть может, восхитили бы эти гримасы безумной гордости, — но сейчас ему было хорошо, и он предпочитал волшебные, торжественные баллады и нежную лирику из «Книги песен».

Стихи получались, правду сказать, несколько деревянные, на первых порах даже с ошибками против размера и грамматики, но дело быстро пошло на лад, и к концу июня среди сотен готовых переводов имелся даже один своего рода шедевр. Само собой

разумеется, что над ним красовалась надпись: «Посвящается Р. А. Кореневой».

Отраженная луна
На волнах морских дрожит,
Но спокойна и бледна
На небе она горит.
Так спокойна и бледна
Милая моя стоит,
Но в груди моей она
Отраженная дрожит.

И она приехала!

> «Наконец я живу полной жизнью, вижу всех, к кому наиболее расположен, и дышу так весело, так свободно, что страшно становится за свое счастье».

Она приехала и прожила в Грунце весь июль и август, и Мите этим летом жилось так светло, точно его никогда и не увозили в Петербург, в гимназию, точно и не было того зимнего дня и прошлой осени тоже, а университет и больница ему приснились на садовой скамье, но вот он очнулся в ужасе и слезах, — а Раиса тут и говорит, что никуда не уходила.

Она выговаривала ему — как мог он до такой степени отчаяться и поверить взрослым, что она его забыла, как он смел заболеть. Он оправдывался, подробно разбирая ход своей болезни: тут ведь было не одно отчаянье, а целый строй новых мыслей. Она рассказывала, как скучала в Истленеве — и хоть бы письмо (так, значит, их перехватывали, — ай да дяденька!), а Митя, стараясь ее рассмешить, в лицах изображал пациентов доктора Штейна. Она привезла с собою июньскую книжку «Русского вестника», и там была ее повесть, да, да, Р. Коренева тоже теперь пишет в журналах, и другому таланту нашей семьи, Марку Вовчку, придется спустить перед нею знамя. Митя прочел домашним эту повесть — «Пустушково» — дважды, восторгался каждой сценой, растолковывал сестрам прелесть и новизну сюжета и горько обижался на родителей и Сергея Ивановича за то, что те поддакивали без воодушевления.

В Пустушкове всякий мог узнать Грунец, а в искренней и решительной героине повести Лизе — Раизу. Был там и некий мальчик, Саша, Лизин сводный брат, — хороший, добрый, чувствительный мальчик, но неженка, бесхарактерный, совсем еще ребенок, несмотря на свои шестнадцать, что ли, лет.

И вот родители этого Саши нанимают для него домашнего учителя — московского студента Рагодина, и бедный студент влюбляется в сестру своего ученика. После двух-трех чувствительных сцен в Пустушкове и в Москве, где Лиза томится в светских гостиных, герои решают пожениться, смело признаются в этом Лизиному отцу и рука об руку устремляются вдвоем навстречу будущему. Финал казался Мите особенно грациозным:

> «А карета катилась все далее и далее, унося далеко от Пустушкова вполне счастливых людей. Но что встретит этих людей за отдаленным горизонтом, куда так быстро мчат их добрые кони? Найдут ли они в свете приют и радушие? Гордые собственными силами и взаимною любовью, они покуда так поглощены друг другом, что все остальное кажется им совершенно чуждым».

Варвара Дмитриевна втихомолку полагала, что тут не обошлось без ее невозможного братца. Он, Андрей Дмитриевич, этот самый Рагодин и есть, только представлен лет на пятнадцать моложе. Он и повесть устроил в «Русский вестник». Мало ему, что поссорил сына с родителями, еще и молодой девице вскружил голову неприличными бреднями. Не зря Варвара Дмитриевна отказала ему от дома.

Но Митя узнал в Рагодине себя и торжественно заявил, что будет пользоваться этой фамилией как псевдонимом.

Наконец-то мечта его исполнилась: он мог работать подле Раисы, в одной комнате с нею. По утрам он садился переводить гейневского «Атта Тролля», а она приходила к нему сочинять новую повесть. Больше ему нечего было желать. Как ласков был он теперь с матерью, как внимателен к Вере, как весел с Катей, как почтителен с отцом! Будущее не беспокоило его нисколько, и то, что Кремпин ни словом не отзывается на посланную ему статью, а Леонид Майков не присылает книг, необходимых для диссертации, и вообще письма из Петербурга прекратились, даже от Трескина ни строчки, — все это были пустяки. Он тоже никому не писал с тех пор, как приехала Раиса.

Но вот она сама стала выказывать нетерпение и упрекать его за благодушную беспечность — а ведь диссертацию надо представить к Новому году, — и, опустив голову, он увидел вдруг, что аллея почти сплошь устлана свинцовой листвой, из-под которой сырой песок выглядывает разводами. Сентябрь снова наступил.

О, конечно, расстались не тотчас. Еще съездили в Хмырово —

имение Раисиного батюшки; еще пожили в Москве, в меблированных комнатах, и Петр Гарднер — он выздоровел и оказался добрейшим малым — приводил к ним в гости своих товарищей-студентов. Еще много было выпито шампанского и дано обещаний, но в конце сентября Писареву все же пришлось войти в вагон петербургского поезда и через окошко по движениям губ угадывать, что утешительного говорит ему на прощанье его невеста. Раиса оставалась в Москве — ждать, пока он закончит университет и, обеспечив себе прочное положение, вернется за нею. Но Писарев твердо решил, что увидится с нею раньше, что с нею вместе в Москве встретит Новый год.

К Трескиным он не поехал. В этой семье видели его болезнь и унижение, весною с ним обращались так, будто он с цепи сорвался, и всячески старались уберечь от него обожаемого Коленьку. Писарев предпочел остановиться у дальнего и малознакомого родственника по фамилии Алеев. Едва отдохнув с дороги, отправился в гости к Майкову, хотя, по правде говоря, ни с кем из бывших товарищей видеться не хотелось. У Леонида сидел Скабичевский. Писарева они встретили радостно, с шутливыми восклицаниями, но расспрашивали его осторожно и о себе рассказывали с какой-то нарочитой скромностью, стараясь не задеть его самолюбия тем, что он все еще студент, а они… Майков вышел кандидатом и оставлен был при университете. Скабичевскому, тому действительно хвастать было нечем: грошовые уроки да десятирублевое жалованье в канцелярии генерал-губернатора; пьесу написал — забраковала театральная цензура; словом, совсем бы плохо пришлось, кабы не Кремпин с его журнальчиком…

— Ах, вот что! Стало быть, ты теперь пишешь в «Рассвете»?

— А разве ты не знал? Пишу, брат, — от случая к случаю. Вот недавно статейку тиснул — о «Накануне» тургеневском. Небольшая такая статейка, — с несчастным лицом бормотал Скабичевский.

— Кстати, — перебил Майков, — говорят, что Тургенев порвал с «Современником», а за ним Григорович и граф Лев Толстой. Вот, я думаю, удар для Некрасова! Теперь подписка непременно упадет. А тут еще Герцен в «Колоколе» на его счет так оскорбительно прошелся…

Потом говорили о том, как похорошел Петербург: нет больше на улицах полосатых будок — да уж, во второй половине девятнадцатого века будочники с алебардами чистейший анахронизм, — а на Невском фонари теперь газовые… Потом Скабичевский ушел — его ждали где-то еще, — и Майков, принуждая себя глядеть Писареву прямо в глаза, стал объяснять,

что переводы из Гейне, присланные летом, не удалось пристроить нигде, хотя они вовсе не так уж плохи. Он говорил участливо и тихо, а Писарев назло ему громко смеялся и уверял, что это все равно, что переводил единственно для пробы пера; деньги, правда, нужны, но он знает более верные и почтенные способы их заработать. Расстались холодно.

На следующее утро Писарев пошел к Кремпину. Этот разговор с самого начала сложился неудачно. Писарев спросил о судьбе своей статьи. Кремпин молча подал ему рукопись. Писарев, закипая, осведомился, что это значит.

— Не пошла-с, — отвечал Кремпин, — вероятно, вы изволили видеть в майской книжке «Рассвета» другую статью о том же предмете-с. Редакция не разделяет ваших восторгов. Пускай господин — Бов в «Современнике» превозносит Марка Вовчка. Неумеренные похвалы губительны для молодого и, смею сказать, невоспитанного дарованья. Сверх того, и объем вашей рукописи…

— Все это очень хорошо, но разве не могли вы удосужиться известить меня об этом? Я дал бы статью в другой журнал. Ведь это же мой заработок, мой хлеб, мне деньги, наконец, нужны!

— Почтеннейший мой Дмитрий Иванович! Вы сами были и, надеюсь, будете впредь сотрудником «Рассвета». Как же вы запамятовали, что у нас нерушимое правило: авторы, желающие получить назад свои статьи, благоволят явиться за ними лично. При этом ни в какие — ни в какие, заметьте это! — объяснения редакция не вступает. Так и на обложке напечатано.

— Признайтесь лучше, что денег пожалели на пересылку.

— Разрешите заметить вам, Дмитрий Иванович, что говорить таким образом с человеком вдвое старше вас — неприлично. Вероятно, этот тон надо приписать влиянию болезни, следы коей, к сожалению, слишком очевидны в вашей, с позволения сказать, статье. Надеюсь, мы еще побеседуем, когда вы будете в более спокойном состоянии духа…

— Не надейтесь.

Спускаясь по лестнице, Писарев услышал шум дождя. Брызги разлетались по стеклу большого окна на площадке между маршами. Он присел на подоконник и принялся листать свою рукопись, разрисованную, будто тетрадь неуспешного гимназиста, красным карандашом. Странно: текст, сочинявшийся с таким одушевлением, теперь точно выдохся; он не узнавал своих фраз; читать их было утомительно и неловко. Он свернул рукопись в трубку и перевязал платком.

Плохо дело, думал он. Шел за авансом, а нарвался на отставку. Не стоило дерзить, а впрочем, сказанного не воротишь. Статью в таком виде нигде не возьмут, переделывать некогда.

Переводы из Гейне, Майков говорит, пустой номер. Денег осталось семнадцать рублей. Просить у родственников еще противней, чем обращаться к господам бывшим однокурсникам, и от Алеева надо съезжать.

Он вдруг понял, что оказался в чужом огромном городе один, без денег и друзей. Все его планы разлетелись за одни сутки в дым. Теперь мечты о славе приходилось отставить. Если бы хоть удалось обеспечить себя с денежной стороны на время писания диссертации! Но чтобы дожить спокойно до Нового года, требовалось рублей сто, не меньше. Правда, был еще перевод «Атта Тролля», но что с ним делать, кому продать? На Майкова надежда плоха. Только и остается — самому походить по редакциям.

Дождь немного унялся, и Писарев, старательно обходя лужи, побрел в университет.

Здесь в какие-нибудь полчаса обстоятельства обернулись по-иному, и он приободрился. Во-первых, ему были рады и встретили сердечно. Видно, он за время отсутствия превратился в какую-то достопримечательность. Полузнакомые студенты кланялись ему, а знакомые даже обнимали, и дамы — почему-то по коридору прогуливались нарядные дамы — посматривали не без любопытства: кто это, дескать, пользуется такой любовью среди товарищей.

Во-вторых, стоило заикнуться о затруднении с жильем, как Владимир Жуковский с юридического, добродушный весельчак и франт, с которым Писарев еще прошлой весной пил брудершафт, объявил, что в квартире, снимаемой им с товарищами, как раз освободилась комната.

— Это в Седьмой линии, между Большим и Средним, отсюда рукой подать! — кричал Жуковский. — Хозяйка держит кухмистерскую. Когда и пообедать можно в долг. Мазановские номера — это тебе не какие-нибудь дрянные шамбр-гарни. Население — сплошь свои, университетские, и живем мы там преотлично. Комната в шесть рублей серебром, светлая, — чего тебе еще? Переезжай, брат, сегодня же, и новоселье справим.

А в-третьих, когда в коридоре появился швейцар с колокольчиком и студенты разошлись по аудиториям, Писарев у дверей библиотеки встретил Всеволода Крестовского. За четыре года они едва ли обменялись четырьмя фразами — только издали раскланивались. Крестовский вообще держался с однокурсниками надменно. А тут вдруг подошел и стал участливо расспрашивать о литературных делах, и Писарев рассказал ему про свои неудачи.

— Видите ли, Писарев, — подумав, сказал Крестовский, — я мог бы вам помочь в редакции «Времени». Это новый журнал,

братья Достоевские начнут издавать его с января. Младший Достоевский со мною хорош. Но вряд ли он возьмет гейневскую поэму. Давайте лучше сделаем так. Вы не знакомы с Яковом Петровичем Полонским? Я вас представлю ему. Он хоть и отстранен от «Русского слова», но Благосветлов с ним считается. Ежели ваш перевод Якову Петровичу понравится, много шансов за то, что он будет напечатан. Приходите ко мне сегодня вечером.

Так все устроилось.

В тот же вечер Писарев побывал у Полонского, и добрейший Яков Петрович, простодушный лирик, безжалостно ограбленный судьбой — за один только последний год он сделался калекой, вдовцом и потерял маленького сына, — Яков Петрович до слез был растроган историей молодого человека, который весною чуть не лишился рассудка из-за несчастной любви, а теперь так умно толкует о Гейне и так сведущ в языках. Полонский горячо обещал пристроить «Атта Тролля» и просил оставить рукопись. На следующее утро, пока Писарев перевозил саквояж и картонку с книгами в номера кухмистерши Мазановой, Яков Петрович отослал рукопись Благосветлову при записке, в которой умолял отнестись к новому автору повнимательней и говорить с ним поласковей.

Григорий Евлампиевич отвечал немедленно и без восторга. «Приму, усажу и поговорю, — соглашался он, — а перевод позвольте передать Вам для прочтения… хороший перевод стоит напечатать; дурняшку — лучше возвратить».

Не до юных дарований было Григорию Евлампиевичу. На днях какой-то негодяй довел до сведения самого государя неосторожную фразу из его статьи о Белинском: «Он первый заявил, что Гоголь изменил знамени, растоптал свою собственную славу, из рабской готовности покурить через край царю земному и небесному». Ну и конечно, земной царь вступился за небесного. Хорошо еще, что статья шла без подписи. Графу Кушелеву сделан был строжайший выговор, цензора Ярославцева отрешили от должности, а на его место назначили самого бдительного и свирепого тупицу, какого только сумели найти. Существование журнала опять висело на волоске, да и расходился он пока неважно. Бездельников и проходимцев, присосавшихся к редакции, разогнать удалось почти всех, но физиономия «Русского слова» оставалась, на взгляд читателей, почти без выраженья. Необходимо было хлесткое и честное перо, нужен был критик из молодых, способный потягаться с Добролюбовым. Но где такого найдешь, ежели нынешние молодые люди предпочитают баловаться стишками?

Понятно, что когда начинающий переводчик, протеже

Полонского, явился в редакцию «Русского слова», Григорий Евлампиевич встретил его хмуро.

— Думаю, вам уже известно, господин Писарев, что Яков Петрович нашел ваш перевод превосходным. Я совершенно полагаюсь на его отзыв, тем более что занятия по редакции не оставляют мне времени для чтения стихов. Поэму Гейне я смогу опубликовать не ранее как в конце этого года. Вознаграждение вы получите по выходе ее в свет. Предупреждаю, много платить не имею возможности. Если нужен небольшой аванс — извольте.

Он проговорил все это отрывисто и скоро, стоя за конторкой с пером в руке, недружелюбно уставившись молодому человеку в глаза.

Но Писарев не смутился. Он знал уже от Полонского, что Благосветлов — человек тяжелый, и заранее решил, что не позволит третировать себя как новичка.

— В настоящее время литературный труд — единственное, что доставляет мне средства к жизни, господин Благосветлов, — вежливо, но твердо сказал он, не отводя взгляда. — И потому как хотите, а дешевле, чем за обыкновенную плату — двадцать пять копеек серебром строчка, — уступить вам поэму Гейне я не смогу. — И улыбнулся с веселым, как он полагал, и независимым видом.

С полминуты молча изучал Григорий Евлампиевич этого птенца с таким звонким голоском и такой бойкой речью. И птенец ему понравился. Очень опрятен, и глаза умные, и держится джентльменом, а у самого сердчишко небось трепещет. Хороший мальчик. Жаль, что поэт. А ведь не похож на поэта.

— Литературный труд, — протянул Благосветлов и покачал головой. — Вот скажите-ка мне, господин Писарев, отчего это мы бросились на Гейне? В редакции добрых четыре дюжины стихотворений, и все из Гейне. Что за притча?

— Вы находите это удивительным? Гейне последний из великих поэтов Европы, ближайший к нам по времени, по складу мысли и по образам. Его юмор и его пафос помогают новому поколению осознать права человеческой личности. Другое дело, что Гейне непереводим…

— Стало быть, сами признаете это?

— Еще бы! Гейне перевести нельзя. Он остается сам по себе, а стихотворение, навеянное им, само по себе. Оно может быть хорошо или дурно, смотря по тому, кто его написал. Но во всяком случае это не перевод.

— И все же вы беретесь…

— И все же познакомить русскую публику с идеями Гейне необходимо.

— А не кажется ли вам… Да что же мы стоим? Прошу без церемоний, Дмитрий — как вас по батюшке? — так вот, не кажется ли вам, Дмитрий Иванович, что идеи эти удобнее передать в дельной критической статье, чем в посредственном переводе? Я не про «Атта Тролля», разумеется, говорю. Но, право же, досадно делается, когда человек ваших лет и с вашим образованием тратит свой талант на подыскиванье рифмы, чтобы изготовить заведомо неверную копию с чужой, пусть даже гениальной вещи! Извините меня, я привык говорить как думаю, вилять не научился. Разве не совестно заниматься пустяками, когда Россия изнывает без честных и свежих сил, когда государственные подлецы тщатся свернуть паруса великих реформ? Нам критика нужна, милостивый государь, здоровая и всесокрушающая критика, а не поэмки! Вы толковали о заработке? Пишите критику — вот вам и заработок. Но такую, чтобы никого не жалеть и не бояться! Сколько напишете — столько и напечатаю.

Когда Благосветлов увлекался, — а он умел говорить без оглядки и ценил в себе эту способность: волноваться и внушать свое волненье слушателям, — фельдфебельские усы его топорщились, налитые кровью глаза смотрели сквозь собеседника, неуклюжими жестами он месил перед собой воздух — и все это почему-то шло к его высокопарной речи. Грубое, самоуверенное лицо и сварливый голос делали его искренность неотразимой. Не зря лучшие воспитанники Дворянского полка чуть не молились на него — зато худшие дразнили Гришкой-ламповщиком.

Неожиданный поворот разговора спрямлял Писареву дорогу, точно во сне. Вчера еще он полагал свою карьеру разбитой, а сегодня редактор толстого журнала, угадав его призвание, сам приглашал в сотрудники. Но сильнее благодарности был восторг: впервые за столько лет встретился человек, который твердо знал, что нужно Писареву делать, и брался, кажется, его учить, хвалить, бранить, вести куда-то, не боясь ответственности за его судьбу, не отворачиваясь равнодушно, как университетские профессоры. Стало так легко, словно кто-то взрослый, сильный, добрый взял его за руку в темноте.

И, глядя, как вышагивает по неуютной комнате этот прямоугольный, яростный крепыш, одетый с таким вульгарным щегольством — особенно забавен был пестрый галстучек, — Писарев почувствовал, что готов пойти за ним куда угодно, хоть на баррикады.

Они разговаривали часа два и порешили на том, что до Нового года Писарев будет заниматься только Аполлонием

Тианским, стараясь, однако, обработать тему изящно и живо, чтобы диссертацию можно было напечатать в журнале. А между делом он изготовит рецензию на сборник переводных стихотворений и прочитает несколько книг, купленных Благосветловым в Англии, начав с «Истории цивилизации» Бокля. И, конечно, Григорий Евлампиевич выдал ему аванс. И просил обращаться к нему при любом затруднении.

Вечером Писарев в мазановских номерах задал пир своим новым сожителям. Их было десять человек: четверо — с юридического, четверо — с естественного факультета, один уже окончил университет, еще один только готовился поступать. Каждый жил в своей комнате, но утром и вечером все сходились к самовару в большую переднюю, служившую общей гостиной. Здесь и бражничали — за шатким круглым столом.

Новые товарищи в большинстве были ровесники Писареву, однако он, оттого что остался на второй год, чувствовал себя неловко, словно был старше всех, да и они поначалу стеснялись его. Но этот вечер все исправил. Пили мадеру и редерер, бранили начальство и полицию, говорили о барышнях и о профессорах, и о растрате в студенческой кассе. Владимир Жуковский играл на гитаре, Петр Баллод показывал карточные фокусы. Писарев был говорлив и весел, целовался со всеми и пил брудершафт, громче всех предлагал отправиться куда-то в гости и прежде всех заснул, прижавшись щекой к листу «Северной пчелы», расстеленному вместо скатерти. И все простили ему, что он филолог и чистюля.

Наутро Писарев с тяжелой головой, но с легким сердцем принялся за диссертацию.

Аполлоний Тианский жил в первом веке по Р. Х., пользовался славой мудреца и врачевателя, говорил проповеди и совершал чудеса. Сохранилось его жизнеописание, составленное знаменитым софистом Филостратом Младшим; один из отцов церкви бранил это сочинение, и его отзыв тоже дошел до нового времени.

Эти греческие источники позволяли воссоздать биографию Аполлония и некоторые черты его личности и убеждений. Затем следовало, пользуясь общими работами по древней истории, обрисовать обстановку, в которой действовал герой: политические условия, экономические отношения, философские школы, нравы и быт. Все это требовалось подогнать к выводу, очевидному заранее: Римская империя к первому веку насквозь прогнила, языческая религия пришла в упадок, и никакой Аполлоний Тианский, сколь бы ни был он добродетелен, не мог вернуть своим современникам утраченной веры.

Работа предстояла в том же роде, что над статьей о

Гумбольдте, но гораздо веселей. Там была теория, здесь — история, там — умствования, здесь — факты. Главное — тогда Писарев благоговел и перед Гумбольдтом, и перед наукой вообще, и даже перед Сухомлиновым, и это ужасно мешало: словно карабкаешься на недосягаемую, даже невидимую за облаками вершину. А теперь он был свободен и писал о древних римлянах, как Гулливер о лилипутах: слегка потешаясь над наивностью, с какой они принимали свою жизнь всерьез.

И ученые историки, все эти Целлеры и Чирнеры, смешили его своей важностью и педантизмом. Подумать только: человек тратит целую жизнь, чтобы составить гербарий фактов, и как гордится! А сведения его никому не нужны, пока не явится мыслитель вроде Бокля, с особенным взглядом на вещи…

Сам Аполлоний тоже забавлял Писарева. Этот бродячий проповедник был современником и, можно сказать, двойником Иисуса Христа. Очень любопытно было проследить, как невежественные ученики превращают жизнь учителя в легенду, как искренний мистицизм переходит в шарлатанство, как сочиняются чудеса и выдающаяся личность овладевает доверием толпы.

Работа двигалась быстро, особенно по утрам, когда соседи уходили в университет. Вечером в квартире стоял гомон: студенты пили вино, резались в стуколку, принимали женщин; дверной колокольчик не умолкал; рокотала гитара. Писарев строчил по семь страниц каждый день — как всегда, прямо набело, без помарок. В антрактах развлекался сочинением романа. Героя звали Коля, и он еще в детстве полюбил девочку по имени Маша — сироту, взятую его родителями на воспитание. Коля и Маша выросли и решили пожениться. Но деспотичная Колина мать, Вера Николаевна, сговорившись с одним богатым и знатным родственником, разлучила молодых людей на целое лето, и Коля от этого сошел с ума.

В психиатрической лечебнице Коля вел дневник — почти как гоголевский Поприщин, однако же Писарев старался, чтобы вышло веселей: читатель должен был понять, что герой не безумен, а только временно одержим ложной навязчивой идеей. И действительно — через четыре месяца Коля выздоровел, встретился с Машей и больше уже не расстанется с ней. Впрочем, финал получился какой-то неопределенный: автор не знал, чем кончить, а за продолжением надо было ехать в Москву.

Что же, деньги на это имелись: декабрьская книжка «Русского слова» с переводом «Атта Тролля» и рецензией на сборник стихотворений иностранных поэтов вот-вот должна была выйти. После визита к редактору Писарев в один присест приделал к

своей диссертации заключение, поставил на первом листе эпиграф «Еже писах, писах» и, наслаждаясь тем, что рукопись такая тяжелая и пухлая — двести сорок листов! — отнес ее в университет. Здесь он узнал, что свободен до апреля, когда начнутся выпускные экзамены. А судьба диссертации станет известна, как обычно, восьмого февраля — на акте. Таким образом, впереди было по крайней мере два месяца свободы, а в бумажнике — почти двести рублей, не говоря уже о том, что Благосветлов предлагал одолжить сколько угодно под будущие статьи. И святки на носу, Рождество, Новый год, Крещенье, а там и масленица — все праздники зимы, сплошное сверканье, а Раиса и не догадывается, что он приезжает так рано и так надолго.

Глава восьмая
1861. ЯНВАРЬ — МАЙ

> «Мама, милая, поздравляю тебя с Новым годом и прошу на меня не сердиться, а главное, не огорчаться, что я давно не писал. Не скажу, чтобы мне было некогда, не скажу, чтобы я забыл, а так, „в мягких муравах у нас“ очень весело, и дни проходят за днями, а письмо не пишется. Я думаю пробыть в Москве до 1 февраля, а там еду в Петербург…
>
> Вообще наши дела идут недурно, и живется хорошо. До некоторой степени нарушает нашу гармонию Андрей Дмитриевич; он мнителен до крайности, каждое слово считает за оскорбление и страстный охотник до объяснений, после которых сам же страдает. Но зато он топит печи, моет посуду и по крайней мере хоть этим заглаживает свою ворчливость. Я смотрю на него как на временное и необходимое зло; после моей женитьбы я постараюсь совершенно разойтись с ним».

Все же каникулы эти проходили не совсем так, как мечталось Писареву.

Начать с того, что он ехал в Москву женихом, а Раиса, представляя, его своим знакомым, неизменно говорила:

— Это мой двоюродный брат, прошу любить.

Знакомых у нее оказалось довольно много. Гарднер бывал каждый день. Иван Хрущов, студент-филолог, красавец брюнет с тугой плоеной шевелюрой, неотступно следовал за Раисой повсюду. Но этих двоих Писарев по крайней мере знал, Хрущева сам представил Раисе летом в Грунце — тот жил в нескольких верстах, в имении своего брата. И Хрущов, и Гарднер относились к Писареву сердечно и не забывали, что Раиса помолвлена, — правда, и подшучивали над этим, и Раиса злилась, но все равно это были милые люди. И о приятелях, которых они приводили с собой, обо всех этих студентах и молодых офицерах тоже нельзя было сказать ничего худого — жаль только, что Раиса им так радовалась и что остаться с ней наедине никак не удавалось. Самовар пыхтел на столе с утра до вечера, от чужих смешливых голосов некуда было деться в квартире Андрея Дмитриевича — ни дать ни взять мазановские номера. Здесь Раиса жила с ноября: в меблированных комнатах дорого, у московских тетушек скучно. Андрей Дмитриевич хоть и мучил ее признаниями в любви,

сценами ревности, слезами и даже стихами, которые он сочинял по ночам и просовывал под дверь ее комнаты, но все же не смел мешать ей жить, как хочется, и видеться с интересными людьми. Она написала новый роман — «Всякому свое», героиней которого опять была сирота с независимым и решительным характером — Лидия, и эта Лидия выходила по любви замуж за студента-медика. Но «Русский вестник» не брал этого романа, а печататься в «Развлечении», где Андрей Дмитриевич был своим человеком, Раисе не хотелось: несолидное издание, еженедельник с бульварным оттенком, и платили там гроши.

Раиса выглядела грустной, осунулась и побледнела. Она остригла косу; волосы, перехваченные за ушами темной лентой, свободно падали на плечи. Писарев не смел до них дотронуться: нежностей Раиса не терпела. Она избегала и разговоров о свадьбе, да и случая не было заговорить: все катания на тройках да прогулки гурьбой. Не при Андрее же Дмитриевиче разглагольствовать о будущем счастье.

Писарев привез ему рукопись своего романа. Дядя хвалил неистово и возмутился, услышав, что эту вещь, такую современную и художественную, Митя не только не собирается печатать, но даже намерен сжечь.

— Нет уж, извини, не позволю. Это не только твоя история. Тут мы все как живые — Раиса, я, даже твоя мамаша. Это наша жизнь, хоть и не все ты видишь в истинном свете. Не отдам рукопись! Сам напечатаю, как свою, коли она тебе не нужна.

Писарев, смеясь, согласился. Весь день Андрей Дмитриевич колдовал над рукописью — что-то вычеркивал и вписывал, а вечером объявил своим молодым друзьям, что сочинил коротенький роман и хочет прочитать его вслух.

Присутствовали, кроме Раисы и Писарева, Гарднер и Хрущов. Слушали молча, не глядя друг на друга. Хвалили скупо, обходя сюжет.

Эта деликатность приятелей и молчание Раисы больно задели Писарева. Его отождествляли с героем романа! В нем видели больного мальчика, его щадили! И он обрушился на роман с безжалостной критикой. Не ставя под сомнение фабулу, он высмеивал героя, этого Колю, который так легко теряет рассудок при первом соприкосновении с действительностью. Он говорил, что ежели молодой, здоровый, образованный человек чувствует себя несчастным — так ему и надо. Значит, у него ложный взгляд на вещи, и жалеть его нечего.

— Жизнь прекрасна, и надо наслаждаться ею, а не приставать к другим с требованиями: ах, мол, осчастливьте меня! Материала для счастья у каждого довольно, под рукой лежит, но не всякому

дано, а лишь тому, кто не подгоняет свою жизнь под выдуманные правила. А то сочинит себе человек идеал какой-нибудь недостижимый, да потом и плачется, не в силах дотянуться. Кто, спрашивается, виноват? Или возьмите ревность. Ну может ли быть что-либо глупее, унизительнее, а главное — бесполезнее, чем страдать от того, что женщина, которую вы любите, предпочла вам другого? Казалось бы, ежели она вам дорога, радоваться надо ее счастью. Как бы не так! Мы знаем из дрянных книг, из досужей болтовни в гостиных, что в таких случаях положено страдать, — ну и страдаем. Глаза сверкают, зубы скрежещут, мы плачем и сходим с ума — и действительно делаем несчастными себя и других. Колю можно извинить только его крайней молодостью. Преодолев кризис, он способен еще стать дельной личностью. Но пока что, такой, каким изображен, в герои он не годится.

Ошеломленный Андрей Дмитриевич пытался возражать — дескать, любовь не подчиняется рассудку, а идеалы бывают разные, — но тут дружно вступили и Хрущов, и Гарднер и насмешками принудили его отказаться от обскурантских мнений. Раиса так и промолчала весь вечер.

И на всем протяжении этих затянувшихся каникул мерещилась в ней Писареву какая-то необъяснимая отчужденность. Тем настойчивее он уверял Варвару Дмитриевну, что все в порядке:

> «Могу тебе поклясться, что между этими людьми у Раисы нет любовника, а если бы и был таковой, то ни ее отец, ни ты, ни я не имеем права вмешиваться в ее дела. Согласно с моими убеждениями, женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчета никому, даже своему мужу».

Он прожил в Москве почти два месяца и написал за это время всего одну пустячную рецензию. Время шло однообразно и увлекательно, как снегопад. К февралю деньги кончились. Пора было приниматься за работу. Писарев твердо решил и обещал Раисе, что за год, а то и за полгода добьется прочного, обеспеченного положения в «Русском слове». Потом свадьба, а с осени они поселятся в Петербурге — квартиру надо будет подыскать заранее. Она переводила на другое: надоела Москва, нестерпим Андрей Дмитриевич, а у Гарднера есть кузина, у кузины — имение в Тверской губернии, так не погостить ли там до лета, благо хозяйка прислала приглашение. Отчего же не погостить, поддакивал Писарев.

Уезжал он вместе с Хрущовым — у того были дела в Петербурге. На вокзал явились веселой толпой, до самого звонка дурачились, прощались уже наспех. Но все же Раиса расцеловала его — сама! — в обе щеки. В тот день — одиннадцатого февраля — пала оттепель, и стекло вагонного окна было мокрое, в толстых ледяных прожилках. Он пытался разглядеть ее лицо, когда поезд тронулся, — но ничего не было видно.

Дверь открыл Баллод — остальные обитатели мазановской квартиры ушли уже на лекции.

— Ну, Писарев! — радостно завопил он. — Ну, хорош! Его лордство прохлаждается в древней столице, а тут с собаками ищут: извольте, дескать, получить вашу медаль!

— Медаль?

— Ну да, серебряную. Золотая — Николаю Утину с третьего курса. Но как же ты не приехал на акт? Какое зрелище пропустил!

— Точно я не видал этих церемоний.

— Какие там церемонии! Студенческий протест — вот что там было. Впервые в истории императорского Санкт-Петербургского университета студенты ошикали ректора!

— Не может быть!

— Представь. Объявлена была речь Костомарова — как будто о биографии Аксакова, что ли. И вдруг после отчета ректора на кафедру вместо Костомарова поднимается Касторский! У нас теперь принято обыкновение, как в немецких университетах: в знак одобрения топаем ногами, в знак неудовольствия — шиканье. Сотни голосов хором: речь Костомарова, речь Костомарова! Начальство скрылось, один Фицтум бродит по коридору как тень. Наконец Плетнев опять появился — бледный, губы дрожат. Кое-как пролепетал, что речь Николая Ивановича на акте отменена министром, но что она будет произнесена на днях в публичном чтении, в зале Пассажа. Уговаривал разойтись. И мы разошлись. И никому ничего не было. Вот время настало — нас боятся!

Время действительно настало тревожное, полное надежд и опасений. Это в тот же день подтвердил Писареву Благосветлов. И сам Григорий Евлампиевич выглядел необычно веселым, а говорил задумчиво и чуть ли не ласково.

— Вы, любезнейший Дмитрий Иванович, словно с луны свалились. Неужто Москва-матушка и знать ничего не хочет, кроме жирных кулебяк? Вы не слышали разве, что крестьянское дело покончено? Манифест, говорят, уже готов и будет оглашен в годовщину восшествия Александра Николаевича на престол, девятнадцатого февраля. На девятьсот девяносто девятом году

своего существования Россия вступает в семью европейских государств. Двадцать миллионов рабов получат свободу! Но в каком ужасе наши Простаковы и Скотинины! Заметили — столица наводнена войсками? Масленичные балаганы убрали из Александровского сада — видели? Боятся возмущения, — стало быть, совесть-то нечиста. А честные люди опасаются другого — что эта реформа, подготовлявшаяся в такой борьбе и тайне, сойдет на полумеры и вместо немедленного освобождения крестьян с землею начнется скаредное крючкотворство. Что нас ожидает через неделю, какой поворот истории?.. И в такое время, батюшка мой, вы позволяете себе лениться. Возьмите пример с вашего товарища, господина Крестовского: работает для «Русского слова» не покладая рук.

Он заказал Писареву обзор книжек, изданных для народного чтения, и выдал аванс.

Петербург догуливал масленицу. На тридцатиградусном морозе зазывалы в белых балахонах голосили перед балаганами. В цирке блистал акробат и наездник Лиотар. Газетные юмористы с натугой острили над небывалой дороговизной дров и квартир. Все как обычно — но нетерпеливое ожидание перемен сотрясало столицу.

Что ни день какая-нибудь важная новость обсуждалась в мазановских номерах. Семнадцатого февраля появилось официальное объявление, что девятнадцатого никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу обнародовано не будет. Тут же промелькнуло в газетах, что крестьянская воля возвещена будет в дни великого поста, то есть после шестого марта.

— Страшатся разгула праздничной черни, — объяснил Баллод.

И верно — девятнадцатого не случилось ровно ничего, только памятник Николая на Мариинской площади кто-то осыпал цветами; в этом увидели происки партии крепостников.

Двадцатого тот же Баллод принес из университета новое известие: в Варшаве жители устроили торжественную процессию в память Гроховского сражения, и солдаты в них стреляли.

— Убитых пятеро. Польские студенты заказали в костеле панихиду. Наши решили поддержать. И профессоры будут: Костомаров, Спасович, Утин.

Двадцать второго состоялась эта панихида, и Писарев долго не мог забыть, как орган вдруг заиграл национальный польский гимн и все поляки бросились на колени и подхватили его — тихо, согласно и грозно.

Двадцать седьмого разнесся слух, что по церквам читают царский манифест.

Но только через неделю, в Прощеное воскресенье, пятого марта, манифест и положения о крестьянской реформе были распубликованы.

Этот день Писарев провел в доме графа Кушелева, куда привел его Благосветлов. Здесь собрались ближайшие сотрудники «Русского слова». Шампанское лилось рекой, Минаев и Крестовский говорили тосты, поэты Мей и Кроль, закутавшись в какие-то шали, плясали качучу. Один Благосветлов был невесел и ядовито критиковал манифест.

— Так я и знал! — повторял он. — Растянули реформу бог знает на сколько лет, нагромоздили формальностей, которые народу непонятны. А что хуже всего — дали-таки помещикам возможность торговаться с крестьянами за землю — то есть обирать их!

— Ну что ты, право, Григорий Евлампиевич, — возражал Кушелев, — перемелется, и будет мука. Главное — факт совершился. Отменить его невозможно. А дальше жизнь сама распорядится. К крепостному праву возврата нет, и помещики должны это понять. Я ведь тоже помещик.

— Посмотрим, что ты скажешь через два года, когда крестьяне получат, наконец, права свободных людей, но лишатся земли. Знаешь, граф, что тогда начнется? Пугачевщина! И жалкие начатки нашей цивилизации будут уничтожены!

— А все-таки мы, «Русское слово», будем их развивать. Не правда ли, Дмитрий Иванович?

— Раз уж провозглашена личная свобода, — отвечал Писарев, — и, так сказать, эмансипированы тела, нет отныне ничего важнее, чем эмансипация умов. Дайте только с экзаменами разделаться, — а там уж никто не будет работать «Русскому слову» усерднее меня.

Собственно говоря, экзаменов Писарев не боялся: дело привычное, да и навряд ли профессоры станут придираться к обладателю серебряной медали. Но все же несколько часов в день следовало отвести на зубрежку, тем более что Баллод, у которого были приятели на всех факультетах, раздобыл очень хорошие записи лекций Никитенко и Костомарова. Усвоив очередную порцию университетской науки, Писарев отправлялся в кухмистерскую обедать, а после обеда — садился сочинять.

Ему совершенно не мешал шум. Чем громче перекликались соседи, чем чаще хлопали отворяемые двери, тем быстрее летела строка и проще выходила фраза. Статья текла сама собою, как письмо в Москву (правда, Раиса жила уже в тверском имении

какой-то кузины Петра Гарднера).

К середине марта Писарев закончил статью о народных книжках и тут же принялся за новый сюжет. Впрочем, сюжет был только поводом: некий Клеванов составил по книге немецкого историка Целлера обозрение философской деятельности Сократа и Платона, то есть приготовил такое же извлечение из чужого труда, на какое и Писарев убил в свое время два года. Брошюра эта не стоила, конечно, рецензии, но могла пригодиться на экзамене, только поэтому Писарев ее и прочел. А прочитав, решил, что она дает неплохой случай высказаться.

Не о Платоне, конечно, — вот уж кем Писарев нисколько не интересовался, — нет, не о Платоне и тем более не о Сократе, а о всей ненавистной системе общих мест, которую публика так охотно, с таким своекорыстным удовольствием принимает за образованность. Ну кто же не знает, что Платон великий гений? И о судьбе Сократа вам с умилением расскажет любой гимназист в каком-нибудь Царевококшайске. Все благоговеют перед ними. Никто не думает о них. А не худо бы подумать — не о них самих, а о разных серьезных вопросах, на которые они отвечали себе и другим. Да и перерешить задачу жизни по-своему.

Читатель поймет, что Платон тут вообще ни при чем, он собирательное имя, обозначающее целый разряд людей — вплоть до «Рудиных и Чулкатуриных прошлого поколения», до «наших грызунов и гамлетиков, людей с ограниченными умственными средствами и с бесконечными стремлениями». Это все люди, которые недовольны действительностью и противопоставляют ей идеал, и коверкают ради него свою собственную, единственную жизнь, да еще и других пытаются принудить к этому.

Вот он, главный враг, назван по имени — идеал. Это призрак, галлюцинация воображения, недовольного реальностью. Он принимает разные обличья. Мыслитель фантазирует об абсолютной истине — и приходит к религии. Политик проповедует общее благо — и приходит к утопии, жестокой и вредной, несбыточной:

> «Перестроить общество на новый лад, заставить целый народ жить не так, как он привык и как ему хочется, а так, как, по моему убеждению, ему должно быть полезно, — это, конечно, такая задача, за которую теперь не взялся бы ни один здравомыслящий человек».

Но зато и теперь многие здравомыслящие люди стараются во имя идеала уничтожить свою личность.

> «Множество браков по расчету, множество проделок

сомнительного свойства, множество дуэлей делаются не для удовлетворения той или другой страсти, а во имя идеала или из страха перед общественным мнением…

„Это принято“, „это не принято“ — вот те слова, которыми в большей части случаев решаются житейские вопросы; редко случается слышать энергическое и честное слово: „я так хочу“ или „не хочу“… Принято и не принято значит, другими словами, согласно и не согласно с модным идеалом; следовательно, идеализм тяготеет над обществом…»

Третьего апреля состоялся первый экзамен: из русской истории, у Костомарова. Писарев отвечал довольно сбивчиво, однако получил хороший балл и поспешил домой — заканчивать статью.

«Ведь пора же, наконец, понять, господа, что общий идеал так же мало может предъявить прав на существование, как общие очки или общие сапоги, сшитые по одной мерке и на одну колодку…»

Все это он говорил уже и Раисе, и Андрею Дмитриевичу, и Благосветлову. Однако на бумаге заветные мысли выглядели значительнее, а связь между ними — крепче. А если и найдутся промахи (с идеализмом, кажется, немного напутано) — это неважно. Зато развенчаны фальшивые пугала практической нравственности: идеал, цель, долг, — и показано, как счастлив может быть человек, освободившийся от них.

«Я себе не поставлю впереди никакой цели, не задамся никакою предвзятою идеею; я не знаю, к каким результатам я приду, и меня вовсе не занимает вопрос о том, что я сделаю в жизни; меня занимает самый процесс делания, я вижу, что никому не мешаю своей деятельностью, и на этом основании считаю себя правым перед собою и перед целым миром; я работаю и стараюсь облегчить себе труд или (что то же самое) вынести из каждого своего усилия возможно большее количество наслаждения; это, по моему мнению, альфа и омега всякой разумной человеческой деятельности».

Вместо рецензии получился, можно сказать, философский очерк о смысле жизни, и Писарев гордился собой.

Десятого апреля он отнес «Идеализм Платона» к Благосветлову. Тот, прочитав рукопись, пришел в неистовый

восторг и тут же отправил ее в типографию — набрать для апрельской книжки.

— В июне начнем печатать вашего «Аполлония Тиан-ского». А до тех пор, Дмитрий Иванович, вы непременно должны дать мне еще одну статью в таком же роде, как о Платоне. И слышать не хочу ни о каких экзаменах! Что хотите делайте, а чтобы через месяц была статья.

— За мной дело не станет, Григорий Евлампиевич, и экзамены не помеха. Вот только книгу подберу…

— Какую книгу, что вы, помилуйте! Не надо рецензий. Вы уж из библиографии выросли. Пишите прямо самую суть. Вот у вас прекрасно сказано в «Платоне» о доктринерах. Чем не сюжет? Вся наша журналистика, не исключая даже «Русского вестника» и «Современника», барахтается в отвлеченностях: спорят о том, чего нет, мечтают о далеком будущем или уносятся мыслью куда-нибудь за море. А публика-то к этим умствованиям не готова, они ее не трогают, они ей скучны. И потому серьезных статей никто у нас не читает, кроме самих же литераторов. Вот в эту точку и бейте, Дмитрий Иванович! Отделайте-ка хорошенько наших теоретиков, по милости которых журналистика, вместо того чтобы влиять на общество, только потешает его перебранками из-за вопросов истории, филологии, философии и черт его знает чего еще!

В этом сияющем, ледяном апреле Писарев почти не выходил на улицу. Он сочинял обозрение нравов современной журналистики — «Схоластику девятнадцатого века», первую свою статью, которая даже и не притворялась рецензией. Он строил программу целого мировоззрения и ставил новые задачи обществу и литературе. Вот когда он понял — и каждый день говорил об этом Жуковскому и Баллоду, — что в жизни талантливого человека ничего не случается зря и не проходит бесследно. Все, что он пережил и передумал за последние два года, весь опыт ссор и столкновений с матерью, с Трескиным, с Андреем Дмитриевичем, — все пригодилось. Два года назад, когда он впервые выдумал свою теорию эгоизма, кое-кому могло показаться, что это было средством заговорить боль: зелен, мол, виноград, не посчастливилось с любовью — и не надо, для счастья человеку довольно самого себя.

Что же, сейчас можно сознаться: отчасти, пожалуй, так и было, теория родилась из отчаянья. Но ведь он не оставил ее, когда обстоятельства переменились, он додумал тогдашние мысли до конца и теперь с торжеством видел — и все увидят! — как они соединяются в большой правильный круг, внутри которого жизнь понятна насквозь.

Возьмем хоть настоящую минуту. Крепостное право в России отменено. Но страна пока что не сделалась от этого счастливее. Материальное и нравственное благосостояние народа слишком низко; в таких условиях эмансипация личности и уважение к ее самостоятельности неосуществимы. Но мы знаем, что именно они и есть последний продукт развитой цивилизации. Дальше этой цели мы пока еще ничего не видим, и эта цель еще так далека, что говорить о ней значит почти мечтать. Однако приблизить ее можно, и эта задача как раз по силам литературе.

Русский крестьянин, быть может, еще не в состоянии возвыситься до понятия собственной личности, до разумного эгоизма и уважения к своему я; действовать на него убеждением рано: наш народ, конечно, не знает того, что о нем пишут и рассуждают, и, вероятно, еще лет тридцать не узнает об этом.

> «Пускай же он почувствует, по крайней мере, перемену в окружающей атмосфере, пускай почувствует, что с ним обращаются господа как-то не по-прежнему, а как-то серьезнее и мягче, любовнее и ровнее». А для этого необходимо, «чтобы наше провинциальное дворянство и мелкое чиновничество перестало быть тем, что оно теперь. Гуманизировать это сословие — дело литературы и преимущественно журналистики… Это, может быть, единственная задача, которую может выполнить литература и которую притом только одна литература и в состоянии выполнить».

Так. Можно перевести дух. И — вперед, рассыпая удары направо и налево.

А чем занимается наша журналистика? Спорами о народности, о гражданской жизни Западной Европы, об обличительной литературе или о том, что такое «я» (вот как полковник Лавров в своих философских статьях).

Тут, ясное дело, потребуется несколько страниц полемики, а пока подпустим шпильку «Современнику»:

> «Как судить об обществе, как наблюдать за проявлениями его жизни, когда общества нет и когда жизнь общества ни в чем не проявляется! Задача действительно мудреная, и за решение этой задачи критика наша берется, сколько мне кажется, не так, как следовало бы. За неимением общества она старается его выдумать, она пытается привить к нам общественные интересы и истощается в благородных, но бесполезных усилиях; она хочет сделать слишком много и потому

ровно ничего не делает; она забывает, что критика может только обсуживать существующие явления, выражать потребности, носящиеся в обществе, а не порождать новые явления и не будить в обществе такие потребности, для которых еще нет почвы, в действительности. Забегать вперед не дело критики; это значит разрушать живую связь между собою и читающим обществом».

Вот так-то, мой милый господин — Бов! Человек вы талантливый и честный, но пишете словно для будущих поколений. А кто нас с вами будет читать через тридцать лет? Если подписчик нынешнего года оставит критическую статью в журнале неразрезанной — она пропала навсегда.

Нет уж, давайте заниматься делом, а теории-то эти лучше бросить. Тут опять Благосветлов прав — что за страсть всюду соваться с законами и всюду вносить симметрию!

В этом-то и беда наша. Чего, кажется, яснее — нужно развивать читающую публику.

> «Вместо того, чтобы проповедовать голосом вопиющего в пустыне о вопросах народности и гражданской жизни… наша критика сделала бы очень хорошо, если бы обратила побольше внимания на общечеловеческие вопросы частной нравственности и житейских отношений… Отношения между мужем и женою, между отцом и сыном, матерью и дочерью, между воспитателем и воспитанником — все это должно быть обсуживаемо и рассматриваемо с самых разнообразных точек зрения».

Звучит вроде бы туманно, да ведь сущность-то проста: каждый человек, особенно молодой, должен объявить себя независимым от всех авторитетов и предрассудков; он должен химическим анализом проверить подлинную ценность красивых слов, которыми пичкают его люди золотой середины, составляющие пока что большинство. Кто, кроме журналистики, объяснит молодому поколению, что религия, семейный очаг, долг, идеал, цель — это понятия-ловушки, устроенные бездарностью и посредственностью для того, чтобы внушить человеку необходимость думать как все?

До теорий ли тут?

> «Строго проведенная теория непременно ведет к стеснению личности, а верить в необходимость

стеснения значит смотреть на весь мир глазами аскета и истязать самого себя из любви к искусству».

Вы скажете, пожалуй, что это тоже в своем роде теория? Неправда! Это только правила нравственной гигиены, необходимые для каждого, кто желает стать личностью, или — что то же самое — действительно счастливым человеком.

> «Эгоистические убеждения, положенные на подкладку мягкой и добродушной натуры, сделают вас счастливым человеком, не тяжелым для других и приятным для самого себя. Жизненные переделки достанутся легко; разочарование будет невозможно, потому что не будет очарования; падения будут легкие, потому что вы не будете взбираться на недосягаемую высоту идеала; жизнь будет не трудом, а наслаждением, занимательною книгою, в которой каждая страница отличается от предыдущей и представляет свой оригинальный интерес. Не стесняя других непрошеными заботами, вы сами не будете требовать от них ни подвигов, ни жертв, вы будете давать им то, к чему влечет живое чувство, и с благодарностью…»

— Нет, не то! Вот так и вкрадываются предрассудки. Какая еще благодарность!

> «…или, вернее, с добрым чувством, будете принимать то, что они добровольно будут вам приносить. Если бы все в строгом смысле были эгоистами по убеждениям, т. е. заботились только о себе и повиновались бы одному влечению чувств, не создавая себе искусственных понятий идеала и долга и не вмешиваясь в чужие дела, то, право, тогда привольнее было бы жить на белом свете, нежели теперь, когда о вас заботятся чуть не с колыбели сотни людей…»

Двенадцатого мая он закончил статью. Семнадцатого сдал последний экзамен — историю русской литературы — Никитенке. Восемнадцатого вместе со всем четвертым курсом отметил это событие пикником в Озерках. Девятнадцатого устроил в мазановских номерах грандиозную пирушку — кстати подоспел очередной гонорар. Двадцатого утром Владимир Жуковский принес ему письмо.

— Кандидат филологии Писарев! Пьяница и соня! Подымайся с постели, несчастный, и пляши! Послание от невесты! Только что

дворник принес. Пляши, говорю.

Писарев шаркнул несколько раз по полу босой ногой, но распечатывать письмо не стал. Письма от Раисы он читал не иначе как в полном одиночестве и не прежде, чем удавалось покончить со всеми хлопотами дня. Случалось, что он до вечера носил письмо с собой, не заглядывая в него. Зато потом ни одна посторонняя мысль не мешала услышать ее голос.

В этот день сожители, как и сговорились накануне, отправились всей компанией в торговые бани у Андреевского рынка. И Писарев пошел с ними, и Жуковский исхлестал его веником так, что кожа словно светилась изнутри красным; потом, завернувшись в простыни, блаженно тянули портер прямо из нарядных бутылок, и Жуковский, изображая римского сенатора, говорил по-латыни что-то из Цицерона, а Петр Баллод, хвастаясь своими познаниями в патологической анатомии — он только что издал перевод специального труда по этой части, — очень смешно рассказывал о вскрытиях.

Накинув поверх белья халаты (здесь, на Васильевском, в линиях, населенных чуть не сплошь студентами, жили без церемоний), вальяжно прошествовали по солнышку обратно в номера. Свалили на стол в прихожей охапку цветущей черемухи, наломанной по дороге, немного потолковали о начавшейся в Америке гражданской войне, о новых правилах, которые будто бы собирается ввести начальство для студентов университета, и разбрелись по своим комнатам — спать.

И только тогда Писарев достал из-под подушки письмо и распечатал его.

Раиса сообщала, что не может быть его женой, и просила вернуть ей слово и простить ее. Она всегда любила и будет любить его как сестра, но замуж выйдет за другого человека. Его зовут Гарднер Евгений Николаевич, он двоюродный брат Петра Александровича, офицер в отставке, имеет состояние. Она совершенно уверена, что будет счастлива, и не сомневается, зная убеждения Мити, что он, поразмыслив, поймет: все к лучшему. Он станет знаменитым писателем и ученым и встретит, конечно, женщину, достойную его, хотя, по правде говоря, найти такую нелегко (улыбнись же, Митя, мальчик мой!). Евгению Николаевичу очень нравятся Митины статьи и очень хочется познакомиться с их автором. Разумеется, все так и будет, и наша дружба станет еще крепче и нежней, а пока что — только первое время, самое короткое — лучше не видеться и не писать друг другу, потому что можно сгоряча наговорить и наделать глупостей, о которых после жалеешь. И она целует его на прощанье — впрочем, недолгое, не навек же, — и просит беречь

себя и заступиться за нее перед Варварой Дмитриевной, которая теперь, чего доброго, вспылит, а ведь сама всегда хотела, чтобы так случилось.

Подпись была: «Навсегда твоя сестра Р. Коренева».

Глава девятая
1861. ИЮНЬ — ДЕКАБРЬ

Этим летом ему часто снился тягостный сон: будто он дерется с кем-то — просто на кулаках, как мужики в отцовской деревне, — и наносит удар за ударом, но руки не слушаются, он едва-едва, бессильно и вяло толкает противника, и тот тоже почему-то не может отбросить его или причинить ему боль, и вместо драки выходит какое-то отвратительное объятие с чужим человеком, в лицо которому никак не заглянуть.

И лето тянулось как сон — безболезненно и бессмысленно. Он твердил себе, что на этот раз ни за что не сойдет с ума — лучше умереть, и спасался испытанными уже средствами: уехал в Грунец, переводил Гейне стихами и прозой, пересказывал для «Русского слова» книги по физиологии, которыми снабдил его Благосветлов: «Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизменяются, дробятся и разлагаются, кружатся и движутся без цели и без остановки, проходят через наше тело, порождают новые тела — и вот вся жизнь, и вот история».

С Благосветловым завелась у него оживленная переписка. Тот регулярно сообщал столичные новости: опубликованы новые правила для студентов университета; министр просвещения Ковалевский заменен адмиралом Путятиным; цензура свирепствует пуще прежнего; в Петербурге ходит по рукам прокламация, подписанная «Великорусс», выражения в ней довольно умеренные, но сам факт — необычайный.

Еще писал Григорий Евлампиевич, что унывать стыдно, особенно в такое время, как сейчас, да еще молодому человеку, которого ожидает всероссийская известность, и присылал журналы с отчеркнутыми на полях статей выпадами против «Русского слова».

Журналы надрывались в полемике, однако Писарева никто не трогал. Зато Благосветлову — тому доставалось. В «Отечественных записках» Альбертини и Бестужев-Рюмин наперебой осыпали его самыми презрительными эпитетами. Видимо, тут сводились какие-то личные счеты: прежде ведь Благосветлов в «Записках» печатался и с этим самым Бестужевым-Рюминым чуть ли не приятельствовал. Но теперь! Григорий Евлампиевич в одной статье обозвал лорда Росселя «умственной малостью», — «Отечественные записки», заступаясь за бывшего английского министра, вздохнули об участи русской журналистики, в которой гарцуют молодцы вроде г.

Благосветлова. Григорий Евлампиевич огрызнулся довольно грубо, но подкрепил свой отзыв о Росселе новыми аргументами, — «Отечественные записки» вслух пожалели его самого:

> «…он меньше всего гаерничает сам; он — только несчастная жертва балаганного гаерства, человек, воспитанный на произведениях легкой литературы».

Тут не то что Григорий Евлампиевич, а и более флегматичный человек мог выйти из себя. Самое обидное, что его печатно называли бледной копией Чернышевского.

А это имя мелькало чуть не на каждой странице и «Отечественных записок», и «Русского вестника». Вокруг него бушевал настоящий литературный скандал.

Все началось с философских статей полковника Лаврова — того самого, которого Писарев мимоходом высмеял в «Схоластике». Чернышевский еще в прошлом году написал о них пространную работу — «Антропологический принцип в философии». Киевский профессор Юркевич — по словам Лаврова, один из крупнейших современных диалектиков — в каком-то безвестном церковном издании разобрал эту работу, на каждом шагу уличая «нашего сочинителя» («Антропологический принцип» шел без подписи) в невежестве. Катков в «Русском вестнике» злорадно перепечатал статью Юркевича — что, дескать, вы скажете на это, господин Чернышевский? Русская журналистика встрепенулась: как же, знаменитый писатель, руководитель «Современника», оракул молодого поколения, — и вот его отчитывают как мальчишку, — в самом деле, что он скажет в ответ? Чернышевский ответил «Полемическими красотами» — желчной, высокомерной статьей, наполненной оскорбительными личными выпадами против сотрудников недружественных изданий. Те, в свою очередь, пустились в резкие объяснения. Поднялся страшный шум — и в этом шуме Благосветлову опять попало от «Отечественных записок». Вот уж воистину в чужом пиру похмелье!

> «Мы охотно готовы признать, — писал Альбертини, — что г. Чернышевский не из таких господ, как г. г. Благосветловы, что у него есть свое особенное миросозерцание, свое направление, свой порядок идей».

А о «Полемических красотах» говорилось так:

> «Иногда г. Благосветлов пишет в этом роде

статьи, — но куда ж ему? очень далеко! Он часто сбивается».

Тон этот был, конечно, нестерпим. Благосветлов бесился и требовал от Писарева продолжения «Схоластики». Он решил переложить руль. До сих пор «Русское слово» несколько даже кичилось своим невмешательством в борьбу литературных партий и порицало, хотя и сдержанно, теоретические увлечения «Современника». И Писарев не упускал этого из виду, сочиняя «Схоластику». Но теперь положение переменилось. Благосветлов рвался в схватку и не мог не восхищаться тем, как Чернышевский разделывается с его врагами. В конце концов, речь шла о большем, чем борьба литературных самолюбий. Злоба, с которой русские журналы ополчились на «Современник», не предвещала и «Русскому слову» ничего хорошего. Все эти господа Катковы, Альбертини и Дудышкины могли сколько угодно толковать о гласности и обличать злоупотребления, но материализма, но презрения к авторитетам, но крайних мнений не собирались прощать никому. Стадо, быть, следовало поддержать Чернышевского. В России восемь толстых журналов — так вот, отныне два из них, «Современник» и «Русское слово», станут союзниками.

Так писал Благосветлов, и Писарев соглашался с ним. Даже заманчиво было вмешаться в полемику, обращаясь к противникам поименно, как Чернышевский, и не жалея едких и сильных слов. Ему хотелось перенять тон «Полемических красот», эту горечь и гордыню, позволяющую сказать: я мертв, господа, для ваших похвал и порицаний. А кроме того — чтобы не сойти с ума, нужно было как можно больше работать. Он признавался Благосветлову, что теперь, потеряв надежду на личное счастье, возлюбил «Русское слово» пуще всякой женщины и сочинение статей стало его единственной радостью.

Родителям, даже Варваре Дмитриевне, в это лето было не до него. Реформа разоряла их. Имение было давным-давно заложено, и суммы, ожидаемой в уплату за крестьянские наделы, могло даже не хватить на то, чтобы рассчитаться с казной. Иван Иванович почему-то надеялся, что все как-нибудь обойдется, и без устали занимался чужими делами: его избрали мировым посредником. Но Варвара Дмитриевна чрезвычайно тревожилась о судьбе дочерей. Собственно говоря, Вере пора было замуж, и сделай она удачную партию — семья была бы спасена. Однако Вера не хотела и слышать о замужестве и говорила бог знает что — о каких-то современных девушках, которые будто бы сами зарабатывают на жизнь и слушают лекции в университете, и тому

подобный вздор, такой привлекательный в Митиных статьях и такой противный в письмах Раисы — особы, что ни говорите, ветреной и недоброй, Варвара Дмитриевна всегда это знала.

Так или иначе, жениха у Веры все равно не было. А если бы и появился — без приданого не всякий возьмет. А где взять денег на воспитание Катеньки, да и просто — на жизнь? Одна надежда оставалась — на Митю. Он должен как можно скорее сделаться богат и знаменит, иначе — страшно подумать, что будет с девочками. Только бы этот Благосветлов оказался хорошим человеком, только бы Митя с ним не рассорился, только бы, господи, не заболел. Он уж было стал успокаиваться, бедный, но брат Андрей, как всегда, все испортил. Безжалостный и сумасшедший человек!

Действительно, Андрей Дмитриевич вел себя странно. В конце июня он прислал в Грунец три выпуска «Развлечения», в которых был за его подписью напечатан Митин роман, правда, с переделками: роль дяди была усилена, и этот дядя, Юрий Павлович, учитель, опекун и добрый гений юных Маши и Коли, совершал разные великодушные поступки. Тут же Андрей Дмитриевич поместил свои стихи с посвящением Р. А. К.:

Грустный да тяжелый
Впереди мой путь:
Потерял родную —
Тяжко ноет грудь.
Не вернуть слезами
Радостные дни,
Навсегда, навеки
Сгинули они…

Через две недели пришла новая бандероль, и там опять был свежий номер «Развлечения» (прескучное, кстати сказать, издание), а в нем статья Данилова — автор беседует со своим слугой о только что прочитанной «Схоластике» Писарева. Он называет сочинителя «проповедником эгоизма и наставником узкого и крайнего себялюбия», а слуга Иван, как представитель народной мудрости, замечает ядовито:

> «А спроси-ка по совести у самого этого сочинителя, не приходилось ли ему у других одолжаться, да еще, небойсь, кланялся да просил, чтоб ему добрые люди в каком ни есть деле помочь дали…»

Еще через две недели — еще одна статья, в которой автор

разговаривает со знакомым медиком по имени Петр Александрович — очевидно, с Гарднером — о ревности. Они обсуждают новый рассказ Марка Вовчка, но, как червяк в яблоке, скрывался в рецензии глухой двусмысленный намек: «что прошло — то было». Андрей Дмитриевич слезливо предъявлял какие-то тайные права на прошлое Раисы.

Пробежав эту заметку, Писарев тут же в нескольких строках уведомил дядю, что порывает с ним навсегда.

Впрочем, он был спокоен. Так спокоен, что сам себе удивлялся. Навязчивой мелодией вспоминались ему без конца слова Чернышевского: «Я мертв для вас, господа, я мертв». В этом тоне он и писал продолжение «Схоластики», но работа шла довольно вяло. Он томился в родительском доме, и поклонение, которым его окружали сестры, прискучило, хотелось в Петербург — заниматься литературой, спорить с Благосветловым, кутить с приятелями в мазановских номерах. Чтобы ни минуты не оставалось свободной. Чтобы не думать о том, где сейчас Раиса и каков собою этот новый Гарднер.

Наконец лето прошло. Последний раз холодно полыхнула между холмами излучина Зуши, последний раз оглянулся Писарев на дом и сад, на детство и юность.

В конце августа он был уже в Петербурге.

Квартира превратилась в какой-то штаб. В комнате Баллода днем и ночью перекрикивали друг друга незнакомые голоса. Плотные — хоть ножом режь — пласты сигарного дыма плавали по коридору. По всему было видно, что готовится нечто чрезвычайное. Писареву вмиг объяснили, в чем дело:

— Новые правила для университетов. Петлю над нами затягивают! Сходки запрещены. Касса от нас отобрана: пособия из нее присуждаются не студентами, а инспектором.

— Это что же? Возвращаемся к прежним порядкам, до пятьдесят седьмого года?

— Хуже, гораздо хуже. Студенческие мундиры отменены, и любой полицейский может теперь нам приказывать. И все студенты обязаны иметь при себе матрикулы.

— Что такое?

— Матрикулы. Это такие книжки, в которых отпечатаны новые правила. И в них же проставляются баллы. И они же — вид на жительство…

— Да что матрикулы! Ничего в них страшного нет, — сердито крикнул Баллод. — В Дерптском университете они испокон веку заведены, и студенты не жалуются. А вот что на самом деле скверно, в чем самый подлый умысел есть — это что

свидетельства о бедности похерены. Бедный ты или богатый, все равно плати пятьдесят рублей, а коли негде взять — убирайся. Это значит — двум третям студентов от ворот поворот!

— Низость какая!

— Мы решились протестовать. Не брать этих самых матрикул. Не признавать новых правил. И в первый же день, как начнутся лекции, вызвать попечителя для переговоров.

— А что же он сам-то думает? В России уже полгода как уничтожено крепостное право, даже о судебной реформе, даже о цензурной поговаривают. С чего бы вдруг снова такие строгости?

— Старший Утин — профессор на юридическом — объяснил, что это все проделки нового министра. Адмирал Путятин мечтает превратить университет в закрытое заведение вроде Кембриджа. Никаких вольнослушателей, вообще никаких посторонних. А плата потому, дескать, обязательна, что студенты дорого обходятся казне. Ну, стало быть, и податным сословиям. Наш флотоводец печется о народе!

— Просто-напросто боятся они нас, — заключил Баллод. — Помните акт в феврале? Помните панихиду в костеле? А казанские студенты служили панихиду по Антону Петрову, расстрелянному в Бездне. А в Московском университете целая карманная типография завелась и печатаются запрещенные книги. Вот начальство и решило нас припугнуть. Да еще посмотрим, чья возьмет! Очень кстати ты приехал, Писарев. Сентябрь обещает быть жарким.

Баллод, как всегда, оказался прав. Вечером следующего дня, когда Писарев принес Благосветлову только что законченную вторую часть «Схоластики», тот встретил его словами:

— Несомненно, что-то готовится. Арестован Костомаров — не профессор, а его племянник, начинающий поэт. Позавчера был обыск у литератора Михайлова. Ничего не нашли, Михайлов на свободе — да и за что его брать! — но слухи по городу самые дикие. А сегодня по городской почте в контору «Русского слова» доставили — что бы вы думали? Прокламацию. Вот, полюбуйтесь, — он взял со стола и подал Писареву какую-то брошюру без обложки и титульного листа. — Бумага и шрифт лондонские, можете мне поверить, но слог не Искандера, отнюдь.

Прокламация называлась «К молодому поколению» и была очень длинной — в журнале заняла бы страниц пятнадцать. И слог действительно был заурядный, даже несколько педантский, слог ученой журнальной статьи. Но мнения высказывались самые решительные. Писареву бросилась в глаза фраза: «Если для осуществления наших стремлений — для раздела земли между народом пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не

испугались бы и этого. И это вовсе не так ужасно».

— Кто бы ни были эти люди, — продолжал Благосветлов, — пишут они много дельного и очень отважно. И главная мысль верна — свободный человек в свободном государстве. А вот что западную цивилизацию думают одним прыжком обогнать — это дудки! Наше спасение, дескать, в том, что мы народ запоздалый. Вздор! В бедности-то нашей да в глупости — какое спасение? Они мечтают превратить Россию в республику свободных земледельцев — вроде Швейцарии, но не сегодняшней, а какой она была в эпоху Карла Смелого и Вильгельма Телля. Что-то не верится. Но какова отвага! Нас ожидают удивительные события — это без сомнения. Студенты волнуются — слышали, конечно?

— Еще бы! У нас в квартире всякий день сходка. Восемнадцатого, когда начнутся лекции, начальству придется плохо.

— Сходки-то эти, вероятно, мешают вам писать?

— Да как будто нет.

— Вы скажете, что это не мое дело. Но уж извините, я смотрю на вас в некотором роде как на собственность «Русского слова». А время сами знаете какое. Вот хоть бы из-за этой прокламации, что вы держите в руках, сейчас начнутся обыски, аресты. К кому она обращена? К молодому поколению. У кого ее будут искать? У студентов, конечно. А вы уж не студент, Дмитрий Иванович. Вы сотрудник солидного журнала и крупная умственная сила. Вам в меблирашках жить даже и неприлично. Знаете что? В квартире моего друга Василия Петровича Попова — помните, я весной знакомил вас с ним у графа Кушелева? — так вот, у него имеется свободная комната. Они с женой оба благороднейшие, симпатичнейшие личности, у них вы будете жить как в родной семье.

— Поверьте, Григорий Евлампиевич, я очень благодарен, но это, право, неловко.

— Что за неловкость? Вы о деньгах? Ну, платите им, раз уж вы такой щепетильный. Зато у вас будет удобное и приличное помещение, куда не совестно и невесту пригласить.

— К сожалению, Григорий Евлампиевич, приглашать теперь некого.

— Я помню, вы перед отъездом говорили мне об ее письме. Ну а сейчас где она?

— Насколько мне известно, в Тверской губернии. Гостит у кузины своего… словом, у знакомых. Она редко отвечает на мои письма.

— А хотите, я ей напишу?

— Вы?

— Ну да, я. Ведь я редактор журнала. А Раиса Александровна — не ошибаюсь? — пишет повести. Отчего же мне нельзя осведомиться о ее литературных планах?

— Ах, если бы вы уговорили ее приехать, — тихо сказал Писарев.

— Решено! Давайте адрес. Ну а что с переездом? Согласны? Давно бы так. Василия Петровича я предупрежу. Перебирайтесь хоть завтра. Он живет подле вас — Вторая линия, дом Дорна. И не благодарите — я это делаю в интересах журнала, то есть ради собственной пользы.

Назавтра, пятого сентября, были именины Раисы. Писарев пригласил Владимира Жуковского и Баллода пообедать в ресторане Дюссо, в отдельном кабинете. Пили шампанское и ликеры, говорили о политике. Писарев рассказал о прокламации. Оказалось, что Баллод уже читал ее, а Жуковский видел, как по Невскому мчался на белом рысаке, запряженном в «эгоистку», какой-то господин и разбрасывал прокламации направо и налево.

— Вот смельчак! На полицейских точно столбняк нашел. Никто и не подумал за ним погнаться.

Баллод с таинственным видом заметил, что это еще цветочки, что скоро прокламаций будет гораздо больше.

— Да только сочинять их надо с толком, — сказал Писарев. — А то сперва требуют республики, а через несколько страниц — сокращения расходов на содержание императорского двора. Это как-то странно.

— Вот и взялся бы сам написать. Ты ведь литератор.

— Ну, напишу я прокламацию. Что с ней делать? В Лондон пересылать?

— Зачем в Лондон? Можно и ближе, — усмехнулся Баллод. — Ты напиши. Печатный станок найдется.

— Нет, братцы. Я — пас. Листки эти прочитают сто, от силы двести человек. А у «Русского слова» одних подписчиков — две с половиною тысячи. Вот и разочтите, что сильнее действует на общество, — прокламация или статья.

— Но статьи уродуются в цензуре.

— И под цензурой многое можно высказать. Умеет же Добролюбов. Кстати, я тоже теперь перехожу к литературной критике. Надо поспорить с ним кой о чем.

— Говорят, он очень болен, — вставил Жуковский.

— Да, очень. Он ездил лечиться в Италию. Моя кузина там с ним встретилась — не Раиса, конечно, а троюродная, Маша Маркович. Но Италия ему не помогла.

— Ну и хватит о литературе. Выпьем, Писарев, за твоих кузин. И счастливо тебе на новом месте!

— Писарев пишет о Писемском, — как смешную шутку повторял Попов, оказавшийся в самом деле человеком добродушным, хотя и недалеким. — Писатель Писарев пишет о писателе Писемском, — поддразнивал Василий Петрович своего молодого квартиранта, когда они встречались за обедом.

Но это был всего лишь неудачный каламбур. Верно, что, перебравшись в новое помещение — большую, с дорогой мебелью, комнату, окном выходившую на двор, где трепетало пыльной, полумертвой кроной единственное липовое деревце, — Писарев сразу засел за работу. И то верно, что, прочитав по совету Благосветлова только что вышедшие два тома сочинений Писемского, он обнаружил с удивлением и восторгом, что неприятный, вечно полупьяный господин с воспаленными глазами на кирпично-красном лице, так грубо бранившийся когда-то на вечерах у Майковых, — что этот самый Алексей Феофилактович (странное отчество для дворянина) по силе таланта едва ли не первый русский писатель: только Гончарову уступает в отделке подробностей, только Тургеневу — в глубине идей.

Однако дело было не в литературе, и уж конечно не в эстетических оценках. Тут все представлялось довольно ясным. Россия располагает тремя первоклассными романистами — это Тургенев, Писемский, Гончаров, и двумя значительными поэтами — это Майков и Некрасов. Микроскопические лирики вроде Фета и Полонского в счет не идут, в новом поколении крупных дарований пока не видно.

О Марке Вовчке и о драматурге Островском он не упоминал — не оттого, что колебался относительно разряда, в какой их поместить, а просто не шли они к делу. Один изображал мещан и купцов, другая — крестьян, а у Писарева сюжет был другой.

В соответствии с программой, высказанной в «Схоластике», он адресовался к молодежи так называемого среднего круга. Каждый год тысячи дворянских детей заканчивают гимназии, чтобы занять скромные места в канцеляриях различных учреждений, главным образом в провинции. Их родители в свое время могли купаться в праздности, проживая доходы с имений. Но теперь, после реформы, и помещикам придется изрядно потрудиться, чтобы наладить выгодное хозяйство. Помещичьим семействам средней руки не миновать перемены в образе жизни. От того, какими вырастут дети в этих семействах, зависит будущее страны. И надо сделать все, чтобы они выросли непохожими на своих отцов. Надо гуманизировать это сословие, это поколение. К остальным обращаться бесполезно: аристократы

пренебрегут, мужики не услышат. А уж если обращаться к известному кругу людей, надо говорить о том, что задевает их за живое, о них самих. Что толку писать, как Добролюбов, «Черты для характеристики русского простонародья» — о рассказах Марка Вовчка, отличная статья, но какая в ней польза? Народ ее не прочтет. Образованное общество, положим, прочтет и восхитится смелой мыслью автора, — да на словах, в умозрении кто у нас не прогрессист? В общих принципах чуть ли не все согласны, а как до дела дойдет, самый передовой господин может вдруг заявить себя лютым деспотом, например в своем семействе. Вот с семейства и надо начинать. Дать молодым людям портрет старшего поколения во всей его неприглядности; обрисовать пустоту и мелочность интересов, подневольную зависимость от мнений света и дутых фетишей; показать браки по принуждению и браки по расчету, измены и пьянство, семейный деспотизм и умственный застой. Представить все это на суд молодежи, а потом и спросить: ну и что? Много хорошего в такой жизни? Нравится вам она? Не с точки зрения морали — это уж мы сумеем доказать, что предрассудки, управляющие поведением отцов, безнравственны. А с гораздо более близкой молодому читателю точки посмотрим: радости много ли в их жизни? Счастливы ли они были? Хотим ли мы, чтобы и наша жизнь пропала зря, в мелких поползновениях к ничтожным целям, которые и нужны-то не нам, а заданы обычаем, как урок в гимназии. Он кажется легким, этот урок, если не любить себя и не уважать, и не знать, зачем существуешь. Но вправду ли блажен, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть сумел и так далее по Пушкину: «о ком твердили целый век: NN прекрасный человек»? Хотите жить, как все, — то есть быть никем?

— Разумеется, нет, — скажет читатель. — Разумеется, лучше осознать требования своей личности и жить не по указке родителей и начальников, а своим умом и в свое удовольствие. Но как это делается? С чего начинать?

И вот, когда ход изложения приведет читателя к этому вопросу, когда безвестный, но симпатичный юноша где-нибудь в провинциальной глуши, в маленьком городке нетерпеливо перевернет страницу «Русского слова», ожидая найти рецепт счастья, — Писарев, припомнив позапрошлое лето и все, что случилось потом, преподаст несколько советов.

Первое: ничего не бояться.

> «Кто не способен сжечь за собою корабли и идти смело вперед, шагая через развалины своих прежних симпатий, верований, воздушных замков и идеалов и

слыша за собою ругательства, упреки, слезы и возгласы негодующего изумления со стороны близких людей, тот хорошо сделает, если заглушит в голове работу критического ума и даже простого здравого смысла, если заблаговременно начнет отплевываться от лукавого демона, сидящего в мозгу каждого здорового человека, смотрящего на вещи собственными глазами. Идти, так идти, смело, без оглядки, без сожаления…»

Второе: никаких уступок.

«Те условия, при которых живет масса нашего общества, так неестественны и нелепы, что человек, желающий прожить свою жизнь дельно и приятно, должен совершенно оторваться от них, не давать им над собою никакого влияния, не делать им ни малейшей уступки. Как вы попробуете на чем-нибудь помириться, так вы уже теряете вашу свободу… Если же вы однажды навсегда решитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнение, которое слагается у нас из очень неблаговидных материалов, то вас, право, скоро оставят в покое…»

— Все это прекрасно, — возразит юный читатель, — махнуть рукою я готов, идти без оглядки я согласен, но скажите — куда мне идти?

— А вы задайте этот вопрос самому себе, — ответит Писарев, — вот на первый случай моя цель и достигнута. Вы задумались над собою, вы пытаетесь понять, чего хотите от жизни. Кто, кроме вас самих, решит этот вопрос ясно и удовлетворительно?

«А кто на это способен, тот почти наверное устроит себе жизнь по-своему и не будет ни в каком случае несчастным».

Таким образом, личное счастье и освобождение общества сходятся в одном пункте, начинаются с одного и того же: первым делом надо эмансипировать свою личность, прочувствовать права своего «я» — короче, стать эгоистом. Общество сковано гнетом — духовным и материальным. Давайте покончим с духовным, с властью всяческих авторитетов над нашей свободной волей, — и мы воспитаем поколение работников, способных расшатать, а то и разрушить гнет материальный — власть нужды и грубой силы. Это будет поколение эгоистов — надо только уяснить себе

истинный смысл этого слова.

> «Эгоизм, если понимать его как следует, есть только полная свобода личности, уничтожение обязательных трудов и добродетелей, а не искоренение добрых влечений и благородных порывов. Пусть только никто не требует подвигов, пусть никто не навязывает увлечений и порывов, пусть общество уважает личность настолько, чтобы не осуждать ее за отсутствие влечений и порывов, и пусть сам человек не старается искусственно прививать к себе и воспитывать в себе эти влечения и порывы, — вот все, что можно желать от последовательного проведения и разумного восприятия идеи эгоизма. Гнет общества над личностью так же вреден, как гнет личности над обществом; если бы всякий умел быть свободен, не стесняя своих соседей и членов своего семейства, тогда, конечно, были бы устранены причины многих несчастий и страданий».

Он назвал эту статью так, словно написал роман из жизни русской провинции: «Стоячая вода». А столица вокруг него бурлила, как никогда прежде.

Ходили упорные слухи, что арестован Михайлов — переводчик и поэт, сотрудник «Современника». Попов даже передавал подробности ареста: Михайлов будто бы защищался, выстрелил в жандармского полковника, и пуля прошла между левым боком и рукой, пробила деревянную перегородку и в другой части комнаты ударилась в стоявший на комоде самовар.

— Вздор и пустяки, — опровергал Благосветлов, — с тех пор как у Михайлова был обыск, я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он взят. А еще третьего дня я виделся с ним у Курочкина, мы говорили об учреждении Шахматного клуба. Оно конечно, схватить человека у нас недолго. Да брать-то его не за что — вот беда! Михайлова арестовать — ведь это курам на смех. Ведь он кроме мадам Шелгуновой и не видит никого и ничего.

В самом деле, сочинение прокламаций и стрельба по жандармским полковникам не вязались с хрупким обликом Михайлова. Писарев не был с ним знаком, но раза два видел его в редакции «Русского слова» и невольно любовался: с таким изяществом одет был этот человек, с таким достоинством держался — ни за что не поверишь, что его дед был крепостным у Аксаковых. Зато его сказочный, как говорили, успех у дам не подлежал сомнению, хотя лицо у Михайлова было такое, словно его изуродовали компрачикосы: косые узкие щели вместо глаз. Он прославился на всю Россию пылкими статьями в защиту

женского равноправия. И можно было только завидовать его блестящим переводам из Гейне и Беранже. Ну за что было сажать в крепость такого человека?

Тем не менее четырнадцатого сентября Михайлов действительно был арестован.

Пятнадцатого в доме графа Кушелева-Безбородко собрались чуть не все петербургские литераторы и составили петицию на имя министра просвещения графа Путятина.

> «Позвольте, граф, надеяться, — говорилось в ней, — что вы не откажетесь испросить освобождение г. Михайлова, а если это невозможно, то, по крайней мере, исходатайствуете дозволение назначить к нему в помощь, по нашему избранию, депутата для охранения его гражданских прав во все время судебно-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется».

В огромной бильярдной столпились писатели всех рангов и направлений. Тут были Кремпин и Добролюбов, Альбертини и Благосветлов, Некрасов и Михаил Достоевский. Петицию подписали редакторы и сотрудники журналов — тридцать один человек. Вручить ее министру должны были трое из них — люди с высоким официальным положением: камер-юнкер граф Кушелев, штаб-офицер корпуса жандармов Степан Громека (он служил на железной дороге, а все-таки в жандармерии, и потому принято было посмеиваться над его обличительными статьями, но вот — и фуражка пригодилась), а также известный своей благонадежностью издатель солиднейших «Отечественных записок» Андрей Краевский.

На следующий день депутация отправилась к министру, который соизволил принять одного графа Кушелева, и то крайне нелюбезно. Взявшись передать содержание прошения правительственному комитету (император пребывал в Ливадии), Путятин предупредил, что не ручается за результат. И верно — через несколько дней последовало по телеграфу высочайшее повеление: Кушелева исключить из числа камер-юнкеров, Громеку уволить со службы, а Краевского выдержать на гауптвахте в течение восьми недель. До гауптвахты, впрочем, не дошло, и о Краевском даже совсем забыли, потому что разыгралась студенческая история.

Студенческая история — так прозвали ее потом в газетах — началась в первый же день университетских занятий, восемнадцатого сентября, в понедельник. На лекции пошли десятка два самых робких новичков. Остальные студенты, не обращая внимания на уговоры инспектора и его помощников,

собирались толпами в коридорах, свободных аудиториях, в «коптилке» под лестницей и, конечно, в актовом зале. Говорились речи. Ораторы призывали товарищей не брать ненавистных матрикул, не платить за обучение и требовать у попечителей отмены новых правил. В победе мало кто сомневался: как-никак студентов было более тысячи человек, некоторые профессоры — главным образом с юридического — их поддержали; что мог поделать с ними со всеми министр Путятин? Студенты требовали ректора или попечителя. Но ректора не было в Петербурге, а нового попечителя генерала Филипсона никто не видал в стенах университета после торжественного молебна; только и знали о нем, что это боевой, заслуженный генерал и живет он на Колокольной улице. На переговоры никто из начальства не являлся, и это укрепляло в студентах уверенность, что их боятся: вот ведь сходки запрещены же новым уставом, однако идут всю неделю, и никто не решается их прекратить.

— Говорил же я, — ликовал Баллод, забежавший в субботу вечером к Писареву. — На дверях сборной залы сегодня целый день висела прокламация — жаль, рукописная, — и никто не посмел ее снять. А как написано!

Он достал из кармана пальто сложенный вчетверо лист бумаги.

— Всю не буду читать — охрип на сходке. Вот, слушай: «…Мы — легион, потому что за нас здравый смысл, общественное мнение, литература, профессоры, бесчисленные кружки свободомыслящих людей, Западная Европа, все лучшее, передовое за нас. Нас много, более даже, чем шпионов. Стоит только показать, что нас много. Теперь кто же против нас? Пять, шесть олигархов, тиранов, подлых, крадущих, отравляющих рабов, желающих быть господами…». Дальше тут художественность подпущена, а вот опять дельное: «Бояться их нечего, стоит только пикнуть, что мы не боимся; потом против нас несколько тысяч штыков, которых не смеют направить против нас. Вот и все. Что же тут страшного?.. Имейте в голове одно, — Баллод многозначительно поднял палец, — стрелять в нас не смеют, — из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт».

Он аккуратно сложил прокламацию.

— Так-то, брат. Пока ты киснешь да кропаешь статейки, мы действуем. Представь: сегодня утром актовый зал оказался заперт. Ключей нет, служителей след простыл. Толпа ревет: на сходку, на сходку, а где сойтись? Хорошо, догадались взломать боковую дверь — знаешь, из коридора, стеклянную?

— И взломали?

— А как же! Только осколки брызнули. Набились в зал.

Явился Срезневский. Я, говорит, исправляю должность ректора, я, говорит, профессор и сын профессора, но в душе студент и сочувствую студентам, однако не лучше ли, господа, разойтись.

— А вы что?

— Ошикали его, разумеется. Сбежал.

— Так ему и надо, — восхитился Писарев. — Всю жизнь сидит на двух стульях, сам презирает и науку, и свое положение в ней, а от других требует уважения. Я еще о нем когда-нибудь напишу.

— Пиши, пиши, — согласился Баллод. — А мы сегодня на сходке постановили окончательно: денег не платить, матрикул не брать, а главное — всем держаться дружно.

— Так до сего часа и ораторствовали? Ты, наверное, есть хочешь. Я сейчас попрошу у Евгении Александровны распорядиться насчет чаю.

— Не стоит, я спешу, — отмахнулся Баллод. — Кто это Евгения Александровна? Ах да, супруга твоего Попова. Нет, я обедал. Сходка не продолжалась и часу. А потом мы еще потолковали кое с кем.

— Больно уж вы, Петр Давидович, таинственные сегодня.

— На то мы и заговорщики, — отшутился Баллод. Но видно было, что ему очень хочется о чем-то проговориться. — Ладно, — решился он вдруг, — только тебе и под величайшим секретом, хорошо? Тебе не доверять — кому же тогда? Почти год прожили дверь в дверь.

— Знаешь, ты лучше не рассказывай свой секрет.

— Не обижайся, Писарев. Это дело такое… Ты сам сейчас поймешь. Одним словом, собрались мы — несколько человек студентов: юристы, историки, филологи, от естественников один я. Хотели без шума решить, что делать дальше. И присутствовали двое сотрудников… — он замялся, — одного журнала.

— Неужто сам Чернышевский?

— Не угадал. Его, говорят, и нет еще в Петербурге. Не в именах дело. Впрочем, действительно, оба из «Современника». И вот один из них спрашивает: есть у вас триста человек, на все готовых? Мы отвечаем — есть. Тогда он и говорит… — Баллод наклонился к Писареву и досказал шепотом: — За чем же, говорит, дело стало? Напасть на Царское Село, захватить Николая Александровича и по телеграфу потребовать от царя конституции под угрозой смерти наследника. Сразу шелковый сделается. А вы, говорит этот Анто… тьфу, не хотел, да само выговорилось. Ну да, Антонович. Вы, мол, пустяками занимаетесь, матрикулами.

— Что он, с ума сошел? — так же тихо спросил Писарев. — Там же войска, в Царском Селе.

— Вот то-то и оно. Призадумались и мы. Решили выждать, как дальше поведет себя начальство. Что-то будет в понедельник? А пока прощай, мне еще в одно место надо заглянуть.

Он ушел, веселый, как обычно. Писарев даже позавидовал: легкий человек этот Петр Баллод, сын православного священника из латышей. Здоровый — кровь с молоком, одет всегда с иголочки, всегда при деньгах, и барышни его любят, и друзей целый город. Что бы ни случилось в университете — без него не обходится. Вот и теперь… Что-то будет в понедельник?

В понедельник, двадцать пятого сентября, двери университета оказались закрыты на замок, и на них было прибито объявление, что чтение лекций прекращено впредь до дальнейших распоряжений. Собравшиеся студенты толпой повалили на большой университетский двор. Приставили к стене деревянную лестницу, и с перекладин этой лестницы было сказано несколько речей. Через час постановили — идти всем университетом к попечителю на Колокольную.

Чтобы не подать полиции повода вмешаться, шли тротуаром, попарно и по трое, соблюдая дистанцию. Невский был потрясен. Движение экипажей замедлилось. Какой-то француз-парикмахер выбежал из своего заведения, восклицая: «Это революция!». Полицмейстер ехал на дрожках позади колонны.

Полурота конных жандармов примчалась на рысях к Владимирской площади: попечитель жил отсюда в двух шагах. В самой Колокольной улице выстроилась зачем-то пожарная команда. Казалось, столкновение неминуемо. Однако все обошлось. Генерал Филипсон сказал студентам, что готов их выслушать — не всех разом, а нескольких депутатов, и не на улице, а в стенах университета. После некоторых препирательств (генерала заставили дать слово, что депутаты не будут наказаны) колонна тронулась обратно, соблюдая прежний порядок. Впереди ехал попечитель, сзади — жандармы. Уличные мальчишки кричали: «Бунт!», «Поляки бунтуют!» — и пронзительно свистали.

Вернулись на университетский двор, оцепленный уже войсками. Выбрали депутацию для переговоров с попечителем. Ожидали, чем кончится. Кончилось ничем: возвратившись, депутаты объявили, что университет откроется второго октября, когда будут готовы матрикулы, что попечитель выразился так: отменить новый устав он не властен, а если студенты не хотят подчиняться — это их дело. Впрочем, никто не пострадает — при условии, что толпа немедленно разойдется.

Делать было нечего — разошлись. В ту же ночь депутаты, говорившие с попечителем, а также еще несколько студентов — всего двадцать шесть человек — были арестованы. На следующую

ночь — новые аресты. В среду студенты опять собрались на университетском дворе, составили протестующий адрес министру Путятину и выбрали депутатов, которые должны были его вручить. После этого двор был занят солдатами Финляндского полка, университет оцеплен, депутаты арестованы. Студенты постановили каждый день около двух часов пополудни встречаться на Невском. Они бродили взад и вперед по тротуарам, сбивались в кучки, передавали друг другу, кто еще схвачен прошедшей ночью и кого следует опасаться как шпиона, а также спорили о том, что делать дальше. В газетах появилось объявление министра: желающие продолжать занятия в университете должны взять матрикулы и прислать прошение об этом по городской почте на имя ректора; не приславшие прошений исключались из списков как добровольно оставившие университет. Это был ловкий ход, и следовало ожидать, что второго октября, когда возобновятся занятия, найдется не одна сотня матрикулистов, а нематрикулисты попытаются помешать им войти в университет. Между тем ночные аресты продолжались. Сотни семейств жили в постоянной тревоге и негодовании. В знак сочувствия к студентам молодые дамы носили синее — цвет студенческих воротников: синие платья и синие шляпки встречались на каждом шагу. Даже некоторые офицеры и чиновники щеголяли в синих галстуках или с синими ленточками на шляпах. И Писарев нахлобучил свою старую студенческую фуражку, отправляясь к Благосветлову с готовой статьей.

— Зря бравируете, — строго сказал Благосветлов. — Помните прокламацию к молодому поколению, которую я вам показывал? Михайлов сознался, что он автор. Дело его на днях слушается в Сенате. Приговор, скорее всего, — каторга. Сейчас берут студентов, а того и гляди за литераторов примутся. Этот ваш приятель, Баллод, еще не арестован? Странно. В сущности, Дмитрий Иванович, нечего вам делать сейчас в Петербурге. Отправляйтесь-ка лучше за своей невестой. Она ждет.

— С чего вы это взяли?

— Письмо от нее получил. Удивлены? Раиса Александровна ответила мне почти тотчас. Умная, кажется, женщина, а вот не понимает своего счастья. Словом, поезжайте к ней. И коли хотите послушать моего совета — поступите по-мужчински: засверкайте глазами, схватите в охапку и привезите свое сокровище сюда. Да вы мне словно не верите? Вот ее письмо, читайте сами.

Раиса благодарила Григория Евлампиевича за внимание к ее литературным трудам и за участие в судьбе ее кузена. Она выражала надежду, что сумеет приехать в Петербург, как только

позволят обстоятельства. Не будучи знакома с г-жой Поповой, которая так любезно приглашает ее в свой дом, она пока что не может ответить согласием и просит дать ей время подумать. Несколько строк были адресованы лично Писареву. Раиса довольно ласково бранила его: зачем он не решился написать ей сам? Она ведь не запрещала этого, а только не хотела бесполезных объяснений. Решение ее по-прежнему неизменно, однако замужество ненадолго откладывается, и если он обещает быть благоразумным, очень может быть, что они увидятся еще в этом году.

— А ведь это славно, — засмеялся Писарев. — Григорий Евлампиевич, вы кудесник и дипломат. Как же это все про вас говорят, будто вы дикий зверь?

— А я и есть дикий зверь. Меня даже цензоры боятся. Вон в «Схоластике» вашей только и вымарали что две строчки. Но не могу же я допустить, чтобы человек с такой отличной складкой ума, как у вас, — вы знаете, я без обиняков, подольщаться не приучен, — чтобы мой сотрудник, преданный «Русскому слову», спился с кругу или в пропаганду ударился из-за несчастной любви. Я ведь знаю от Попова, как вы по вечерам скучаете. Короче говоря, поезжайте за вашей невестой…

— Бывшей моей невестой…

— Ну, за кузиной, как хотите. Отправляйтесь. Денег сколько нужно возьмете в конторе.

Этот разговор состоялся двадцать девятого сентября.

Назавтра в полдень Писарев сел на тверской поезд и еще через сутки был уже в Яковлевском. Он хотел подгадать ко второму октября. Но Раиса и не вспомнила, что это день его рождения, — так была раздосадована и смущена. Он нарушил приличия, незваным явившись в этот дом, и ей было неловко перед хозяевами. И Вера Клименко, урожденная Гарднер, и муж ее были, как видно, наслышаны о бывшем женихе своей будущей родственницы. В их гостеприимстве сквозила насмешка, точно он был Дон-Кихот, а они — владетельные особы, от скуки подыгрывающие нелепому, но безобидному сумасброду.

Писарев, как и следует Дон-Кихоту, не замечал, что над ним потешаются, и добродушно хвастал своими статьями, дружбой Благосветлова, нападками ретроградных журналов, большими заработками. Он хотел расположить к себе новых друзей Раисы, а те, оставшись одни, гадали вслух, откуда в нем такое откровенное самодовольство, глуп он или помешан, и спрашивали мнения Раисы, и, конечно в шутку, удивлялись ее вкусу. Она страдала — и за себя, и за него, — раскаивалась, что отвечала Благосветлову, и ужасалась при мысли о том, что могло произойти, если бы

Евгений Гарднер вдруг вздумал оставить Москву, где он улаживал какие-то денежные дела, и тоже приехал бы. Она дерзила Писареву и смеялась над ним в глаза, но он, как ни в чем не бывало, изо дня в день уговаривал ее принять предложение Поповой и отправиться с ним в Петербург, да еще призывал супругов Клименко в свидетели, что он настаивает на этом в ее же интересах.

> «Ах ты, господи, смешно и досадно вспомнить, — писала потом Коренева. — А мы с Верочкой имели наивность всему этому поверить, пока нас не разубедил ее муж. Тогда я отказалась ехать. И чего, чего тут не было. Каких аргументов, каких уверений, что никаких искательств не будет, а что надо же мне составить себе какое-нибудь самостоятельное положение (что было совершенно справедливо), а тут предполагались журнальные работы, о которых мне писал Благосветлов. Наконец, доходило до таких тонкостей, что Митя обещал не оставаться у Поповых, как я перееду к ним, и переселиться к Благосветлову. На этом я не стала настаивать, потому что, права я или нет, но всегда ставила себя выше подобной дрязготни».

Писарев провел в Яковлевском неделю с лишним и уехал, ничего не добившись. Правда, на прощанье Раиса обещала ему, что еще подумает, прежде чем отказать Благосветлову и Поповой окончательно, и что, во всяком случае, будет отвечать на письма. С тем он и воротился в Петербург вечером двенадцатого октября.

У Поповых сидел Благосветлов. Играли в карты. Впрочем, их тут же смешали. Писарева заставили хватить рюмку водки, напоили чаем, принялись утешать.

— Экая беда, подумаешь, — ворчал Благосветлов. — Что же вы хотели, чтобы она прямо так и снялась с места по первому вашему слову? А характер-то выдержать надо, как по-вашему, или нет? Сами же говорите, что наотрез не отказала. Значит, поддается помаленьку. А теперь мы предоставим действовать Евгении Александровне. Она это все поумнее нас обделает, только попросите ее хорошенько.

— И просить не надо, — умильно улыбалась Попова, — романтические истории такая редкость в наш век, и я так восхищена вами, Дмитрий Иванович. Конечно же, я буду еще и еще писать вашей милой кузине. А то и сама съезжу к ней — познакомиться. Готова держать пари, что мы с нею сделаемся друзьями. Как я понимаю ее характер!

— Съездить — лучше бы всего, — обронил Благосветлов. —

Вот увидите, Дмитрий Иванович, все устроится отлично. Грех вам унывать. Такую отличную статью сработали. Я Василию Петровичу давал читать, так он положительно в восторг пришел.

Попов дружелюбно кивнул Писареву:

— Статья и точно превосходная. Читать ее будут взахлеб, особенно в провинции. И до чего кстати она сейчас, когда идет подписка.

— Одно только, — протянул Благосветлов, — больно уж вы, как бы это сказать… снисходительны к Гончарову. Прочли бы, что Герцен о нем говорит. Не поверю, будто вам действительно нравятся эти кружева из пустяков. Сидит чиновник в вицмундире и между разными подлостями вышивает на пяльцах, как губернатор в «Мертвых душах», а россияне умиляются: ах, какой гений. А гения этого Добролюбов выдумал. Вы поразмышляйте об этом на досуге, хорошо? Да что вы такой убитый? Говорю же я вам: все устроится.

— Дмитрий Иванович устал с дороги, — заметил Попов.

— Да, идите-ка, голубь мой, почивать, — поднялся Благосветлов, — и мне пора. Денек выдался поистине ужасный. Вы же ничего не знаете, Дмитрий Иванович. Перед университетом сегодня было настоящее побоище. Рота Преображенского полка и конные жандармы против толпы студентов. То есть формально они уже не студенты: те не взяли матрикул, эти взяли да потом и разорвали их торжественно прямо на университетском дворе. Арестовано человек до трехсот. Один ранен штыком, другому жандарм отрубил ухо. Евгений Лебедев — он, говорят, кандидат, окончил в этом году вместе с вами…

— Да, я знаю его. Он приятель Баллода. Что с ним?

— Лебедев в больнице. Ему разбили голову и разрубили скулу. А Баллода вашего я нынче не видел.

— Взят?

— Совсем напротив. Говорят, к матрикулистам присоединился и мирно посещает лекции. А впрочем, время сейчас такое, что наверное ничего утверждать нельзя.

— По слухам, Чернышевский сидит в крепости. Добролюбова будто бы пощадили потому, что болезнь его смертельна, — ввернул Попов.

— Ну вот, видите. О Чернышевском неправда, он был сегодня на университетской набережной, а его хороший знакомый Обручев действительно уже с неделю как взят. Если так пойдет, Василий Петрович, и нам с тобою не сносить головы, да и нашего юного друга не помилуют. Сидите тихо, Дмитрий Иванович, слышите?

Осень была обычная петербургская, так верно изображенная Федором Достоевским еще в «Двойнике». С конца октября начались морозы при сильном северо-восточном ветре. В обществе говорили, что студентам холодно в казематах и что многие уже простудились. «Тюрьма», «приговор», «каземат» сделались вдруг самыми обычными словами в светской беседе. «Записки из Мертвого дома» Достоевского, только что появившиеся в его журнале, читались нарасхват. Родственники арестованных осаждали крепость, плац-адъютанты сбились с ног, передавая молодым людям теплое платье, съестные припасы, сласти. Перед воротами с утра выстраивалась вереница экипажей: одетые в черное дамы с заплаканными глазами желали видеть коменданта, чтобы просить его о послаблениях в тюремном распорядке. Комендант уверял, что послаблений сделано больше чем нужно, и родители арестованных юношей с гордостью передавали друг другу, что дети держатся храбро и весело, даже разыгрывают в казематах настоящие оперные спектакли.

И то сказать: их же там несколько сот юношей, никакому начальству не справиться. Даже на Иоанновских воротах кто-то мелом написал: «СПБ Университет». Зато в самом университете было безлюдно: из семисот человек подавших прошения ходили на лекции едва ли не семьдесят, и все их осуждали. Многие профессоры также избегали появляться в университете. Что будет дальше, никто не знал. Ждали приезда государя.

Он воротился из Ливадии в Царское Село раньше намеченного срока, и следствие над арестованными студентами пошло быстрее, а петербургский генерал-губернатор Игнатьев был заменен светлейшим князем Суворовым — личным другом царя и человеком, по общему мнению, весьма гуманным. В этом увидели доброе предзнаменование. Надеялись, что и Михайлов, которого суд Сената приговорил к двенадцати с половиной годам каторги, будет помилован. В новой прокламации «Великорусса», присланной в редакцию «Русского слова», допускалась вероятность мирного развития событий. Таинственный комитет предлагал, чтобы патриоты, не прибегая покамест к насильственным действиям, добивались конституции влиянием общественного мнения: подали адрес на имя государя (и проект прилагался — «в самом умеренном духе, чтобы все либеральные люди могли принять его»), — и тогда, быть может, Александр II убедится, что только правительство, опирающееся на свободную волю самой нации, способно «совершить те преобразования, без которых Россия подвергнется страшному перевороту».

Благосветлов соглашался с Писаревым, что прокламация составлена очень умно. Они в последнее время много

разговаривали о самых различных предметах и все чаще сходились во мнениях. Благосветлов стал яростным сторонником теории эгоизма и даже в политических обозрениях проводил теперь вслед за Писаревым (как тот — вслед за Бюхнером, Фогтом и Молешоттом) взгляд на жизнь как на бесконечную, непрерывную цепь химических реакций, как на процесс бесцельный и безличный.

Этот резкий, несговорчивый человек был с Писаревым заботливей няньки: дарил ему книги, приезжал вечерами, чтобы сыграть с ним в карты по маленькой, развлекал рассказами об Англии, о Герцене, о своей злосчастной бурсацкой юности.

А Писарев читал ему отрывки из новой статьи, в которой хотел определить положение главных светил на литературном небе: Тургенев гораздо выше Гончарова, Писемский несколько выше Тургенева. Начал он исподволь, стараясь быть справедливым, но потом увлекся и не оставил от романов Гончарова камня на камне. Исходную мысль он взял у Герцена: дескать, автор «Обломова» и «Обыкновенной истории» большой мастер никому не нужных подробностей.

> «Гончаров открывает вам целый мир, но мир микроскопический; как вы приняли от глаза микроскоп, так этот мир исчез, и капля воды, на которую вы смотрели, представляется вам снова простой каплей».

Герцен тоже писал о микроскопе, однако не задевал личности автора. Писарев прямо перешел к характеру Ивана Александровича Гончарова:

> «Он холоден, его не волнуют и не возмущают крупные нелепости жизни; микроскопический анализ удовлетворяет его потребности мыслить и творить; на этом поприще он пожинает обильные лавры, — стало быть, о чем же еще хлопотать, к чему еще стремиться?»

В литературе Гончаров — сама благонамеренность; можно подумать, что он нарочно поставил себе целью опошлить, оглупить, разменять на пустяки все те идеи, которые волнуют общество. Вот говорят, что Обломов похож на Рудина или Бельтова. Но чем же? Бельтов и Рудин — люди, измятые и исковерканные жизнью, «а Обломов — человек ненормального телосложения». Драма убеждений подменена драмой темперамента. И так всегда у Гончарова. Он подражает лучшим писателям, таким, как Тургенев, но филистерское благодушие, казенный оптимизм заставляют его выдумывать героев, которых

на свете не бывает, и обходить стороной правду жизни.

> «Если откинуть… благоговение, то надо будет сказать напрямик, что весь „Обломов“ клевета на русскую жизнь, а Штольц… подставное решение вопроса, вместо истинного; попытка разрубить фразами тот узел, над которым, не жалея глаз и костей, трудятся в продолжение целых десятилетий истинно добросовестные деятели. Да! Автор „Обыкновенной истории“ напрасно прикинулся прогрессистом. Обращаясь к нашему потомству, г. Гончаров будет иметь полное право сказать: не поминайте лихом, а добром нечем!»

Он с наслаждением писал эти неслыханные дерзости, не заботясь о том, что наживает себе неумолимого врага. Он ликовал: давно ли Добролюбов напечатал свою «Обломовщину» — всего-то два года прошло. Тогда казалось, что глубже этой статьи ничего и быть не может, и Писарев сам тихонько подпевал ей в «Рассвете», расхваливая Гончарова на все лады. Тогда Гончаров был первый беллетрист, а Добролюбов — лучший критик, а Писарев — обыкновенный студент, прирабатывающий рецензиями в жалком журнальчике. И вот как все переменилось: кандидат университета Дмитрий Писарев просто за ногу тащит с Олимпа развенчанного классика и спорит с Добролюбовым во всеуслышание, как равный. Тот, наверное, вступится теперь за «Обломова».

— Не вступится, — угрюмо сказал Благосветлов. — Скончался Николай Александрович. Сегодня в «Северной пчеле» некролог. Послезавтра похороны.

Человек пятьдесят, все больше литераторы, вереницей брели от свежей могилы по обындевелым доскам, проложенным меж полузатонувших в болоте крестов.

— Литераторские мостки-то, — невесело пошутил незнакомый Писареву господин.

Кладбищенский священник услышал, обернулся:

— Справедливо. Уже несколько сочинителей погребены здесь. И рядом с Виссарионом Григорьевичем и Николаем Александровичем есть еще одно место.

— Места хватит! — хрипло выкрикнул Чернышевский. — Да человека такого в России нет, понимаете ли вы это?

Подошли к церкви, сгрудились на паперти.

С полминуты еще толпа постояла в молчании под мокрым, вкось летящим снегом, потом распалась. Писарев вышел за ворота

вместе с Благосветловым и Баллодом. Он познакомил их с месяц назад, и, судя по всему, они успели сойтись довольно коротко. Все время, пока длилась панихида, оба сновали в толпе, обступившей могилу, собирая деньги для Михайлова, которому предстояло вскоре отправляться на каторгу — царь только наполовину скостил ему срок.

И в полумраке извозчичьей кареты, пока они подсчитывали собранные деньги и обменивались новостями, Писарев думал о Добролюбове — какое детское лицо у него без очков, в какую стылую черную жижу плюхнулся некрашеный гроб, и как страшно, должно быть, умирать молодым. Бедный Бов! Парадоксальный ум, презиравший современников, которые ищут благополучия в трагическом веке и надеются на личное счастье в несчастной стране!

В ранних сумерках, перемешанных с метелью, затеплились городские фонари. Писарев напомнил себе, что Раиса не сегодня-завтра будет в Петербурге, и улыбнулся.

Она появилась через два дня — двадцать третьего ноября. Евгения Александровна сама съездила за нею в Яковлевское и привезла ее с собой, как обещала. Раиса поселилась в квартире Поповых на правах компаньонки. Она все еще влюблена была в своего Гарднера, все еще собиралась за него замуж, и ждала его писем, и говорила, что свадьба отложена только до весны, — а все-таки она была тут, жила в соседней комнате, с нею можно было видеться каждый день.

— Вот и отлично, — приговаривал Благосветлов, — дома и стены помогают. Главное теперь не спешить с объяснениями, выдержку дать. Помяни мое слово, Дмитрий Иванович: сама одумается.

Брудершафт они выпили накануне, сразу же после визита к Чернышевскому. Григорий Евлампиевич не пустил Писарева одного, и правильно сделал. Как и следовало ожидать, после смерти Добролюбова «Современник» затеял переманить к себе восходящую звезду. Но не тут-то было. Увидав, что Писарев явился не один, а вместе с Благосветловым, Николай Гаврилович, как умный человек, сразу понял, что ничего не выйдет. И лестное предложение свое произнес без всяких вступлений, тоном почти высокомерным, как бы нехотя. И когда Писарев принялся объяснять, что чувство нравственной деликатности не позволяет ему оставить журнал, которому он обязан своей известностью и направление которого полностью разделяет, Чернышевский только вежливо отозвался, что такие принципы делают честь молодому литератору, и переменил разговор, посетовав на

цензурные строгости: «Современнику», как и «Русскому слову», объявили третье предостережение. Через несколько минут гости удалились.

В этот день Благосветлов со слезами на глазах объявил, что хотя, собственно, восхищаться поступком Писарева нечего: он поступил как должно благородному человеку, только и всего, — но он, Благосветлов, никогда этого не забудет.

И граф Кушелев, которому Благосветлов все рассказал, благодарил молодого сотрудника за преданность «Русскому слову». И было решено, что с декабря Писарев станет помощником редактора по части поэзии и будет получать полтораста рублей серебром в месяц. И вечером Писарев с Благосветловым выпили на ты.

Теперь наконец можно было вздохнуть спокойно. Положение Писарева в литературе и в жизни установилось прочно, денег хватало, несмотря даже на карточные проигрыши, печатать можно было все, что удастся сочинить, а сочинялось легко, — и Раиса жила в соседней комнате.

И политическая погода в декабре не то чтобы прояснилась — а все же подул некий либеральный ветерок. Так, во всяком случае, говорил Благосветлов.

— «Отечественные записки», — ораторствовал он в новогоднюю ночь, стоя у камина с бокалом в руке, — напечатали Диккенсов роман «Большие ожидания». Это название как нельзя лучше подходит к настоящей минуте. Все чего-то ждут, все недовольны, все понимают, что неизбежны перемены. Крепостники негодуют на правительство, которое будто бы их разорило. Лучшие из помещиков, напротив, открыто заявляют, что крестьянская реформа не удовлетворила народных потребностей. Тверское дворянство даже предлагает правительству созвать собрание выборных от всего народа без различия сословий. Поляки требуют для Царства Польского государственной самостоятельности. Журналисты восстают против цензуры. Молодежь волнуется…

— Еще бы ей не волноваться, — заметил Попов.

— Что же делает власть? — Григорий Евлампиевич оглядел своих слушателей. Новый год встречали, можно сказать, в семейном кругу: чета Поповых да Писарев с Кореневой. — Как власть себя ведет? — И сам ответил: — Она бросается из крайности в крайность. Михайлова отправляют в Сибирь, надев кандалы вопреки точному смыслу закона. Зато студентов освобождают из крепости толпами. Университет закрыт, но Путятин смещен, и министерство перешло к Головнину, а это

значит, что партия константиновцев победила. Тверских мировых посредников отдают под суд, но просят у редакций журналов совета относительно необходимых преобразований в цензурном ведомстве.

— Ты не шутишь, Григорий Евлампиевич? — удивился Писарев.

— Нисколько не шучу. Вчера я был у Головнина, и он заверил меня, что цензурная реформа — дело решенное. Занятный господин. Не похож на сановника, в журналистах чуть ли не заискивает. Между прочим, дал мне прочесть брошюру какого-то Шедо-Ферроти. Вот, говорит, если бы все так понимали, чего мы хотим от литературы.

— И что же это за необыкновенная брошюра?

— Представьте себе, Евгения Александровна, — о Герцене.

— Не может быть. На русском языке?

— Ну что вы. Писано по-французски, издано за границей. Этот Шедо-Ферроти — псевдоним, конечно, — агент нашего министерства финансов в Брюсселе.

— Так это пасквиль, поди? — спросил Василий Петрович.

— Не угадал. Штучка весьма хитрая. Об Александре Ивановиче говорится с восхищением и даже сладко.

— И министру понравилось?

— Видишь ли, главная мысль автора та, что Герцен, при его таланте, мог бы принести России огромную пользу, ежели бы не просто отрицал существующий порядок вещей, а указывал правительству на недостатки, подлежавшие исправлению.

— Можно подумать, что он не указывает, — хохотнул Писарев.

— Вот-вот. Шедо-Ферроти упрекает Герцена: зачем он требует таких вещей, которые возможны, дескать, через тысячу лет, и зачем он так бранится? Правительство, мол, само преисполнено благих намерений, нужно ему помочь, а не нападать на него.

— Так он подкуплен, этот Шедо-Ферроти! — крикнул торжествующе Писарев. — Он агент Головнина, не министерства финансов.

— Похоже, что так, Дмитрий Иванович. Но ты сам рассуди, что это значит? За Головниным стоит великий князь, вокруг него партия либералов, которая пришла теперь к власти. Как же шатко их положение, коли считают нужным задабривать Герцена комплиментами? Вот я и говорю: новый, тысяча восемьсот шестьдесят второй год, за наступление коего мы сейчас, надеюсь, выпьем, обещает нам непредвиденные события. Будем надеяться, что они обернутся к лучшему для России, для «Русского слова» и для каждого из нас. Позвольте чокнуться с вами, тишайшая Раиса

Александровна!

Глава десятая
1862

Вспоминая впоследствии об этой зиме, Писарев признавал, что проиграл ее в карты. Но тогда, в январе и феврале, ему казалось, что проигрыш сугубо денежный.

Он задолжал в общей сложности около двух с половиной тысяч рублей, однако не унывал: и Попов, и Кушелев соглашались ждать сколько угодно и продолжать игру на слово, с Благосветловым ничего не стоило расплатиться статьями, а прочие долги были мелкие. Писарев играл не ради денег, а для того, чтобы усыпить точившую его неясную, беспричинную тревогу. Но он не замечал этого и даже похвалялся новой страстью перед Раисой: дескать, никакой он не флегматик. Она отвечала колкостями, не скрывая, что за последние три месяца совсем разочаровалась в нем.

> «Вы Митю идеализируете, право же, идеализируете, — писала Раиса Варваре Дмитриевне, — еще больше хотелось бы мне убедить вас, что его чувство ко мне вы видите несравненно сильнее и горячее, чем оно есть на самом деле… Он меня, конечно, все-таки любит, это так, и присутствие мое доставляет ему несомненное удовольствие, но карты гораздо больше… Вообще, когда он замечает за собою, что в нем копошится какое-нибудь чувство, то он этому всегда бывает очень рад и начинает сам над собой умиляться, что вот, в нем, значит, и мягкость, и нежность есть, и тогда он, неумышленно, разумеется, даже усиливает эти чувства. Так где же тут страдание и затаенность, о которых вы говорите? Мама, душенька милая, ну где же они?»

Раиса в Петербурге скучала и тяготилась своим двусмысленным положением. Она считалась компаньонкой хозяйки дома — но услуг не требовалось и жалованья ей не полагалось. Благосветлов не спешил печатать ее повесть и не давал никакой другой журнальной работы. Она чувствовала себя приживалкой и подозревала, что ее хотят взять измором, вынудить ее согласие на брак с Писаревым. Особенная обида заключалась в том, что сам он к этому замыслу был непричастен, полагая, видимо, что Раиса никуда уже от него не денется. Он был поглощен своими карточными подвигами да остроумной

полемикой с московскими журналистами и говорил, как всегда, только о себе.

Она давно уехала бы в Москву, если бы не лекции университетских профессоров.

Еще в декабре все арестованные студенты были выпущены из крепости. Некоторых выслали, другие уехали сами, но все же в городе оставалось около полутора тысяч праздных молодых людей, не окончивших курса.

Между тем, университет был закрыт впредь до утверждения нового устава — то есть никак не меньше, чем на год. Негласный студенческий комитет, состоявший из лиц, особенно отличившихся в сентябрьской истории, решил возродить чтение университетских курсов в форме публичных лекций. Министр Головнин одобрил эту мысль. Лекции читались днем, в залах Думы и Петершуле; всего было двадцать лекторов, читавших тридцать шесть лекций в неделю; были как абонементные, так и разовые билеты. Эти-то чтения — иногда их называли Вольным университетом — и посещала Раиса об руку с мадам Поповой. Они привязывали ее к Петербургу: другой возможности прослушать университетский курс не представилось бы нигде. А в иные вечера, когда Писарев брался объяснить ей какую-нибудь особенно трудную мысль, брошенную очередным лектором, или рассказать что-либо из европейской истории, Раисе даже приходило в голову, что, может быть, друзья и правы: с ним ей обеспечена жизнь разумная и уютная.

Второго марта, в четверг, они вместе были на литературно-музыкальном вечере, дававшемся в пользу студенческой кассы: денег у студентов не хватало, несмотря на многочисленные пожертвования из различных источников (Благосветлов, например, объявил печатно, что с каждого рубля, заработанного сотрудниками «Русского слова», отчисляется копейка на пособия студентам). Вечер проходил в зале некоего Руадзе, в его доме на Мойке. Чернышевский выступил с воспоминаниями о Добролюбове, за ним читал свою статью по поводу тысячелетия России профессор Павлов, основатель первых воскресных школ. Ради него Писарев и пришел на вечер: Благосветлов просил взять у Павлова текст и отвезти в типографию — статья должна была пойти в мартовской книжке «Русского слова». Павлов с такой энергией, таким угрожающим голосом кричал свою достаточно невинную статью, что публика в неистовстве топала ногами и ломала стулья. Многие в рядах предсказывали, что теперь автору несдобровать. Вечер закончился многократным исполнением «Камаринской» на четырех роялях одновременно. Писарев взял у Павлова его рукопись и, пока ехали на извозчике домой, объяснял

Раисе, что ничего профессору не будет хотя бы потому, что статья уже цензурована.

Это было в четверг. А в понедельник стало известно, что Павлов арестован и выслан в Ветлугу. Студенческий комитет тотчас предложил всем профессорам в знак протеста прекратить чтение лекций. Решено было объявить об этом восьмого марта в Думе, после лекции Костомарова.

— Потому и выбрали этот день, — объяснял Баллод, — что на его лекции народу ходит больше всего. Но зато и скандал получился грандиозный. Едва Костомаров кончил говорить, взбегает на кафедру мой приятель Печаткин: так, мол, и так, в знак протеста лекции закрываются, хотя некоторые из профессоров намерены продолжать свои курсы. Аплодисменты, свистки, шум страшный. Тут вдруг опять появляется на кафедре Костомаров. Я, говорит, буду продолжать свои лекции. Наука, дескать, должна идти своим путем, не вмешиваясь в житейские дрязги, ну и так далее. Шум пуще прежнего и новые аплодисменты с шиканьем пополам. А из первого ряда Евгений Утин возьми и крикни: «Подлец! Станислава на шею!». И стало вдруг тихо. Все-таки это Костомаров. Все же знают, как он от правительства пострадал и что человек честнейший. Замолчали, смотрим, ждем. А он подошел к самому краю сцены, весь белый. Я, говорит, вижу перед собой Репетиловых, из которых через несколько лет выйдут Расплюевы. Рев поднялся просто невообразимый. Костомаров тут же уехал, но никто не расходится. Про то, что лекции закрываются, никто и не вспоминает, словно это пустяк какой. Но зато все негодуют: как смел Николай Иванович оскорбить молодежь! Тут же и адрес против него составляют презрительный, с угрозами даже. Дескать, пусть попробует на следующую лекцию прийти — солеными огурцами забросаем, яблоками мочеными. Я кричу: господа, как не стыдно, мы же первые его оскорбили. Смеются — мол, расчувствовался Баллод. Ну что ты станешь делать! Плюнул и ушел. А история скверная. Уронит нас эта выходка во мнении общества, вот что. А ежели Костомаров вправду решится продолжать лекции? Одна надежда — Чернышевский как будто взялся отговорить его и помирить со студентами.

Через день лекции были закрыты правительственным распоряжением. Споры о думской истории, однако, не прекратились. Репутация Костомарова в глазах молодежи погибла, но и восторг сочувствия, с которым после сентябрьских событий относились к студентам образованная публика и либеральная пресса, поутих.

В эти-то дни, сильно запоздав, появилась февральская книжка

«Русского вестника» с новым романом Тургенева «Отцы и дети». Название пришлось так кстати, словно автор присутствовал восьмого марта в зале Думы. Но все литераторы знали, что роман прислан из-за границы, куда Тургенев уехал прошлым летом, почти сразу после разрыва с «Современником». Говорили также, что в романе осмеян Добролюбов, что суждения из его и Чернышевского статей розданы отвратительным личностям, что «Русский вестник» потому и ухватился за «Отцов и детей». Благосветлов предвкушал жесточайшую журнальную свару и умолял Писарева поспешить с разбором романа.

Покойный Добролюбов отыскивал в художественном произведении авторскую мысль. Как если бы она была растворена во всех частностях — от сюжета до отдельной фразы, — и критику следовало возгонкой добыть эту квинтэссенцию вещи. Затем, найдя ее — или приписав автору свою собственную мысль, — он разлагал ее химическим анализом: из каких впечатлений образовалась? какие стороны жизни отражает? какую пользу может принести? И выводил формулу, да такую общую, что чуть ли не любой роман или пьеса под его пером становились аллегориями, осуждающими современность.

И он был совершенно прав, да только зачем художеством обольщаться? К чему искать эту пресловутую авторскую идею? Мало ли в каком свете представит героя автор, ослепленный эстетическим чувством или предрассудками своего поколения! Поверить какому-нибудь Гончарову или Островскому на слово — и тотчас флегматик, страдающий параличом воли, предстанет благородной жертвой крепостного строя; барышня, которая благоразумно предпочитает ему самодовольного капиталиста из немцев, — окажется идеальным существом, а купчиха, бросающаяся в Волгу оттого, что жить с постылым мужем и лютой свекровью тошно, — эта самая Катерина выйдет воплощением протеста.

Ладно, об этом в другой раз. Пока что мы разбираем новый роман Тургенева. Так вот, какое нам дело до намерений автора? Говорят, Иван Сергеевич хотел представить в смешном и уродливом виде людей нашего поколения. Ну и на здоровье. Мы сумеем сами сличить портрет с оригиналом. Только, опять-таки, зачем? Будь роман действительно пасквилем — это необходимо было бы сделать, чтобы уличить писателя в клевете. И тогда, впрочем, тоже авторская мысль не стоила бы изучения, потому что не была бы художественной.

Но ведь «Отцы и дети» написаны честно. Автор изображает нас такими, как он нас видит. Мы ему не нравимся, он

пристрастен, он подчеркивает в нас неприятные черты. А все-таки не может отнестись без уважения, не может не поставить своего молодого и шершавого героя выше других — пожилых и полированных. Чего же нам еще? Найдется ли в России другой крупный писатель, который взял бы в герои романа юношу, родившегося в тридцать восьмом или тридцать девятом году, едва окончившего курс? Другое дело, что мы того стоим, что в нашем поколении вырабатывается новый тип русского человека. А только и заслугу Тургенева, который первым это заметил, нечего преуменьшать.

Вот и поговорим об этом поколении, об этом новом типе, чем сличать да уличать. Не все ли равно, как положены краски? Евгений Базаров, герой «Отцов и детей», — не является созданием Тургенева. Он не текст, а лицо. Его можно вообразить за пределами романа, в других положениях и в отношениях с другими людьми, не с теми, что у Тургенева. И всякий роман, всякая пьеса или повесть, ежели они чего-нибудь стоят, представляют нам людей, характеры, лица, о которых можно рассуждать как о живых существах, мысленно помещая их в круг нашего знакомства. Они реальны, они — материал, с которым работает художник. Остальное — вымысел, прием. С остальным считаться нечего. Критик вправе взять любого из персонажей за руку и увести из декорации, дать ему другую страсть, другое время жизни. Оттого-то, между прочим, это так занятно — сочинять критические статьи.

Вот, например, герой романа умирает летом пятьдесят девятого года. Это ничего не значит, это только средство, употребленное автором с целью оттенить характер героя, — и мы можем, как ни в чем не бывало, размышлять о его будущности:

> «Если представится другое занятие, более интересное, более хлебное, более полезное, — он оставит медицину, точно так же, как Вениамин Франклин оставил типографский станок».

Смерть героя отменяется. Призвание его расширяется безгранично. Евгений Базаров в той жизни, что была дана ему и затем отнята у него Тургеневым, значился лекарем и резал лягушек. Теперь, через два с половиною года после мнимой его кончины, выясняется, что по натуре он политический деятель.

> «…Но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы: внешние усовершенствования не победят его упорного

скептицизма; он не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь…»

Да, читатель, ведь вся жизнь у Базарова еще впереди.

«…всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений. Если же в сознании, а следовательно, и в жизни общества произойдут желаемые изменения…»

Теперь понятно, к чему сравнение с Франклином? Как-никак на дворе весна шестьдесят второго года. Или случайная оттепель, кто знает! Но если желаемые изменения произойдут — «тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми…».

Ясно вам, что такое Базаров? Забудьте про его ланцет, про его красные, мужицкие руки, про неотесанные манеры. Забудьте его невежественные суждения о Пушкине (что верно, то верно, повторяет он их с голоса Добролюбова, тут явная пародия). Это все черты случайные, они выражают антипатию автора к герою — только и всего. Базарова нетрудно представить и джентльменом, и, если угодно, филологом, — это не имеет значения. Можно даже страсти в нем поубавить — все равно страсть когда-нибудь пройдет. Базаров не персонаж романа и даже не характер. Базаров — это роль. Историческая роль, которую неизбежно вынужден играть в наше время человек выдающегося ума и сильной воли.

В романе как-то не очень видно, до чего Базаров умен. А ведь он должен додуматься не только до отрицания всего строя современной жизни, всего порядка вещей, — но и до мысли, что освобождение народа начинается с самоосвобождения личности. И он свободен, Базаров, — оттого обычные люди кажутся рядом с ним карликами или детьми; когда он хочет с ними поговорить, он нагибается.

Твердая воля Базарова тоже проявляется не только в том, что прочие персонажи перед ним пасуют, не только в мужестве, с каким он идет на дуэль или встречает смерть. Помимо этих уловок романиста, в реальности Базарову надо иметь нечеловеческую силу, чтобы переносить одиночество и безнадежность.

«„Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и

не давая ему над собой никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне нет до него никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать".

Это холодное отчаяние, доходящее до полного индифферентизма и в то же время развивающее отдельную личность до последних пределов твердости и самостоятельности, напрягает умственные способности… Не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений…»

Кажется, такой анализ чересчур сбивается на исповедь, на рассказ о том, как была написана «Схоластика девятнадцатого века»? Что ж, Базаров вполне объяснил бы Павлу Петровичу Кирсанову самую суть нигилизма одной-единственной фразой из «Схоластики»: «Что можно разбить, то и нужно разбивать». Кстати, тут одно любопытное совпадение. Катков в своем журнале — том самом, где теперь напечатаны «Отцы и дети», — потешался над этой фразой, совсем как Павел Петрович над словами Базарова, и говорил «о демоническом хохоте, о беззаветном отрицании, о бессмысленных бреднях, как выражении прогресса, юности и жизни». И между прочим бросил в Писарева и других петербургских свистунов редким словечком. «Эти жалкие явления гордятся и любуются своим нигилизмом», — писал Катков.

Это было почти полгода назад, и вот теперь тургеневский Базаров поднимает слово, которым целились в Писарева. Вы скажете, что это случайность? Как знать.

— Я другое скажу, — качал головою Благосветлов. — Статья прекрасная, но бить нас будут за нее со всех сторон, свои и чужие. Чудно получается, Дмитрий Иванович. Выходит, что Тургенев метил в Добролюбова, но попал в тебя, а ты и рад. Так, что ли?

— Ах, да не слушайте вы Митю, Григорий Евлампиевич, — говорила Раиса. — Какой он Базаров? Уж скорее похож на младшего Кирсанова. Такой же ручной, румяный, домашний. Ну, сознайся, Митя, что я права. Оттого ты и напяливаешь на себя эту шаржу, эту карикатуру так важно, словно трагическую маску. Ведь правда?

Писарев молчал. Он знал уже, почему Раиса притворяется безжалостной. Евгений Гарднер, этот ее жених, приехал за нею в Петербург. Наверное, она сама его вызвала письмом. Впрочем,

теперь это уже не имело значения. Все было кончено, все решено. Венчание — восемнадцатого апреля. До тех пор Раиса поживет у тетушки Натальи Петровны. Евгений Николаевич Гарднер — сама любезность, воплощенное добродушие — сочтет за честь, ежели кузен его невесты согласится быть его шафером. Писарев отвечал ему дерзко, презрительно и спокойно, совсем спокойно. Как Базаров. Ведь Базаровы не плачут. Они умеют жить без любви и надежды. Но к статье своей он прибавил несколько строк — вместо письма:

> «А Базаровым все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви, — стало быть, нет и наслаждения.
>
> Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно.
>
> А что же делать? Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры».

И поставил дату: «1862 г. Март».

Потом с временем что-то случилось: несмотря на резкие усилия, жизнь подвигалась вперед страшно медленно, как человек, зашедший в воду по горло. И весь окружающий мир казался мучительно и опасно бесцветным, точно пламя свечи на солнцепеке.

Все это уже было с Писаревым более двух лет тому назад, когда он заболел. Но тогда ужас не давал ему поднять голову, а теперь было почти весело: он чувствовал себя огромным, очень сильным, неуязвимым, легким; хотелось дразниться: показать кому-нибудь язык или дать щелчка; или завыть прямо на улице по-волчьи — так, шутки ради. Отчего же человеку, вполне владеющему собою и уверенному в себе, настолько превосходящему остальных людей, что они даже выглядят не совсем настоящими, — отчего бы Гулливеру или Базарову не позабавиться, очутившись в ничтожном, фарсовом сюжете? Разве это все происходит на самом деле, именно с ним?

Четвертого апреля он отправил Гарднеру письмо с эпиграфом «Дуракам счастье» — почти бессмысленный набор бранных выражений. Какое это блаженство — с вежливой улыбкой,

невозмутимым тоном повторять ненавистному красавчику нестерпимые оскорбления, — как приятно «подбавить капельку горечи в ваше незаслуженное счастье, которое достается вам на долю только потому, что теперь весна пробуждает чувственность женщин и усыпляет мозговую деятельность». Он писал это с таким чувством, точно парит по воздуху.

Но Раиса передала ему через Евгению Александровну, что ежели он будет вести себя как мальчик, у которого отняли любимую куклу, то больше никогда ее не увидит.

Писарев отвез в гостиницу, где остановился Гарднер, другое письмо, в котором смиренно просил извинить его поведение, вызванное приступом душевной болезни. Что еще оставалось делать? Что ему оставалось, кроме литературы, преферанса да разговоров в Шахматном клубе? И он писал статью за статьей, проигрывал гонорар за гонораром и с увлечением вникал в события, занимавшие литературный мир: издатель «Искры» Степанов вызвал Писемского на дуэль за грубый выпад в фельетоне, и Писемский поспешно уехал за границу; студент Пиотровский, сотрудничавший в «Современнике», застрелился, доведенный до отчаяния долгами; «Искра» и «Современник» пушат Тургенева за «Отцов и детей»; Шедо-Ферроти издал новую брошюру, опять о Герцене, в которой укорял лондонского изгнанника за политическое тщеславие: напрасно, мол, Герцен кричит на всю Европу, что правительство якобы собирается подослать к нему убийц, он и сам в это не верит, а просто рисуется, чтобы сорвать европейский аплодисмент.

— Теперь уже никто не усомнится, что этот Шедо-Ферроти — наемное перо, платный литературный агент Третьего отделения. Двадцать лет даже имя Герцена нельзя было произнести вслух — и вот оно красуется на брошюре, которая чуть ли не открыто продается во всех книжных лавках. Ясно, что тут покровительство, тут рука Головнина. Хотели уговорить Герцена содействовать правительству — не вышло. Хотели запугать — не удалось. Теперь они пытаются его вышутить, представить честолюбивым фразером. Это Герцена-то! Мы толкуем о глупостях, на которые пускаются люди, не уважающие себя, — о дуэлях и самоубийствах, а в это время правительство засылает в литературу своих лазутчиков и шпионов, чтобы скомпрометировать и погубить лучших наших деятелей. Этот Шедо-Ферроти — просто негодяй, того же поля ягода, что Всеволод Костомаров, по доносу которого Михайлов пошел в Сибирь. Хороша же власть, принимающая услуги таких людей!

Писарев говорил все это громким, ровным голосом. Круглые багровые пятна горели у него на скулах, злобной усмешкой

сводило угол рта. Собеседники пугались его слов. Благосветлов умолял его вести себя осторожнее. Но Писарев больше не хотел сдерживаться. Он испробовал последнее средство; последнее унижение: с трудом добившись свидания наедине, предложил Раисе фиктивный брак.

Пусть она уезжает со своим Гарднером за границу и живет с ним, пока не надоест. Но ведь надоест же когда-нибудь, не может не пройти эта прихоть чувственности. А когда пройдет, когда Раиса однажды вдруг очнется в объятиях чужого, неумного человека, в котором, по правде говоря, только и есть хорошего, что высокий рост да фатовские усики, — тогда она сама захочет вернуться, чтобы не загубить свою личность и свой талант. Сейчас она сама себя не понимает, а Писарев рассуждает ясно и холодно, как всегда, ведь не ревнует же он. Разумный выход один: восемнадцатого Раиса должна пойти под венец не с Гарднером, а с ним. Евгению Николаевичу можно будет объяснить…

Раиса не дослушала, сказала, что он окончательно помешался, почти выгнала его.

И сделалась восемнадцатого числа госпожою Гарднер. И не приняла его, когда он в качестве родственника явился поздравить молодых. А когда он написал ей, отвечала через Попову, что просит оставить ее в покое, что сближение невозможно.

> «Только надежда на возобновление дружеских отношений с нею, отношений, которыми я дорожу больше всего на свете, — вкрадчиво-свирепо сообщал Писарев Гарднеру, — побудила меня написать к вам то письмо, которое дало вам возможность уклониться от дуэли. Теперь, обманувшись в этой надежде, я беру это письмо назад и, если этого мало, готов повторить вам те комплименты, которые вас оскорбили в первом моем письме».

Он ждал секундантов, но Гарднер приехал сам.

— По какому праву, милостивый государь, вы преследуете меня и мою жену неприличными письмами? — негромко спросил он, войдя в комнату и притворив за собою дверь. Он не выглядел разъяренным, наоборот — в нем чувствовалось какое-то радостное нетерпение, а Писарева охватила вдруг ужасная тоска.

— Порядочный человек, получив такое письмо, знал бы, что ему делать, без всяких объяснений.

— Вы совершенно правы, — кивнул Гарднер. Он шагнул вперед и быстро оглянулся на дверь. — Вы правы, но моя жена просила меня пощадить вас. Она уверена, что вы не можете отвечать за свои поступки, что вас только по недоразумению все

еще не упрятали в желтый дом. Вы сами очень трогательно жаловались на свое нездоровье в том письме — помните? — когда вы струсили? — Он говорил все скорее, все тише и надвигался на Писарева, держа руки за спиной. — Но я принес вам лекарство, господин великий писатель.

Он ударил Писарева хлыстом по лицу, два раза, крест-накрест, и снова спрятал руки за спину. Писарев молча смотрел ему прямо в глаза, зажав ладонью лицо. Гарднер с полминуты покачался на каблуках, потом стремительно повернулся и вышел.

На следующий день Писарев отправил ему записку:

> «Сегодня вечером или завтра утром приедет к вам доверенное лицо для определения условий по известному вам делу. Надеюсь, что вы не уедете из города до решения этого любопытного дела».

Он попросил некоего Чужбинского — пожилого литератора из отставных офицеров, с которым познакомился в доме графа Кушелева, — съездить к Гарднеру. Вернувшись, тот объявил, что вызов принят, но что и противник, и его секундант Петр Александрович Гарднер требуют отсрочки — третьего мая Евгений Николаевич уезжает с женою в Москву. Тринадцатого он готов стреляться — там же, в Москве. Отсрочка нужна ему, чтобы устроить состояние супруги на случай несчастья.

Третьего мая Писарев подстерег их на дебаркадере вокзала. Он нарядился кучером и подвязал фальшивую бороду. Гарднер и Раиса шли к вагону, весело переговариваясь. Писарев встал у них на дороге и даже успел сказать что-то гордое и презрительное, прежде чем замахнуться. Но Гарднер вырвал у него хлыст, ударил черенком по лицу, сбил с ног, стал топтать. Сбежалась толпа, появилась полиция, Писарева и Гарднера потащили в участок, составили протокол, обязали обоих не выезжать из Петербурга до окончания полицейского дела.

Четвертого мая от Гарднера пришло письмо:

> «Я думаю, что вы не захотите покончить это дело побоищем на железной дороге, которое, впрочем, оказалось совсем не в вашу пользу, чему может служить свидетельством плачевное состояние вашей физиономии».
>
> «Передай ему, пожалуйста, как я смотрю на наше взаимное положение, — обратился Писарев к Ивану Хрущову. — Он отклонил *немедленную* дуэль; тогда я, не желая оставаться с неотмщенною обидою, расправился с ним путем хлыста, оскорбил его публично, потому что не

мог стреляться в вокзале и не хотел застрелить его из-за угла.

Теперь его дело вызывать меня. Если же он этого не делает, я больше ничего не желаю. На удар хлыста, данный мне в квартире, я ответил ударом хлыста в публичном месте…»

Хрущов запиской пригласил Писарева к себе. Придя в назначенный час, Писарев застал у Хрущова Раису Гарднер. Они долго говорили, и Писарев обещал сделать все, чего она требовала: подать в полицию мировое прошение, взять назад свой вызов, никогда больше не напоминать о себе. Это был последний раз, что он ее видел. Через день Гарднеры уехали.

Петр Баллод очень смеялся над этой историей, когда Писарев, устав кружить по Васильевскому острову, зашел к нему в мазановские номера.

— И не стыдно тебе, Писарев? — говорил он. — Где же твоя хваленая логика, твоя деревянная философия эгоизма? Дворянское воспитание, выходит, пересилило. Воображаю, как ты выглядел с фальшивой бородой!

— Да уж, накуролесил я порядочно, — соглашался Писарев. — Знаешь что, Баллод? Пристроил бы ты меня в какой-нибудь кружок. Нет, без шуток. Ты ведь причастен к политике. А я теперь жизнью не дорожу и ничего не боюсь. Это раньше я думал: стану знаменитым писателем, женюсь, буду много зарабатывать. Вообще — строил разные планы, считал, что и честный человек может прожить благополучно. А теперь не хочу, и мне все равно, что со мною будет.

— Какие же сейчас кружки? Лето наступает, все разъезжаются. Обожди до осени. А пока, если хочешь, напиши что-нибудь такое, знаешь, без экивоков. Или, может быть, есть готовая статья, которую цензура не пропустила?

— Есть рецензия на книжонку Шедо-Ферроти. Цензор — ни в какую. Но, по правде говоря, вещица невинная. Не стоит тайного станка.

— А ты напиши такую, чтобы стоила, — сказал Баллод. — Вот, смотри. Вчера эту штуку разбрасывали по Москве. Завтра она разойдется и у нас.

Это была прокламация. Называлась она — «Молодая Россия»; требовала превращения современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей, уничтожения частной собственности, брака и семьи; предсказывала революцию не позднее весны будущего года:

«Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим

великое знамя будущего, знамя красное, и с громким криком: да здравствует социальная и демократическая республика русская! — двинемся на Зимний дворец истреблять живущих там…»

Писарев дочитал до конца и, уходя, обещал приготовить статью о Шедо-Ферроти в ближайшие недели. Это было тринадцатого мая. Четырнадцатого в Петербурге заговорили о новой, особенно зловещей прокламации, а шестнадцатого на думской пожарной каланче подняты были черные шары с крестами: пожар на Охте. На другой день — шары без крестов: пожар на Лиговке. Двадцать второго и двадцать третьего кроме шаров были вывешены оба флага — красный и белый: требовались усиленные резервы пожарных. Но никто уже не смотрел на каланчу. В воздухе реяли хлопья сажи, разносился запах гари: пять пожаров начались почти одновременно в разных частях города. Дни стояли холодные — термометр показывал не больше тринадцати градусов — и ветреные. Народ толковал о поджигателях, которые мстят царю за освобождение крестьян. Газеты намекали, что пожары — дело того же Центрального революционного комитета, который распространил «Молодую Россию». Столица оцепенела от ужаса. Поповы не выпускали Писарева из дому: уличная чернь избивала молодых людей студенческого вида.

Двадцать восьмого запылал центр города — Апраксин двор, Щукин рынок и здание министерства внутренних дел. Дотла выгорело несколько переулков по обе стороны Фонтанки. Тридцатого — новый пожар, на Песках. Зато какой злобный взрыв хохота пробежал по толпе, собравшейся там же, на Песках, на Мытной площади тридцать первого мая, когда палач сломал шпагу над головою преступника Обручева, осужденного за распространение «Великорусса»! Второго июня загорелось было уездное училище в Луге, но в этот день начались дожди, а с ними пришел конец бедствию.

Только тут власти опомнились. Петербург переведен был на военное положение, закрыты были все воскресные школы, народные читальни, Шахматный клуб, запрещены публичные лекции. Двенадцатого июня правительство распорядилось прекратить на восемь месяцев издание журналов «Современник» и «Русское слово».

Четырнадцатого Писарев отправился к Баллоду с готовой статьей о брошюре Шедо-Ферроти. Статья кончалась словами:

«Придравшись к двум-трем случайным пожарам, управительство все проглотило, оно будет глотать все:

деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище… Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти. То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу. Нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы».

Он не застал Баллода дома и оставил ему рукопись. Он хотел как можно скорее покончить со всеми петербургскими делами и уехать к родителям. Он устал. Возбуждение улетучилось. Тоска душила его.

Между тем, учитель Викторов, пытавшийся в нетрезвом виде поджечь лужское училище, показал на допросе, что его подучил студент Баллод. А наборщик комиссариатской типографии донес, что студент Баллод подговаривал его напечатать какой-то запрещенный листок «К офицерам». Пятнадцатого июня Баллода арестовали. Сначала он от всего отпирался и плел небылицы. Но на втором допросе, двадцать седьмого, признался, что по молодости лет печатал прокламации, а о найденной у него при обыске рукописи, начинающейся словами «Глупая книжонка Шедо-Ферроти», дал такое показание:

«Я не хотел сказать фамилии писавшего статью против Шедо-Ферроти, потому что знаю автора этой статьи очень хорошо, как не-революционера, но которого будут, как я думал, судить как революционера, за высказанное им в конце статьи мнение в пользу революции. Причины, по которым он впал в крайность, два несчастия, постигшие его одно за другим. Коренева, которую он сильно любил и которую давно считал своей невестой, вышла в апреле месяце замуж за другого. Второе несчастие — закрытие журнала „Русское слово“, от которого он только и получал средства к жизни… Писал эту статью Дмитрий Иванович Писарев, кандидат Петербургского университета».

В ночь на третье июля Писарева привезли в Петропавловскую крепость. Он вышел из черной тюремной кареты и огляделся. На минуту страх отпустил его. Крепость поднималась из сырого песка, словно чудовищный письменный прибор с позолоченным ангелом на крышке чернильницы, забытый кем-то на низком берегу. Было почти светло и совершенно тихо. Но тут ударили

часы. Пока его записывали, обыскивали, переодевали, пока вели пыльными дворами к Невской куртине и вонючим коридором — к камере, куранты раз десять проскрежетали «Господи помилуй» и два раза — «Коль славен».

И арестант, поежившись, подумал словами из любимого романа: «Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей».

КНИГА ВТОРАЯ

…Спрашивать, что делается с пламенем горящей свечи, когда гаснет свеча, значит то же самое, что спрашивать о том, что осталось от цифры 2 в числе 25, когда мы зачеркнем все число, — ровно ничего не осталось ни от цифры 2, ни от цифры 5: ведь обе они зачеркнуты; спрашивать это может только тот, кто сам не понимает, что значит написать цифру и что значит зачеркнуть ее…

Н. Г. Чернышевский. Антропологический принцип в философии

Глава одиннадцатая
1863

Семнадцатого апреля императору исполнилось сорок пять лет. Праздничный этот день в столице, как и повсюду в России, начался торжественным богослужением. Августейшая фамилия проследовала к ранней обедне в часовню дворцовой церкви, министры и сенаторы слушали литургию в Исаакиевском соборе, остальные должностные лица толпились в храмах ведомственных и приходских, куда, впрочем, понабилось и множество народу всякого звания, так что оборки дамских платьев тысячами гибли под галошами и сапогами.

Особенный благодарственный молебен заказали палачи: в этот день был обнародован указ об отмене телесных наказаний, и петербургский обер-полицеймейстер (Анненков, брат небезызвестного писателя и вообще человек не чуждый изящных мыслей) заранее обмолвился в своей канцелярии, что в такой день следует ожидать, помимо ликования, самых трогательных изъявлений народной признательности.

О веселье, разумеется, позаботились тоже: к полудню в совершенной готовности стояли на Невском три военных оркестра; что же касается флагов и гирлянд, то дворники развесили их на фасадах домов еще накануне и запаслись в достаточном количестве деревянным маслом и фитилями для вечерней иллюминации.

Не подгадила и погода: когда под трезвон бесчисленных колоколов повалил из церквей народ, все увидели, что в лужах, спозаранку сахарно хрустевших под ногами, плещется вода и отражается такое ослепительное небо, словно в нем плавает не одно, а несколько солнц. Прямо итальянское небо, и это после вчерашней-то мокрой метели. Вот только холодно: два градуса всего по Реомюру. Так ведь на то и ледоход. Шутка ли: деревянный Литейный мост снесло к Николаевскому — и в щепки.

Неоглядные, новогодней белизны ледяные поля мчалнсь, круша друг друга, меж каменных берегов. Казалось, Нева безумно спешит избавиться от этих обломков зимы. Но их было так много и шли они так тесно, что, например, из окон Зимнего дворца поверхность реки вплоть до противоположного берега, до самой крепости, казалась неподвижной.

Правда, в этот день во дворце никому не было дела до метеорологических замет. В девять утра состоялся так

называемый малый выход, на девять вечера был назначен бал, а в промежутке — еще прием различных депутаций. В толчее, в духоте, в гуле шагов и голосов все эти сановники и государственные люди в расшитых золотом мундирах и при орденских знаках, все эти придворные дамы в светлых струящихся платьях, отделанных живыми цветами, и в драгоценных украшениях — все исподтишка, но неотступно разглядывали друг друга, доискиваясь, кому да кому достались новые отличия, кому повезло в этот jour des graces[1]. Однако значительных наград, вопреки обыкновению, оказалось немного: несколько лент, несколько аксельбантов; портрет императрицы (пожалован одной из фрейлин — Тютчевой); кое-кому розданы аренды; вот, собственно, и все.

Зато приказ по военному ведомству огромный; сотни офицеров переименованы в следующий чин; и в статской службе, конечно, продвинулось немало карьер. А сколько выплачено наградных бедным чиновникам! Да что чиновники! Арестантам в крепости, и тем перепало по белой булке к чаю да по полбутылки виноградного вина.

Словом, истинно царский выдался день. К середине его погода разгулялась вовсю; глубоко вздыхали оркестры, экипажи бесконечной вереницей катили по проспектам Петербурга, на тротуарах теснились гуляющие, а в глубине кварталов и особенно на окраинах перекликались уже гармоники. Праздник! В кабаках дешевки сколько хочешь, а вечером еще и фейерверк, и пушечная пальба. Праздник! Умирать не надо! Многие довольны, а некоторые даже счастливы.

В целом городе нашлось бы не более как несколько десятков заплаканных лиц. Но их почти никто не увидел.

— Нельзя так убиваться. Вам силы нужны — для него же. Да ведь ничего еще и не решено. Ну, не отпустили сегодня — в июле могут помиловать, ко дню рождения государыни. И даже в худшем случае, если дойдет до суда, сегодняшний указ все-таки подает облегчение. Сроки повелено уменьшить на треть, а при смягчающих обстоятельствах — и наполовину.

— Но за что судить? Я не понимаю. Как это рецензия может быть прокламацией? И если никто ее не читал, в чем преступление?

— Там на это иначе смотрят. По-ихнему, неважно, кто успел, кто не успел прочесть, а важно, что написано. И — как. Хороший слог особенно ненавистен. Но, конечно же, раз не было распространения, и еще сколько-нибудь скостят. Время такое — без гуманности ни шагу.

— Отличная гуманность! Юношу, едва совершеннолетнего, с

таким талантом, больного, закрыть в каменном погребе бог знает как надолго — за что? За две-три неосторожные фразы в ненапечатанной статье, в черновике, которого никто не видел. Тоже нашли преступника!

— То-то и оно, что фразы… Писал-то он о Герцене, в его как бы защиту. Ну, и подражал, должно быть, невольно в резкости.

— Так что из того? Кто не восхищался Герценом до нынешних событий? В прошлом еще году, когда Катков выбранил его в «Русском вестнике», в порядочных домах и здесь, и в провинции говорили: Катков подкуплен правительством, — и негодовали. Это теперь все переменилось, но кто мог знать?

— Разумеется. Но до таких невозможных дерзостей, что наш безрассудный мальчик себе позволил, даже и сам Герцен не доходил. Только в «Молодой России», наиболее отчаянном из здешних листков, — помните, поди? — было подобное.

— Да еще верно ли это? Мне никто ни в следственной комиссии, ни в Сенате ничего толком не объяснил.

— Они объяснят, как же. Небось и повторить-то боязно. Дмитрий Иванович, видите ли, посулил государю императору, что ногой столкнет его в могилу. Ну и всю фамилию, это само собой.

— Какой ужас. И они еще сомневаются в его болезни?

— Не скажите. Это могло выйти на бумаге очень убедительно. Сами знаете, слог у него, как и почерк, ясный, связный, безмятежный — ни за что не угадаешь, что в исступлении писано. Желал бы я своими глазами увидать, как он изловчился ввернуть эту выходку в короткую рецензию. Но что ввернул — никакого сомнения. С ним учился в университете такой Ордин…

— Они еще в гимназии вместе были.

— Ну вот, а брат этого Ордина, Кесарь, — секретарем в Сенате, и допущен к делу. Он говорит, что кабы не эта фраза фатальная, от которой мороз по коже, — давно уже водворили бы нашего узника в Грунце. Навещал бы вас первое время становой, потом отстал бы, а там и делу конец.

— Вы так и писали, что это самый вероятный исход, что надо только ждать…

— Убежден был! Не сомневался нисколько! Ведь глаз не спускал и знал доподлинно, что ни в каких конспирациях он не замешан. Стало быть, что же? Недоразумение, оговор, ложный донос. Подержат недельку, извинятся и отпустят. Таких случаев тоже немало было, неразбериха тогда в июле кипела несусветимая. Даже, признаюсь, я подумал было, что схватили его по ошибке, вместо меня. Что это вы так смотрите? Вам дурно?

Может быть, воды?

— Нет, нет, благодарю. Все уже прошло. Меня напугал этот шум.

— А вот мы гардинку задернем… Лучше? Что вы хотите, праздник, вот и поют. Оно точно, что эти стихи Жуковского, когда их вся улица вдруг грянет, звучат как-то зловеще, словно с угрозой… А водицы испейте все-таки. Чаю не угодно ли? Я тотчас прикажу.

— Не беспокойтесь, мсье Благосветлов. Так вы говорите, что подозревали ошибку?

— Да. И видит бог, основания были. Не спорю, Александр Иванович Герцен великий человек, я его одно время близко знал и уважаю неколебимо. Но все наши рефюжье слишком легко забывают здешние способы построения силлогизмов. Напечатать в «Колоколе», что не пора ли, дескать, редакциям остановленных журналов перебираться в Лондон или в Женеву? Не постигаю! Лучше бы он прямо так и объявил, что это Благосветлов с Чернышевским Щукин рынок подожгли. То же самое и вышло бы: вместо Женевы отправился Чернышевский на Петербургскую сторону за сношения с лондонскими пропагандистами. Мой принципал, благородный граф Кушелев по этому случаю так праздновал трусу, что слышать имени «Русского слова» без содрогания не мог. Все мечтал избавиться, да наконец и надумал — передать право издания мне.

— Я слышала: он подарил вам журнал.

— То есть сбыл с рук, ну вот как фальшивую ассигнацию, от греха подальше.

— Однако вас не тронули?

— Точно так-с, почтеннейшая Варвара Дмитриевна, не тронули. И я очень слышу в вашем голосе некий как бы укор. Что делать: стреляная птица, имею плебейскую привычку не делать глупостей, то есть не давать явного повода. Трудное правило, унизительное, в нашей отчизне бессмысленное, а вот соблюдаю. И не страха ради иудейска, как вы можете подумать, но единственно из гордости. Знаю, да, что не миновать и мне путешествия в страну порядочных людей, и в свой час, надеюсь, не заплачу, а только не желаю я доставлять нашему начальству удовольствие от мысли, что вот, мол, как веревочка ни вейся… Нет, сударь мои, уж вы будьте так любезны, обремените вашу совесть, нарушьте ваш закон, берите как есть, без вины! Хотя это смешно, конечно: закон, совесть…

— Напрасно вы, Григорий Евлампиевич… Какой укор, странно говорить. Разве я не знаю, сколько вы сделали для Мити. Должно быть, я что-то не так сказала, тогда простите. Мысли

путаются, и эти выкрики под окнами сводят с ума.

— Это вы простите, что я тут руками размахался. Я вообще-то не из чувствительных, разные, знаете, видывал виды, но эта история как-то сокрушила. Среди дня, за какой-нибудь корректурой как вспомню вдруг: а он что делает сейчас? что видит? с кем говорит? о чем думает? И такая тоска. И на Неве с тех самых пор не был: боюсь в ту сторону смотреть.

— А я ходила там сегодня утром, через реку всё на ангела, что над крепостью, глядела. Говорят, он поворачивается на ветру, как флюгер, и я загадала… Но нет, не повернулся. А набережная вся уставлена каретами, военный оркестр играет, колоколов и тех не слышно. Я и ушла, не дождалась. Он в куртине какой-то заключен, мне сказали. Что это значит — куртина?

— Крепостная стена. Он в Екатерининской куртине, которая вдоль берега идет, позади пристани.

— Я так и знала. Даже перекрестила издали эту стену, как чувствовала, что он за ней. То есть в ней… Она должна быть страшно толстая, тяжелая? Но как это гнусно, как стыдно — во второй половине девятнадцатого века запереть человека, литератора в стене!

— Там еще сносно считается. Чернышевский, Серно-Соловьевич — те в равелине, в секретном доме, куда и генерал-губернатору входа нет, одни голубые действуют. Вот где тяжко, надо полагать. На днях и Шелгунова туда сунули, в этот львиный ров. А куртина что ж — просто военная тюрьма.

— Просто?

— Ну вот, опять. Не гневите бога, Варвара Дмитриевна. Это в миллион раз лучше, чем острог или смирительный дом. Положим, туда и не отважились бы посадить дворянина, кандидата наук. Но и у Цепного моста, надо думать, не пряниками кормят. А крепостное заключение — самое легкое. Оно так и предусмотрено на случай деяний хотя и опасных, но не имеющих ничего общего с позором или бесчестием. Вот уж подлинно — нет худа без добра. Кабы не пожары прошлогодние, наверное, числился бы Дмитрий Иванович за Третьим отделением.

— Господи, а пожары при чем?

— Как же, столица-то была объявлена на военном положении. Предполагалось, что полиции одной не под силу выловить бесчисленных и грозных поджигателей. И наказывать их должны были особые суды, наподобие полевых. Сан фасон, так сказать. Теперь такими вещами никого не удивишь: публика принюхалась к запаху крови. А тогда все трепетало. Спасибо Суворову, он у нас сатрап цивилизованный, почти либеральный, до смертных

приговоров в Петербурге не дошло. В провинции бдительность, понятно, выше. Но и у нас заарестовали человек тридцать разного звания. Только один из них сознался, что поджигал, — Николай Викторов, субъект пьяный и сумасшедший. Этот Викторов состоял учителем в Лужском уездном училище и, видимо, так возлюбил сей оплот просвещения, что среди бела дня и к тому же под дождем пытался зажечь поленницу в училищном дворе. И был замечен, связан и представлен куда следует.

— Но при чем тут…

— Погодите. Сейчас все поймете. На допросе Викторов показал, что сделал поджог из политических видов и по подговору своего знакомого, студента Баллода.

— Мерзость какая!

— Ей-богу, так. Правда, Ордин говорит, что потом Викторов отказался от своих признаний и подал жалобу, будто его к ним принудили. Но, во-первых, что значит — принудили? Все-таки ноздрей там пока еще не рвут. А во-вторых, Баллоду от этого не легче.

— А Баллод что?

— Да что Баллод? Открылось, что у него была запасная, тайная квартира. В ней нашли печатный станок и разные рукописи, самой важной и крамольной из которых показалась неподписанная статья против Шедо-Ферроти. Баллода попросили назвать автора. Ну, он и назвал.

— Наверное, у него не было другого выхода?

— Вы ведь сами так не думаете. Какой же это выход? Откуда? И куда? Но что толковать… Дмитрий Иванович отрицался как мог, даже на очной ставке. Потом все же не выдержал. И это, пожалуй, к лучшему. Они все равно допекли бы его исследованием почерка.

— Мне сказал Карниолин-Пинский, сенатор, что Митя страшно повредил себе долгим запирательством. Они называют его неоткровенным. Забавно, правда? Митя Писарев — неоткровенный. По их же словам получается, что он рассказал им о своей любви, о своей болезни… Гадкий старик смеет мне говорить: комиссия не верит раскаянию вашего сына и не принимает во внимание, что он обратился к высочайшему милосердию. И суд может не поверить. А когда этот суд состоится — неизвестно. И на поруки нельзя ни за что. Время идет, молодая жизнь пропадает — им безразлично, как мертвецам.

— Это все из-за политических обстоятельств. Вы же видите, что делается. Того и гляди, в самом деле начнется война. До литераторов ли тут? Пусть их посидят без суда лишний месяц или год — мы же не в Англии, чтобы о таких пустяках

беспокоиться.

— Но ведь и так уже девять с половиною месяцев…

— А до сих пор они не торопились, потому что ждали революции. Я не шучу. Само правительство верило, что нынешней весной, едва вступят в силу уставные грамоты и крестьяне вполне освободятся от крепостной зависимости, — вспыхнет всеобщий бунт.

— Мой Иван Иванович два года это мне внушал, но я не верила. Почему раз воля, то непременно бунт? Конечно, кто-то остался недоволен своим наделом, — но ведь и помещики тоже многие пострадали, вот как мы, например, — и все равно, о такой решительной перемене судьбы мужики еще совсем недавно не осмеливались мечтать.

— Вот именно, что мечтали. А когда мечта сбывается, человек ее не узнает. И впрямь — что это за воля, если надел меньше и хуже прежнего, да еще плати за него бог знает сколько лет. Нет, новой пугачевщины ожидали не зря. Дмитрия Ивановича дерзкая фраза на это, между упрочим, намекает. Как-то померещилось на миг даже и весьма умным людям, что кровопролитие доставит нам и конституцию, и парламент, при этом Чернышевского втихомолку чуть не в министры прочили. Ну а потом сами знаете что случилось, вольнолюбивые надежды рассеялись яко дым, дворянство и народ сплотились вокруг престола, и пошла писать губерния за губернией патриотические адресы. Праздничные толпы на Невском вы сами сегодня имели случай наблюдать. Пугачевщиной не пахнет. Катковщина — вот наша будущность отныне!

— Я напишу государю.

— Не стоит. Не получит он вашего письма. Да и потом, великодушие — редкий дар, нашим властителям непонятный. Уж, казалось бы, осенью нельзя было не даровать милостивого манифеста. Ничего, обошлись. И даже как бы в насмешку не постеснялись возвестить в газетах: в день открытия памятника тысячелетию России, восьмого сентября, исполнилось шестидесятилетие министерства внутренних дел! В сущности, это от скудоумия: зловещей связи идей не видят, а только счастливое совпадение дат. Вот и поощряют население: ликуй вдвойне! А насчет великодушия вы и сегодня могли убедиться.

— Что же мне делать?

— Делать пока что остается только одно: просить генерал-губернатора, чтобы Дмитрию Ивановичу разрешили литературные занятия. Я буду доставлять в крепость книги, о которых статьи надобны «Русскому слову». Ничего другого тут не придумаешь. Процесс его разрешится — попомните мое слово! —

не прежде, чем польские события примут известный оборот. Между тем самое страшное в его положении — вынужденная праздность.

— Это правда. Работа не даст ему погибнуть. Но разве заключенным дозволено печатать в журналах?

— Крепость подчинена генерал-губернатору. Суворов — человек порядочный. Вы скажете, что опасаетесь за рассудок сына, да и просто-напросто семейству нечем существовать без его литературных заработков. Позволят, вот увидите. Чернышевскому в равелине не препятствуют писать, целый роман, как слышно, сочинил, и Некрасов велел набирать как ни в чем не бывало. В третьем нумере две главы, полтораста страниц, и обещано продолжение впредь, и на днях, говорят, выйдет. Вы на «Современник»-то подписаны ли?

— Не до романов мне, Григорий Евлампиевич. Но Верочка читала, и с восторгом. Мы с нею остановились у родных. Добрые люди, но, знаете, немножко отсталые. Так она уже успела с ними почти поссориться за «Что делать?».

— Вот видите. А название-то, между прочим, живьем из Дмитрия Ивановича статьи. Ровно год тому назад он печатно произнес: что делать Базаровым? С тех пор этот вопрос так в ушах у всех и стоит. Но только не плачьте, голубушка моя. Он так еще молод, все переменится, не надо плакать. Все будет хорошо: бог не выдаст. А может статься — и свинья не съест.

* * *

Часам к шести солнце, пожелтев, откатилось в сторону залива и там повисло как раз на такой высоте, чтобы его было видно из каждой петербургской улицы, где только нет пятиэтажного дома. Небо замутилось, словно его долили молоком и добавили крупицу синьки. Ветер утих. Лучшей прогулки, чем в этом предвечернем свете, отражающемся от каждой стены, и в этой тишине, простеганной отголосками дальнего (город-то весь на Невском) праздника, — и желать было нельзя. И Мимишка — очевидно, понимая это, — так жалобно всплакивала, так трогательно толкалась головой в колени Ивану Александровичу, что он не выдержал, уступил, хотя и не прежде, чем покончил с корректурными листами. Что, в самом-то деле: все работай да работай до воспаления в глазах, как будто кто-нибудь оценит. Как будто хоть кому-нибудь в подлунной не совершенно все равно, кто и как редактирует русскую правительственную газету. Кроме врагов, разумеется. Те-то подыскиваются, те сторожат

самомалейший промах, и допусти его — не пощадят. Ненавидят, глупые, презрением и смехом терзают — и кого? Как раз того самого человека, который так способен любить и всему прекрасному и доброму готов раскрыть объятия. Право, смешно: ослепни, сойди с ума, умри хоть сегодня — и только Мимишка если не поймет, то хотя бы почувствует утрату. Так неужели же все на свете не пустяки по сравнению с возможностью доставить радость единственному верному сердцу?

— Не правда ли, бесценная Миха Трезоровна? Хотя, между нами говоря, как ни прелестен золотой с красным бархатом ошейник, а все-таки эта страстишка пофорсить есть слабость, недостойная вашего ума.

Мимишка, ничуть не смущаясь упреком, помчалась, звонко лая, в прихожую и приволокла одну за другой обе теплые галоши, пока Иван Александрович расчесывал перед зеркалом свои новенькие, жесткие, отливающие сталью бакенбарды и усы. И он окончательно развеселился и почувствовал, что невнятная тревога, весь день болезненно распиравшая горло — как будто подавился рыбьей костью, — вдруг растаяла, и в груди стало тепло.

А с утра приходилось тяжко: и в Спасо-Преображенском, и затем у Валуева, которого надо же было поздравить с орденом (недурная, между прочим, вещица: золотая звезда и к ней темно-синяя лента с белым двуглавым орлом), — нигде ни на миг не покидало Ивана Александровича столь известное ему, но каждый раз непобедимое предчувствие беды, похожее на сердечную тошноту. Министр, видно, приметил что-то, перетолковал по-своему и счел нужным утешать: мол, производство в действительные статские отложено лишь до ближайшего случая, до полного преобразования цензуры, а тогда можно будет развязаться с «Северной почтой» и принять более подобающее назначение. Как будто новый чин и четыре тысячи жалованья могут спасти человека от тоски!

А вот Мимишка — она, представьте, может, потому что любит хозяина всеми силами немудрствующей души, и ловит его взгляд, и приноравливается к его походке — о, деликатнейшее существо! — чтобы не устала его рука, сжимающая поводок. И этот абзац набережной Фонтанки, от Цепного моста до Прачечного, утешает, как лучшая в мире проза: фасады выкрашены охрой, колонны выбелены известью, в только что вымытых окнах пламенеет долгий закат — так и кажется, что гуляешь по полю книжной страницы, вдоль крупных разборчивых литер (Летний сад на том берегу — рукописная вставка, почерк мельче и острей, чем основной шрифт, но тоже ровный), а в книге

сказано: *покой и воля;* так бы и ходил здесь, подставляя солнцу то одну щеку, то другую, всю жизнь бы ходил, и после смерти тоже…

Мимишка рванулась в сторону, едва не сбив Ивана Александровича с ног. Ее испугал экипаж, остановившийся в нескольких шагах впереди. Иван Александрович нагнулся к ней, чтобы погладить, и тут увидел, что дверца экипажа — нарядной наемной кареты — открылась, подножка откинулась, и на мостовую спорхнула знакомая утлая фигурка: Тютчев Федор Иванович, поэт, председатель комитета цензуры иностранной.

Пришлось расцеловаться, чего Иван Александрович терпеть не мог. Да он и вообще недолюбливал эдаких егозистых, благоухающих дорогой одеколонью, красноречивых несообразно чинам и сединам. (Даже зарок себе дал как-то: ежели господь отпустит долгого веку, буду стариком молчаливым, чтобы никто не сказал, как Гамлет: «О эти несносные старые болтуны!». Ведь это о Полонии — человеке ой как не глупом.) К тому же он сразу заподозрил, что встреча случилась неспроста, ему стало страшно; ледяное жало нежно дотронулось до сердца и отпрянуло; спасибо Мимишке — прижалась к ослабевшим вдруг ногам. Иван Александрович скрепился и заставил себя вслушаться.

А Тютчев знай себе щебетал, ничего не заметив:

— И ни у кого, только вообразите, ни у одного народа в мире нет такой бездны праздников. Я нарочно узнавал, и что бы вы думали? Ну, голландцы, датчане, пруссаки нам, конечно, не пример, но у самих французов, на весь мир ославленных за легкомыслие, только шестьдесят два дня праздничных в году. У итальянцев, испанцев — чуть побольше, но в России-то — целых девяносто восемь! Как хотите, а это не может не иметь неблагоприятного влияния на экономическую жизнь народа. Он приучается к лени, приучается к пьянству!

Иван Александрович, осклабившись самым приятным, как он полагал, манером, терпеливо поддакнул:

— Особливо в деревнях. Взять хоть престольные…

– À propos, о престолах, — тоже с улыбкой перебил Тютчев, грозя ему пальчиком, затянутым в лайку, лукаво сощурив правый глаз и склонив к правому плечу голову в непомерно большой бобровой шапке. — Ведь вами недовольны, голубчик!

Иван Александрович молча ждал. Тютчев придвинулся ближе — и чуть лапку не отдавил Мимишке. Бедная тявкнула без всякой почтительности, а лирик выбранился сквозь зубы по-французски.

— Но что же мы стоим? — тут же улыбнулся он так лучезарно, будто не сам навязался на улице, а принимал Ивана Александровича у себя дома. — Ты ступай потихоньку, любезный, — громко сказал в спину кучеру, — мы пройдемся.

Карета потащилась в сторону Невы. Тютчев, запахнув свою легкую шубу и придерживая ее одной рукою на груди, засеменил следом. Ивану Александровичу только и оставалось пойти рядом, чуть ли не силой волоча на поводке Мими. Впрочем, прогулка все равно пропала.

— Признаюсь, я в восторге, что эта попытка лопнула, — ворковал Тютчев, все так же склоняя голову к плечу, задирая к Ивану Александровичу нежный, как у младенца, подбородок. — Что за идея… В такие опасные для России дни… Когда на улицах при встрече вместо «здравствуйте» спрашивают: «война или мир?»… И потом, дорогой мой, положа руку на сердце, — неужто вы не видите сами, что единственная сила, действительно способная доставить нашему отечеству — не скажу процветание, но благоустройство и мощь… Единственная такая сила, говорю я, это высшая власть! Она частенько-таки сбивается с пути, согласен, но зиждительный дух — лишь в ней. И вдобавок, будем справедливы, она у нас — единственный европеец! Вы хлопочете о том, чтобы ее ограничить, а она и так поборает, можно сказать, препятствия исполинские! Да если хотите знать, конституция у России есть — и всегда была — это ее география! Вот присоветуйте-ка вашему министру разослать — просто ради опыта — разослать по государству какое-нибудь самое короткое, ясное, удобоисполнимое распоряжение… Хотя и то правда, что такого распоряжения ему не выдумать, но это в скобках. И пусть-ка он потрудится проследить, что выйдет. Пусть-ка добьется повсюдного, немедленного, буквального исполнения! У нас дорог нет и чиновников честных, а вам палату депутатов подавай! Да ведь парламентская болтовня уже и на Западе-то всем давно надоела… Но там хоть эти водятся — как их — ораторы, демагоги, краснобаи. А тут — что это была бы за летаргическая скука, господи!

Иван Александрович выдержал всю рацею хладнокровно, поскольку с первых двух слов смекнул, в чем дело. И очень дружелюбно объяснил почтенному собеседнику, когда тот, запыхавшись, примолк, что министры не имеют обыкновения советоваться с ним, с Иваном Александровичем, о политических делах; что, впрочем, насколько ему известно, государь не далее как вчера выразил Валуеву свое одобрение и только отложил окончательное решение вопроса до более удобного времени; и что, наконец, — опять-таки, насколько известно! — министр внутренних дел вовсе не имел в виду ни конституции, ни парламента, а только предлагал приурочить к сегодняшнему празднеству манифест о преобразовании Государственного совета.

— Ах, всего только, — саркастически протянул Тютчев. — Призвать выборных представителей от сословий, вверить им законодательство, хозяйственную часть — и предоставить несчастную Россию ее неизбежной судьбе. Ça ira, как поют в некоторой песне. У вас, поди, и ноты уже набраны?

— Да что же это, наконец, такое, — озлился Иван Александрович. — Я-то при чем? Разве меня спрашивают? Ни боже упаси. Редактор официальной газеты если и отличается от обыкновенного корректора, так только тем, что гораздо скорее может угодить на каторгу. Более ничем, уверяю вас. Публиковать, что присылают из министерства, и притом без опечаток, — мои полномочия дальше не идут. А пришлют «Марсельезу» или что там, «Карманьолу» — и «Карманьолу» подпишу. И без колебаний, вы заметьте это, потому что, Федор Иванович, таково, стало быть, постановление властей, а к властям у меня с детства глубокая, искренняя преданность, Федор Иванович. А еще потому, что это мой насущный хлеб — служба, и лишаться ее мне никак не с руки. А что вы говорите, будто где-то в сферах мною — то есть именно мною — недовольны, то я ничему иному не могу это приписать, кроме недоразумения и происков некоторых наших общих друзей.

— Ну, полноте, Иван Александрович, — Тютчев вдруг и совершенно присмирел: в глазах участие, в голосе ни следа наигранной укоризны.

Они стояли возле самого Прачечного моста. Экипажи, раскачиваясь и дребезжа, один за другим взбирались на мост и катили по набережной Невы в сторону Зимнего дворца. За рекой, высоко в небе парил, сверкая золотом, ангел Петропавловского собора. Вороны кричали в Летнем саду.

— Полноте, — повторил Тютчев и даже погладил Ивана Александровича по рукаву. — Разумеется, никто ни в чем вас не обвиняет. Это просто так сказалось. Простите старику. Очень меня нынче утром князь Горчаков растревожил: «Ce qu'on nous propose c'est une constitution et deux chambres»[2]. И как предлагают! Чуть не с ножом у горла, два дня на размышления, конституция или смерть! Надо сознаться, что ваш квакерствующий министр злоупотребляет снисходительностью государя. А что до службы — никто вас не поймет лучше, чем я. Одну ведь лямку тянули, и, поверьте, я привык ценить ваши правила и мнения. Собственно говоря, — Тютчев с притворной досадой легонько хлопнул ладонью по лбу, — вот ведь из-за чего я нарушил ваш tête-à-tête с этой прелестной зверюшкой. Правда ли, что журнал Достоевских закрывают и Цеэ смещен?

— Я слыхал только про какую-то статью за подписью

«Русский»…

— Да, именно. «Роковой вопрос». Самого, говорят, непозволительного свойства. Я, к счастью, не читал, но негодование всеобщее, сильнейшее. Автор ничего не придумал лучшего, как расхвалить до небес польскую цивилизацию и разругать на все корки русскую. Мне пересказывал Никитенко; сам-то он, кажется, не слишком огорчен отставкой Цеэ и дал даже понять, что эта вакансия ему по вкусу. А я сразу подумал о вас. Кто же еще, кроме нашего милого, доброго Ивана Александровича, с его безупречным тактом, мог бы стать во главе петербургской цензуры?

— Министр желает это место отдать Турунову, — нечаянно вымолвил Иван Александрович и от досады, что проговорился, спросил почти грубо: — Вы лучше скажите-ка, действительно, война или мир?

— Война, без всякого сомнения! — горячо воскликнул Тютчев. — Сегодня получены депеши от Англии и Франции. Австрийцы — бессовестные! — тоже не преминут ввязаться и пригрозить. Нас ожидает новое нашествие двунадесяти языков, вся Европа ополчается. Чтобы не дать ей повода вмешиваться, необходимо было раздавить мятеж при самом его зарождении. Чего, казалось бы, легче — при девяноста тысячах войска в одном только Царстве Польском, да семидесяти тысячах в Виленском генерал-губернаторстве, да еще пятидесяти — в Киевском? Так вот подите же! Разладица, сумятица, мелкие стычки, банды инсургентов умножаются с каждым днем, революционный комитет заправляет всей Польшей, а Константин Николаевич… слаб, чтобы не сказать более. Впрочем, это к лучшему, что он в Варшаве: уж он-то бы отстаивал утопию вашего патрона… Молчу, молчу! Но не зря господа прогрессисты напечатали в «Современнике» шутовской проект о введении единомыслия в России, от имени Козьмы Пруткова. Единомыслия они боятся, как черт ладана, и только оно в нынешних грозных обстоятельствах спасет Россию. Сами видите: войска, общество и даже весь народ настроены патриотически, как в двенадцатом году. Катков очень верно замечает, что обстоятельства послужили поводом высказаться великой нашей национальной мысли — союз народа с монархом несокрушимо крепок, и эти печали укрепили его еще более.

— Однако же литература не вся разделяет эти чувства, — вяло возразил Иван Александрович. — Вот и эта статья во «Времени»…

Он замерз и соскучился, и Мимишка, которую пришлось спустить с поводка, вертелась неподалеку и поглядывала

умоляющими глазами.

Однако Тютчев опять воодушевился:

— Ах, эта петербургская журналистика, до чего жалка! В Москве не то, там — Катков, там — Аксаков, есть кому поддержать русское знамя, но эти… Знаете, как на днях князь Вяземский их отделал — чудо:

Грех их преследовать упреком или свистом,
На нет — нет и суда: плод даст ли пустоцвет?
Ума в них нет, души в них нет,
Тут поневоле будешь нигилистом.

Немного резко, но и глубоко, n'est-ce pas? Ведь ни убеждений выработанных, независимых, ни положительной цели — ничегошеньки своего вы у этих милых детей не найдете: так и глядят в рот Герцену с компанией. Достоевские, впрочем, более сами по себе, то есть собственно Федор; тут, с этим «Роковым вопросом», должно быть что-нибудь да не так; но общее легкомыслие, но мальчишество — выше всякого вероятия. И ведь многие в солидных летах: Салтыков, и этот странный господин, Благосветлов…

— Чернышевский, — подсказал Иван Александрович, и оба невольно посмотрели на противоположный берег Невы.

— Знаете, — вдруг хохотнул Тютчев, — много лет тому Мюнхене видел я цирковое представление: ученые зайцы палили друг в друга из махоньких этаких пушечек. Ну, и маршировали, все как следует, под командой хозяина в цилиндре, с кнутиком в руке. И вот читаю я наши журналы, а перед глазами эти зайцы. Достоевский дал щелчка Салтыкову — я жду ответного выстрела и в очередном «Свистке», разумеется, нахожу: там какая-то сомнительная острота, что-то такое: «Мертвый дом» по французским источникам. Ну, думаю, держись теперь, «Современник». «Время», как обычно, запаздывает, и следующий залп раздается, к моему изумлению, из «Русского слова», да какой: не вам, дескать, смеяться над «Мертвым домом», из вас никому — конечно, кроме Чернышевского, это специально оговорено, — ничего подобного не написать, и вообще такие произведения пишутся кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола! Мило, не правда ли?

— Кто же это гриб Салтыкову поднес?

— А бог его знает, новичок безымянный в обзоре журналов. Но и достанется же ему теперь, бедному. И опять пойдет потеха. Ну, как же не зайцы ученые? Тут мятеж пылает, война грозит, листки подметные по улицам летают, а они друг в друга из

пушечек игрушечных палят. Да еще Тургенева все по косточкам разнимают, нет другой заботы — шаржу он на них сочинил или панегирик. Кстати, о Тургеневе-то какой странный слух прошел…

— Что такое? — глухо спросил Иван Александрович. Его знобило, и давешнее скверное предчувствие вернулось.

— Да вздор, в сущности, но ведь, знаете, дыма без огня не бывает.

— Что же? — повторил Иван Александрович.

— По-видимому, оказался прикосновенен к некоему делу… — Тютчев опять покосился на тускнеющий Петропавловский шпиль. — Его вызывают сюда для объяснений. А в немецких газетах мелькнуло даже, что будто бы собираются арестовать. Да это нелепость. Его роман так понравился во дворце. И сам Долгоруков во всеуслышание объявил, что «Отцы и дети» имели самое благотворное влияние на умы возбужденной молодежи. Против него ничего не может быть. Приедет, и все мгновенно разъяснится. Вот только как бы Иван Сергеевич со страху не остался в Париже навсегда. Ну, прощайте, мой родной, вы, я вижу, прозябли, да и мне пора.

Опять облобызались, и Тютчев проворно забрался в карету.

— Чуть не забыл главную новость! — крикнул он, опустив окошечко. — Сегодня решено отправить в Вильну генерала Муравьева. Этот не выдаст! Это настоящий человек!

Иван Александрович взял дрожавшую Мимишку на руки и скорым шагом пошел домой. Сумерки сгущались, и раза два он ступил в лужу. «Заболею, — думал он, — и пусть, и очень хорошо. Больной, загнанный, затравленный, не понятый никем и нещадно оскорбляемый… За что же, за что они так со мной поступают, господи. Как он смотрел на меня, подмечая каждую перемену в лице, как силился выудить хоть словечко, чтобы было о чем рассказать в письме задушевному приятелю! Придумано не худо — остаться за границей навсегда. Почему и не уехать, если есть средства, а тут, видите ли, жить опасно. Добывши себе на весь свой век литературный капитал, распространить между немецкими и французскими писателями остальное, создать там школу, стать во главе ее, быть представителем русской литературы за границей и через тамошние трубы прославиться и здесь, став на место Пушкина, Гоголя, и уничтожить Гончарова с его романами, растаскав их по клочкам! Это иначе и не может быть сделано, дома этого сделать нельзя. Раздать своим — и некому: если выйдет дрянь, то никакого подрыва мне не будет, а склонить талант посильнее — невозможно! Обнаружилось бы в нашей литературе тотчас — и он осветился бы весь и провалился! А в Париже удобно, тем более что прихвостни, кумовья, друзья

глаз не спустят с Гончарова, о каждом шаге доложат, на улице преследовать не постыдятся… А еще поэт, лирик, старый человек… откуда такая жестокость? Что я им сделал? Нет, это я, это я небезопасен в любезном отечестве!..»

Остаток вечера прошел ужасно. Напившись чаю и приняв брому, Иван Александрович укутался поверх стеганого халата в теплый плед, уселся в кресле против камина, закурил одну из самых дорогих и вкусных, в заветном ларчике сохраняемых на особый случай сигарок и долго смотрел в огонь, а Мимишка прикорнула у его ног. Но посреди всей этой благодати мрачные мысли не оставляли его, было скучно, и страшно, и гадко, и знакомые лица гнусно ухмылялись ему из пламени камина.

И долго, пока не заснул, Иван Александрович молча, про себя, рассказывал какому-то неведомому другу историю своей погибшей жизни — жизни, которую, смешав с его же сочинениями, кто-то превратил в одну огромную злую шутку.

«Наблюдать в сто глаз каждое движение, счесть, как волоса на голове, все не только слова и поступки, но уследить и мысли — и потом передать это оглашению и суду массы! Так не исправляют, а убивают, и притом убивают медленно и тысячу раз! — с нестерпимой жалостью к себе восклицал Иван Александрович. — Если уже делать так, то надо делать со всеми, а не с одним. И все это за то, что в характере, таланте есть нечто свое, оригинальное: это не причина, чтобы терзать при жизни!.. Если человек даровит, то тем более, кажется, надо бы щадить его, предоставив ему делать или не делать свое дело, и делать то и так, как он может и хочет? Я должен был служить, должен был, по недостатку средств, жить в Петербурге, в неблагоприятном для пера климате; не было у меня ни деревни, ни денег жить за границей, как у Толстых, Тургенева. Как меня мучили, ломали, как дети игрушку, чтоб узнать, что такое там…»

Когда со стороны крепости донеслись первые залпы, Иван Александрович уже спал в своем кресле. И всхлипывал во сне.

— Мамаша, милая, умоляю: отойди от окна. Ты простудишься. И ничего там, на улице, все равно не видно. Да и не на что там смотреть.

— Не простужусь. Ты ложись, Верочка, пора. Не порти глаза.

— Сейчас. Тут, в этой «Искре», что тебе дал Благосветлов, одно стихотворение есть очень страшное. Как будто злорадное. Или я не так поняла. «Искра» ведь честный журнал, правда? А вот послушай:

Молитвой нашей бог смягчился:

Роман Тургенев сочинил, —
И шар земной остановился,
Нарушив стройный ход светил.
Под гнетом силы исполинской
Уже трещит земная ось…
И Чернышевский, как Кречинский,
В испуге крикнул: «Сорвалось!»

Может быть, это как бы от лица негодяев? Они торжествуют, а этот Курочкин их передразнивает? Но разве это смешно? Слушай дальше, самый ужас:

И нигилист за нигилистом,
Как вихри снежные с горы,
Казнимы хохотом и свистом,
Летят стремглав в тартарары…

Что ты молчишь? Я боюсь! Мама! Это из крепости стреляют, да?

— Из крепости. Я забыла, сколько полагается выстрелов — тридцать один, что ли. Нет, кажется, даже больше. Сто один. А пушки ставят на крепостных стенах. Над самой головой у него. Бедный мальчик, бедный, бедный мой, что же делать, о боже!

Пламя сального огарка развевалось над оловянным подсвечником, норовя сорваться с фитиля, и трепещущая тень, едва похожая на человеческую, летала по сводчатому потолку. В томительной паузе между залпами она раскачивалась все тише, становилась отчетливей, — но опять мелькала слабая вспышка в верхних ячеях окна (как будто громадной спичкой чиркали о крепостную стену), и, вздрогнув от нового удара, опять носилась из угла в угол неузнаваемая тень.

Лепестки закоптелых белил, проплывая перед глазами, садились на бумагу, на пути грубо очиненного пера, и сдувать их следовало деликатно, чтобы не повредить непросохших букв.

«Что мне делается! — написал заключенный и поставил изящный восклицательный знак. — По обыкновению здоров и счастлив».

Это он сочинял очередное письмо к матери: взобрался с ногами на дубовый табурет и сгорбился над хлипким столиком, придерживая левой рукой отвороты халата. Фейерверк не

занимал его нисколько: куранты пробили три четверти десятого, свечу надо гасить с минуты на минуту, приходилось спешить.

> «По тону твоего письма, душечка Maman, я вижу, что ты почти так же грустишь и беспокоишься, как в то время, когда я был у Штейна. Не знаю, как бы мне уверить тебя, что я действительно ни в чем не нуждаюсь и не чувствую ни малейшего страдания — ни физического, ни нравственного».

Болели зубы, кровоточили десны, и собственное дыхание было противно; все эта скаредная кормежка, так и до скорбута недалеко; в день ареста не оказалось при себе денег, а пригодились бы: хоть чаю порядочного спросить.

> «В крепости жить очень дешево, что при дороговизне петербургской жизни вообще очень приятно».

Все бы ничего, если бы не этот влажный, чадный, смрадный воздух: холодно и вместе душно; слезятся глаза, и зудит липкая кожа; что утром и вечером дым ползет из коридора от растапливаемых печей — куда ни шло, но от скверной копоти ночника нет спасения, въедается в поры, грязнит белье, чернит бороду, и вообще все время такое чувство, словно тонешь в грязной, жирной, отравленной воде. Впрочем, начальство уверяет, что деревянное масло, которое горит в ночнике, — последнее слово тюремной мысли, а вот до шестьдесят первого года полагалось конопляное, так это уж точно был ад.

> «Зачем горевать? Ведь все же это со временем пройдет и понемногу забудется, как начинает забываться и мое пребывание у Штейна».

Да нет, бесполезно, пустая трата слов. Дома все равно убеждены, что он из великодушия (прелестное словцо!) бодрится, из жалости к мамаше, и никакими шутками, не говоря уж о разумных доводах, с этой точки их не сбить. Начитались романтических баллад, а там изможденные страдальцы гремят цепями и оглашают темницы стенаниями. Как же не восхищаться драгоценным Митенькой, раз он выказывает такую силу духа — стенать не хочет. И невдомек им, бедным, что привыкает, и быстро привыкает человек к любому, самому тягостному положению, что мучителен только страх, а он скоротечен, он длится лишь до тех пор, пока неизбежное остается неизвестным, пока ведут из прежней жизни в новую по гранитным лестницам,

по темному коридору мимо запертых дверей и вооруженных людей. Но, как и все остальное, кончится же когда-нибудь коридор, и распахнется с лязгом дверь в назначенный нумер, — и будущее, неразличимо мрачное издалека, становится тусклым, но очевидным настоящим, а кто же боится настоящего? Разве меланхолики, но мы-то, слава богу, излечились. Спору нет, декорация убогая, с благосветловской квартирой не сравнить, бронзовых амуров у нас в девятом каземате не водится, шато-икемом не потчуют, и есть на манер диких зверей, без ножа и вилки, не слишком ловко, и пол ужасно холодный, точно под крашеным войлоком не камень, а лед, и темно, как в самой поэтической темнице. Но чтобы из-за этого стенать? Нет уж, увольте. И ради всего святого перестаньте бредить каким-то дурацким великодушием, будто это заслуга — не быть скотом и не пугать родных неудобствами казенного дома. Стенать просто-напросто не резон, и неприлично, и недосуг, наконец. В тюрьме, как и в больнице, день нарезан мелко-мелко, ключ в замке то и знай гремит, особенно до обеда: первым плац-адъютант пожалует, за ним доктор, потом комендант, а вечером еще и поп. Да троекратный ритуал приема пищи, да сборы на прогулку, да сама эта прогулка, да церковные службы, да мало ли еще что. В любой день могут взять на допрос, а то и Суворов приедет или от него кто-нибудь. Одно переодеванье (из арестантского в свое, а потом наоборот) чего стоит, а сколько других микроскопических хлопот, какая паутина унизительных навыков, насильственных привычек, как устаешь. После обеда сон не побороть, но так все хитро подстроено, что и наяву словно бы спишь, словно бы в дороге укачало, только не версты мелькают в окне, а над головой куранты через каждую четверть часа выводят разные коленца. (Забавно: живешь в музыкальной шкатулке.) И не помнишь, и нужды нет (на самом деле — нет сил) помнить, где твоя станция, а там ведь ждут, плачут, ломают руки… напрасно. С нами тут в крепости делают вот что: отнимают волю. Не ту, что за воротами (ее, впрочем, тоже), а другую — волю хотеть. Стараются, чтобы она сама отнялась, как рука или голос, чтобы человек ослабел и ему стало все равно, чтобы закутался, как в солдатское одеяло, в подробности распорядка; чтобы жил только здесь и сейчас и был только тем, кем числится в ведомости… Отнимают волю, а взамен дают покой. Все забыть, ничего не надеяться, то есть не чувствовать тоски, — соблазн почти неотразимый.

Очередной порыв поддельной, механической грозы пронесся по каземату. Нашли тоже забаву. Зарыли человека живым в землю, нагромоздили над ним гранитных глыб, втащили на самый верх артиллерию — и палят в небо, да с этакой величавой

оттяжкой палят, как бы мощь государственной твердыни обозначая. И довольны. А твердыня — просто исполинская кутузка, а хваленая мощь вскормлена глупостью и страхом, оттого и непобедима. Впрочем, посмотрим. Они бы и рады этим дурацким каменным прессом расплющить меня под моей злосчастной рукописью, но на сей раз, пожалуй, не решатся, а впредь будем умней. Да и любви такой больше не предвидится — вернее, такой утраты, чтобы из-за нее собой не дорожить. Двадцати трех не исполнилось, это же молодость, — и все самое скверное уже случилось, а стало быть — позади. Чего теперь-то бояться? Ну, сошлют года на два. Maman за мной поедет, домик приищем, Благосветлов денег пришлет и книг. Надо, чтобы окно выходило в сад, и глубокое, покойное кресло купить для Maman, по вечерам читать ей вслух, что напишу за день. В месяц листов пять печатных, это уж самое малое, — в провинции ведь даже и нечего делать другого, только читать и сочинять, разве еще на почту ходить. Как добьюсь настоящей известности, устыдятся в ссылке держать, а там возьмем Веру и Катеньку — и за границу, хоть на год, хоть на полгода, денег хватит, заработаю. Хорошо бы девочки приналегли на английский. Какая это будет им радость — увидеть Лондон. А Герцен подойдет и проговорит…

— Ночник! — слабо вскрикнул солдат за дверью, и сразу оказалось, что на крепость еще мгновение назад пала всегдашняя тишина, состоящая из множества знакомых шумов. Должно быть, последние залпы канонады поглотили бой курантов. Десять часов, а письмо не окончено, вон еще сколько места.

Поспешно слез с табурета, схватил подсвечник. Ступни затекли, онемели, восемь шагов до окна не прошел, а проплыл в аршине над полом, словно кукла, пляшущая на нитке. Пошатываясь, поджег толстый фитиль, торчащий из плошки с маслом, задул свечу, поставил ее на узкий подоконник, проковылял еще девять шагов и повалился на кровать, на засаленное сукно, лицом в костлявую подушку с черной печатью на наволочке.

Лязгнула шторка в смотровом оконце: часовой отошел. Писарев осторожно поднялся, на цыпочках прокрался мимо двери к столу, нагнулся над ним как мог низко и, обмакнув кончик пера в оловянную чернильницу, нацарапал торопливо и почти наугад:

> «Я не думаю, чтобы я, подобно Шильонскому узнику, вздохнул когда-нибудь о моей тюрьме, но я совершенно уверен в том, что всегда буду вспоминать о времени моего заключения с самою добродушною улыбкой. Мне даже иногда становится смешно смотреть на себя: какой

я кроткий агнец, и как я со всем примиряюсь, и как я всем остаюсь доволен! — Со стороны смотреть, должно быть, еще смешнее, но мне, от кротости моей, очень хорошо; эта кротость похожа на пуховик, который предохраняет меня от боли при каждом падении».

Вот теперь другое дело — лист исписан с обеих сторон, убористо, без полей. Остается проскользнуть к кровати, снять, превозмогая дрожь, туфли и чулки, плотно завернуться в одеяло и халат. Кожа смирится с отвратительным прикосновением отсыревшей простыни, тело чуть обмякнет в тугом коконе, хоть ненадолго удерживающем тепло, — и ты свободен. Выбирай время, место, лицо, поговори с кем хочешь. Пройди по факультету, вернись в Грунец, догони в горелки Машу Вилинскую, можешь даже спрятаться от дождя в щелястой беседке, видишь — Раиза уже усадила кукол на кособокий круглый стол. Но что уж об этом-то, лучше пробрать хорошенько Павла Петровича Кирсанова — ишь, манерный бездельник, едва ли еще и не гордится своей ненужной жизнью, смеет смотреть свысока; и Аркадию, то есть Коле Трескину, надо объяснить, как он мелок и смешон, с ним церемониться нечего. Всмотрись в игру пятен на своде, постарайся вообразить, будто слышишь плеск реки, протекающей по ту сторону коридора; и не пугайся астматического голоса раззолоченной колокольни: пора привыкнуть, ничего не поделаешь, мальчик попал в табакерку, — скучная сказка, но кончится же когда-нибудь. Не в табакерку, а в сундук с закругленной крышкой; Maman в таком же хранит мои письма; и точь-в-точь такой жилой сундук изготовили для Гулливера, когда он попал в страну великанов; огромный орел, вцепившись в кольцо на крышке, унес домик-клетку вместе с Гулливером, а потом уронил в море. Красивый орел, красно-черно-золотой, двуглавый. Завтра первым делом — отдать письмо.

Писем этих на рабочем столе коменданта Санкт-Петербургской крепости генерал-лейтенанта Алексея Федоровича Сорокина набралось уже несколько штук, но все как-то руки до них не доходили. По случаю плачевных польских дел военный совет созывали чуть ли не каждую неделю — изволь с утра отправляться во дворец, и, почитай, на целый день; и по крепости хлопот не оберешься, за каждой мелочью проследи, это же срам, какие теперь офицеры пошли, положиться не на кого, государственный герб, что над воротами, не догадаются подновить, пока не прикажешь. Да еще роман этот — «Что

делать?» — пропасть времени отнял. Так что не прогневайтесь, сударыня, придется вам еще пообождать, тем более что не такой у вас сынок, чтобы просматривать его цидулы спустя рукава. Недолюбливал Алексей Федорович этого лицемерного юнца. Даже Полисадову намекал: не доверяйте, отец Василий, набожности арестанта Писарева, не стоит он вашей заботы, а в церковь просится в лучшем случае для моциону. Конечно, у Полисадова могут быть свои виды, мешаться в них не след, но неужто нельзя в разговоре с должностным лицом обойтись без елейного вздора насчет молодых умов и разбитых сердец? Шестьдесят восемь лет прожито, более полустолетия — в военной службе, научились разбираться в людях, не беспокойтесь. Этот барчук, хоть и нацепил личину кротости (чем и похваляется перед матерью; несчастная женщина, ничего не скажешь, а кто виноват? — воспитывать надо было), — испорчен до мозга костей. Алексей Федорович не поленился заглянуть в дело и убедился, что Следственная комиссия тоже раскусила Писарева с первых же допросов, во всеподданнейшем докладе так и сказано: злостная неоткровенность. Да не умеет князь Голицын обращаться с преступниками. Хотя — кто теперь умеет? Вон Чернышевским Третье отделение занимается, чего бы, кажется, лучше, — а толку что? Ходят вокруг да около, каких-то новых улик дожидаются; до того заигрались, что едва не прохлопали: отпустил бы его Сенат на поруки — поминай как звали. Ну, то Чернышевский — личность серьезная, с большими связями, да и умен же, каналья. А наглого мальчишку Долгоруков с Потаповым поставили бы на место живо.

Ведь, что ни говорите, следствие располагало изготовленной для нелегальной печати, тепленькой еще рукописной статьей, ниспровергающей существующий строй, с неслыханными дерзостями против государя и августейшей семьи, — это раз. Второе — арестованный сообщник, указавший на автора статьи, благодаря чему этого самого Писарева удалось захватить без промедления. Преступник напуган, растерялся, от всего отпирается — отлично: дайте ему очную ставку с благоразумным приятелем, поручите сенатским секретарям исследовать почерк, объясните вразумительно, чем пахнет оскорбление величества и приготовление к бунту, — и все это как можно скорей, не давая опомниться. Ну и ножкой притопнуть. Глядишь, и показались бы наружу пружины подземной интриги. А промедлили — обернулось фарсом. Изобличенный злоумышленник, приветливо улыбаясь, сообщает высочайше утвержденной Следственной комиссии, что он человек легко увлекающийся, даже склонный к умопомешательству, что действительно составил крамольную

статью — под впечатлением минуты, из мальчишеского ухарства, — но в спокойном расположении он, знаете ли, крайних суждений не одобряет, и статья ему не нравится.

Вот и подступись теперь к нему. Кандидат университета, хорошая фамилия, приятные манеры, открытый взгляд, и рассказывает с доверчивым выражением, охотно, с подробностями даже, — но о чем, о ком? — о жестокой кузине, из-за которой он якобы лишился рассудка. Послушаешь, и вопреки очевидности сомнение берет — да полно, этот ли чувствительный птенчик сочинил пасквиль, где обо всех о нас выразился коротко и ясно: «Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла». Хороша любовная горячка! Кузина его, видите ли, погубила.

И еще развязно так держится: дескать, признался, раскаялся, чего вам еще; дескать, сказано же вам, что статейка — вчерашний день, заблуждение запальчивой юности, впредь не повторится. Вроде и не глуп, а все-таки верит, будто предстоит ему какое-то «впредь» помимо каторги. Будто не все равно, сгоряча он свой злокачественный образ мыслей высказал или готовился загодя. Разжалобить думает. «Я умоляю Его Величество не считать меня закоренелым преступником и взглянуть на мою преступную статью, как на минутный порыв, а не как на выражение, обдуманного плана действий. Я так молод, так способен увлекаться и ошибаться, так мало знаю жизнь, что часто не умею взвесить свои слова и поступки. Все это нисколько не оправдывает меня, но я уверен (он уверен!), что Высочайше утвержденная комиссия повергнет эти обстоятельства на милостивое внимание Его Величества (дожидайся!), и что милосердие Монарха даст мне возможность загладить последующим моим поведением совершенное мною преступление». То-то вот и оно, что кандалы не свой брат, и смелости нет получить, что заслужил. Милосердия захотелось. Много он заботился о милосердии, когда к злодейству призывал. А уж коли так хочется спастись — попытайся заслужить, нечего невинность соблюдать, будь мужчиной, будь дворянином, наконец: возьми перо и, чем маменьке всякие пустяки писать, изложи по порядку — кто подучил, кто заграничными изданиями снабжал, о чем там у вас в Шахматном клубе толковали. А то искренности ни на грош, никогошеньки не назвал, а туда же — надеется.

Нет, не уважал генерал-лейтенант Сорокин заключенного Писарева и, между прочим, не собирался, ежели речь зайдет,

скрывать от государя, что это за личность. Вообще литераторы нынешние его разочаровали. До позапрошлого года, пока не привезли Михайлова, люди этого сорта не попадались, и Алексей Федорович в простоте душевной ожидал то ли каких-то необыкновенных поступков, то ли хотя бы занятных речей. Ничего подобного, арестанты как арестанты, да еще хитрые, скрытные, высокомерные. Только и знают претензии заявлять, а домой пишут, что всем довольны, причем напирают на правильный и спокойный образ жизни, будто им лекарь прописал в крепости посидеть для поправления здоровья, и как раз вовремя, и они сами об этом с детства мечтали.

Этой обязанностью — читать письма заключенных — Алексей Федорович весьма тяготился, никак привыкнуть не умел.

Как хотите, а недостойное это занятие для кавалера всех российских орденов, для военного человека, пожалованного двумя (да, представьте, двумя!) золотыми шпагами с надписью «За храбрость» (причем та, что за Варшаву, — просто золотая, а за венгерскую кампанию — украшена еще бриллиантами). Разбирать каракули разных напрокудивших щелкоперов (которым хоть и велено писать короче и непременно по-русски, а все без толку: лепят слово к слову, поди прочти); вникать в их семейные обстоятельства, денежные счеты, ученые соображения, литературные планы (удивительное создание человек! — его рудник ждет, а он о статьях будущих толкует); проверять излияния чувств, запоминать поклоны, считать поцелуи… тьфу! Приятного мало, видит бог, но переписку государственных преступников никому не передоверишь; в сущности, даже и откладывать не следовало бы: вдруг там сведения важные (вот как давеча про Чернышевского, — что на поруки-то отпускают); в письмах проговариваются даже заключенные, а родственники — те болтают, как у себя в гостиной за чаем, с прелестной доверчивостью: какое, мол, начальству дело до нашей частной жизни, кто там станет в подушках рыться. А вот приходится, такая должность.

Есть расположение, нет ли, но уж если стопка бумаг на столе выросла вровень с крышкой чернильницы — дальнейшие проволочки неуместны, и прочие дела побоку. Отпираем бюро, берем с верхней полки любимую походную лупу в потертом зеленого сафьяна футляре. Из потайного ящичка достаем тетрадь с тщательно и замысловато нарисованным на обложке ключиком (рука еще тверда, линия как награвирована, кто не служил в чертежной инженерного департамента — нипочем не поверит, что тушь, хоть бы и английская, бывает столь послушной). Тут имена, названия, цифры — вся существенность, которая остается, если

высыпать болтовню арестанта в сито и как следует встряхнуть. Против каждого имени — пояснение, а к нему по мере проникновения в обстоятельства добавляются примечания. Спасибо Потапову, Александру Львовичу, что надоумил; без тетрадки этой в самую пору было бы теперь к Николаю-Чудотворцу, в желтый дом. Как ни скучно с нею возиться, но зато память спокойна, — это невыразимое облегчение. И удобно: вся житейская обстановка преступника как на ладони, характер его выказывается от письма к письму ясней, да еще накапливаются впрок разные хоть и посторонние, но полезные факты.

Вот, пожалуйста: наш главный умник — Чернышевский — просит *Пыпина* передать поклон брату и кстати роняет, спасибо ему, два-три словечка о событиях прошлого лета. Тотчас отыскиваем литеру *«П»* — тут у нас на *Пыпина* целая страница — и вписываем: «По отъезде профессора Пыпина у Чернышевского оставался брат его». Сегодня этот безымянный брат никому не нужен, а завтра, глядишь, и понадобится… Позвольте! Да ведь он на этой странице бог знает как давно живет: Серно-Соловьевич о нем, о младшем *Пыпине*, упоминает в письме от восьмого прошлого сентября. Итак, сей юноша, родственник заключенного Чернышевского, служит приказчиком в книжной лавке, принадлежащей заключенному Серно-Соловьевичу?

Генерал-майор Потапов таким находкам радуется, как дитя малое. Оно и понятно: воображение возбуждается, когда так явственно вдруг блеснет на свету паутинка, тянущаяся из каземата в чей-нибудь кабинет, а оттуда в другой каземат… Но разве это новость, что все наши подопечные знакомы и дружны между собой? У того же Потапова давно заготовлен список подозрительных лиц, подлежащих арестованию в случае каких-либо чрезвычайных происшествий: одни профессоры и журналисты; там и Пыпины, и Утины, и еще какой-то Гиероглифов, всего-то человек с полсотни. Ну и взяли бы голубчиков хоть нынче в ночь, как-нибудь поместятся, вон обе куртины стоят еще наполовину пустые, — и сразу очистился бы воздух в столице, — так нет же, все миндальничаем, все на Европу оглядываемся: ах, как бы, не дай бог, там не подумали, что возвращаются порядки предыдущего царствования. Скажите, как не угодил Николай Павлович (царство небесное), какой страх по себе оставил. Но он-то Европу вашу хваленую держал вот где. Крутенек был, точно крутенек, да зато при нем и не слыхивал никто, чтобы за сажень восьмивершковых дров платили двадцать шесть рублей ассигнациями; при нем бородатый в пледе, с сигаркою в зубах по Невскому не разгуливал бы, шалишь! — такому одна была дорога: в смирительный дом; а уж девиц без

кринолинов, стриженых, которые на лекции шастают, любоваться, господи прости, как покойников режут, — этакой срамоты и в неладном сне вообразить было невозможно. Полячишки, правда, и тогда бунтовали; дело известное: как покойный фельдмаршал Паскевич говаривал — такая уж у них география, что либо бунтуют, либо подличают. Но и острастку же мы им дали — на тридцать лет хватило; не нянькались; и никакие державы пикнуть не смели, не то что заступаться; а теперь до того дошло — грозят (все Крым, несчастье наше, француза раззадоривает, храбрость в нем разжигает). Ан просчитаются. Тут уж государь не уступит: воевать так воевать. Вся Россия в негодовании поднялась, как один человек, как в двенадцатом году было. Подлинно, нет худа без добра. Ведь эти-то, Писаревы-то да Чернышевский с компанией, на что надежду полагали? Крестьяне, мол, разочарованы, помещики озлоблены, молодежь распущенная прокламаций начиталась, — чиркни спичкой, государство и сгорит. Или хоть задымится. А на поверку не то вышло. Всякая рознь позабыта. И как ни набаловано общество наше послаблениями, а при звуке опасности вспомнили все, наконец, что мы — русские (это Катков Михаил Никифорович в «Московских ведомостях» чудесно объясняет), и с презрением отвернулись от горстки изменников с Герценом знаменитым во главе. Отец Василий-то справедливо Герцена генералом от революции величает. Действительно, все следы к нему ведут, за границу. И Михайлов свой листок в Лондоне отпечатал, и Шелгунов там побывал (не с ним ли вместе? а еще офицер, называется, подполковник!), и Чернышевский туда же собирался, через Серно-Соловьевича его приглашали (такую штуку доверить письму! совсем уж полицию за дуру принимают). И даже у тихони нашего, у Писарева, при обыске дома портрет чей бы вы думали отыскался? В книжной лавочке, говорит, купил, случайно, говорит, для истории литературы. А прокламацию сочинял — тоже случайность это, что Герцен там через два слова на третье? Вот и сидите, миленькие. Тут вам и Лондон, и парламент, и, как его там, — Гайд-парк, одного жаль: предводитель ваш далеко (острое, ей-богу, перо этот Катков, ну надо же так поддеть — «за спиною полисмена прячетесь». Молодец!).

А тихоня, даром что самый молодой, на письме поосторожнее прочих. Имен почти нет. Ну, *Верочка, Вера* — это понятно, это сестра (меньшая, незамужняя, восемнадцать лет). *Кахас, Какас* — прозвище другой сестры (двенадцать лет; надо думать, еще не заражена идеями; да братец и жил отдельно). Теперь *Григ. Евл.* Это, конечно, Благосветлов Григорий Евлампиевич, редактор «Русского слова», господин препротивный и предерзкий, вертелся

тут, свиданий вздумал требовать с арестованным (на каком основании, позвольте спросить?), что-то лопотал насчет каких-то денег из Литературного фонда: пускай, дескать, Писарев только просьбу подаст. Зря, между прочим, тот отказался; что за честь, коли нечего есть; при дороговизне петербургской арестанта и на полтину в день не продовольствуешь, а как же на тридцать-то копеек, а перед господами сенаторами негоже являться истощенным, да и его светлость князь Суворов у нас больно жалостливы. Своих денег, однако, Благосветлов не предложил, — то ли скуп, то ли побоялся выказать слишком уж горячее участие. Мог бы и не бояться — поздно: наш пациент, без сомнения, наш пациент. Вон в справке-то из Отделения как аттестован: «Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству». Все как и следует быть; до скорой встречи, любезнейший.

С *Григ. Евл.,* таким образом, тоже ясно: это друг, достойный друг и покровитель. Но что и впрямь прелюбопытно было бы знать, это кто такая мадам *Гарднер*. В каждом письме — поклон ей, да и ласковый… Вот, извольте, опять: «Поклонитесь от меня всем знакомым, в особенности m-me *Гарднер*…» Оборот ли это заранее условленный (нет! почти невероятно), или в самом деле существует такая госпожа? Слышано ведь, слышано это имя, но где?

— Пакет, ваше превосходительство. От его высокопревосходительства генерал-губернатора, светлейшего князя Суворова-Рымникского!

Как же, как же, еще бы не Рымникского. Дед для того и колотил турок, чтобы внук, славным титулом прикрываясь, прохлаждался на высших должностях, а влияние и власть употреблял на попущение врагам религии и царя — нигилистам. И что горше всего — государь ему верит! Верит человеку, который во дворце похваляется своей преданностью, а сам под рукой, через адъютантов предуведомляет Чернышевского, что решено его взять, и паспорт заграничный предлагает! Вот она, гуманность-то!

Ну-с, поглядим, какую еще новую льготу светлейший для своих любимцев изобрел…

«Мать содержащегося в здешней крепости литератора Писарева (ах, вот оно что, пришла охота и этого пригреть; и он уже не кандидатом университета пишется — литератором; нетрудно догадаться, о чем просит безутешная мать, — так и есть!) ходатайствует о дозволении сыну ее, во время содержания под стражей, продолжать свои литературные занятия, которые до заключения его в крепость составляли единственный источник

как для собственного существования этого литератора, так и для поддержания его семейства. (До чего трогательно; вот и подумал бы о семействе, прежде чем прокламации сочинять; да только не очень-то он родным помогал: по письмам видно — все в карты просаживал.) Принимая во внимание, что литературные (о господи, сколько можно!) произведения Писарева, прежде напечатания их, по установленному порядку будут (прямо — будут! по установленному, ишь ты) рассматриваться цензурой, я с своей стороны не нахожу препятствий (так-таки не находите, ваша светлость? — забавно…) к удовлетворению означенного ходатайства г-жи Писаревой. (Вот как просто; удовлетворим, стало быть?) Сообщая об этом Вашему превосходительству для зависящего от Вас распоряжения (ага, сейчас, сам побегу перья очинивать), покорнейше прошу уведомить, каким порядком полагаете Вы отправлять в цензуру произведения Писарева».

Вот это правильно. Сразу видно строгого начальника. Непременно, непременно нужно порядок соблюсти самый надежный, а то как бы, не дай бог, не потерялось какое произведение. Ай да светлейший князь! Ай да генерал-губернатор! Самого себя превзошел. Впору хоть караул кричать. На гербовой бумаге, с печатью, где орел двуглавый, за подписью вельможи, сановника, полного генерала — такая бесстыдная, такая злорадная насмешка над законом, над безопасностью государства, над монаршей волей, наконец! И ведь хитер: не пишет «разрешаю», знает, что власти такой у него нет, а сразу исполнения требует. Уведомьте его. Сейчас уведомим. Вот вам резолюция, извольте:

> «Объяснить в донесении, что просьба г-жи Писаревой подлежит распоряжению Правительствующего Сената, в который должны препровождаться и рукописи для дальнейшего распоряжения. Но заниматься литературном трудом в казематах высочайше воспрещено. Разрешение такового есть особенная высочайшая милость…»

Да уж, при покойном императоре никто ни о чем подобном и заикнуться не посмел бы. Литературные занятия! Разве не за литературные занятия всех этих образованных господ сюда и засадили? Разве не для того именно, чтобы отнять возможность распространять злонамеренные суждения? Это крепость, милостивые государи, а не санатория для сочинителей. Здесь скучно, и страшно, и так и быть должно, так преступнику и надо, а невинные к нам не попадают, невинные вон по Неве на прогулочном пароходе «Комета» с музыкой катаются, белыми

ночами любуются, сиренью цветущей дышат — летом. А зимою — на коньках, с факелами, с фонариками. Полезное изобретение — английские эти катки. Но — для невинных. А коли виноват — сиди под замком. И моли еще бога, чтобы подольше не отправляли в Шлиссельбургский замок или в Сибирь. У нас-то что, самое легкое считается заключение; при смирном поведении так даже и поблажки: хочешь книжку от тоски почитать — читай, мы не изверги, понимаем (библиотека скверная — уж какая есть: не отпускает министерство денег на покупку новых изданий, — да и не все, что печатают, арестанту полезно); а вот сочинять что-либо, кроме писем к родным да чистосердечных признаний, — не дозволяется, и не проси. И чернильниц-то в камерах не положено держать, их на всю крепость не более десятка; каждый полезет в авторы — не напасешься. По-настоящему, если уж на то пошло, надо бы как: неймется заключенному писать, — дар в нем гибнет литературный или просто одиночество томит, — вот грифельная доска, пиши на здоровье, это приличней, чем самому с собой громко беседовать; пиши и стирай, оно и для слога, говорят, хорошо. Да какое там, толковать о гуманности мастеров много, а попробуй-ка добиться позволения на копеечный расход — сколько бумаги изведешь, и все впустую. Этого, мол, нельзя, доски не предусмотрены. А предлагать заслуженному воину, боевому генералу, раненному в голову осколком турецкой гранаты, контуженному в руку и в ногу, — сделаться на старости лет журнальным комиссионером и состоять на посылках у преступного и коварного мальчишки, — это можно? Это предусмотрено?

Остынь, Алексей Федорыч, остынь, побереги сердце, не ровен час — кондратий подберется, а неприятели только того и ждут, очень мешает кое-кому старый, черствый сухарь-комендант. Этот кон все равно проигран, Суворов своего добьется, потому что зацепка есть, без зацепки той он поостерегся бы шутки шутить. Завтра придет запрос: как же так — в казематах не позволено авторствовать, а в равелине, в Секретном доме — сколько угодно? Что за беспорядок? Вот он, козырь; крыть нечем: ошибка-то допущена, и этот роман «Что делать?» еще наделает бед; поздно оправдываться, валить друг на друга, рассказывать, как в Отделении возились с доказательствами, как Сенат подыскивал подходящую статью закона, и все медлили, все чего-то выжидали, и никто не знал наверное, как обращаться с Чернышевским, и только он один ни часу зря не терял. Не расскажешь, и слушать не станут, и по дурному примеру, якобы справедливости ради, получит-таки Писарев высочайшее разрешение. Ну и что, подумаешь, пусть его литераторствует несколько времени, пока

приговор не готов. Цензура теперь настороже, да и мы проследим, чтобы нового вреда отечеству не вышло: провртся юноша — пускай пеняет на себя. А светлейшему эту обиду попомним и отплатим, дайте срок.

Алексей Федорович внезапно успокоился. Насвистывая почти беззвучно, как бы шепотом «Гром победы» (подчиненные коменданта цепенели, заслышав это бодрое шипенье), он проглядел остальные письма (пожива оказалась невелика), подписал исходящие бумаги, начертал резолюции на входящих, убрал на место тетрадь с ключиком на обложке и снова вооружился лупой — на сей раз просто чтобы потешить усталую душу после очередного нелегкого, но достойно прожитого дня. В среднем ящике письменного стола, на самом дне хранился у него некий эскиз, собственноручно выполненный. Алексей Федорович, любуясь им, забывал о неприятностях. Вот и сейчас он положил перед собой, чуть пригладив ладонью, это лучшее свое произведение. На листе отличнейшей бумаги был изображен — как полагается, в трех проекциях — простой, но величественный, несмотря на скромные размеры, саркофаг. Все было продумано до мелочей, до последнего медного штыря, до последней свинцовой пластины. Тут же, в углу листа, имелись и смета — весьма умеренная, и план комендантского кладбища с указанием места для памятника. (Хотя этот план, строго говоря, ни к чему: кладбище-то вон оно, из окна видать, и коменданты лежат правильными рядами, один возле другого, один за другим, у восточной стены собора, позади алтаря, перед которым покоятся императоры…) Итак, все было в порядке, закончено и отделано, кроме надписи на обращенной к северу, не видной с крепостного бульвара грани саркофага, и вот ее-то Алексей Федорович с величайшим удовольствием подправлял ежевечерне.

Надпись гласила:

РОДИЛСЯ 12 ФЕВРАЛЯ 1795 ГОДА

В СЛУЖБУ ВСТУПИЛ 30 МАЯ 1812 ГОДА

В ОФИЦЕРСКИХ ЧИНАХ С 30 МАЯ 1815 ГОДА

СКОНЧАЛСЯ…

ВСЕЙ СЛУЖБЫ… ЛЕТ… МЕСЯЦЕВ… ДНЕЙ

Предпоследней строки Сорокин, естественно, никогда не трогал. В последней все три цифры проставлены были мягким карандашом. На вчерашний день цифры были такие: 50, 11 и 25. Он внес необходимую поправку и задумался. И вдруг спросил вслух неизвестно у кого:

— Так кто же эта мадам Гарднер? Знакомая какая фамилия.

Первое свидание с матерью дано было Писареву двадцать седьмого апреля и состоялось в доме коменданта, в первом этаже, в дурно освещенной проходной комнатушке по левую руку от крыльца.

Веру не допустили, она осталась ждать у южного портала Петропавловского собора, между колонн. Издали смотрела она, как два солдата и офицер провели Митю в дом, шагая так быстро и глядя перед собою так сосредоточенно, словно вот сию минуту изловили злодея и гонят на расправу и ожесточение схватки еще не прошло. Они не прикасались к ее брату и ничего ему не говорили, а все-таки вели, а не сопровождали, он подлаживался к их шагу, и его невольная, послушная торопливость казалась не менее явственной и унизительной, чем если бы его просто тащили на веревке. Видеть это было стыдно, страшно, так что сердцебиение отдавалось дрожью во всем теле; жалость и ненависть, смешавшись, обратились в такую жгучую горечь, которая всю дальнейшую жизнь Веры Писаревой отравила непобедимым отвращением к российской государственности. Впрочем, она успела заметить, что Митя не выглядит изможденным — чуть ли даже не потолстел — и оброс рыжеватой бородкой, что на нем солдатская шинель внакидку, а брюки серые, летние, и фуражка. Через час, когда его вывели, он сразу отыскал ее взглядом — и улыбнулся, и помахал рукой. И пока шел вдоль фасада комендантского дома, все спотыкался, потому что без конца оборачивался влево, в сторону собора, в ее сторону,

и она бежала вдоль ряда колонн, стараясь его обогнать, — но ему пришлось поворотить в проулок, и спина конвойного совершенно заслонила его.

Из разговора Писарева с Варварой Дмитриевной сохранились только две фразы, и вот каким случаем. Она, вернувшись из крепости (они с Верой временно поселились у Роговских, в той самой комнате, где первокурсник Писарев корпел над переводом из Штейнталя), тотчас уселась за письмо в Москву — к Раисе Гарднер. Потом и Вера ей написала. Оба письма Раиса уничтожила, однако не прежде, чем прочла. И отвечала на оба. А уж Варвара-то Дмитриевна, как ни была оскорблена, но не могла же не сберечь документов, которые понадобятся будущим биографам ее сына.

> «Chere ami Maman![3] — обращалась к ней Раиса. — Я ждала и не ждала от вас письма; то думалось, что не напишете, то казалось, что ваша любовь ко мне возьмет верх над чувством невольного отчуждения от всего, что вредно близкому человеку. Чувство это я понимаю, понимаю тоже, что вы считаете меня косвенной причиной горькой участи Мити; одного не могу я понять, как это он-то пожелал передать мне, что если он будет сослан, то виною этого — я. Какое действие думал он произвести этим обвинением, да и в чем состоит оно? В том, что я полюбила Евгешу? Так подобное обвинение не имеет смысла, да и очень оно опоздало; ведь Митя знал об этом чувстве два года назад. А если он обвиняет меня в том, что я приехала в Петербург, так попросила бы его припомнить все уловки и обманы, к которым он прибегал, чтобы убедить меня приехать…
>
> …Что мне не надо было соглашаться на предложения Благосветлова, оттого только, что тут было соприкосновение с Митей, так этого я до сих пор не понимаю, почему же? По последствиям я знаю, что не надо было ехать, но тогда не было уважительных причин. Впрочем, была: надо было бы побольше оберегать себя, ну да, к несчастью, я этим не умею руководиться.
>
> Ну, а он-то в чем же упрекает меня? В излишнем доверии к нему — мог бы; но об этом он, вероятно, не думает. Что же я, скрывала от него, что ли, что люблю другого? Навязывалась ему, поддерживала в нем надежду, что ли? Так как же он смеет меня обвинять…
>
> …Во втором письме вы пишете, что ему хочется, чтобы я знала, qu'il m'a veritablement aimee[4]. Что

любил-то, я знаю, а истинным мы называем то чувство, которому сочувствовать можем; а я его чувство ко мне и понимать-то перестала.

Прошедшее во мне так отжило, что я недавно сожгла всю его переписку более чем за десять лет; сожгла для того только, чтобы не попадалась мне на глаза и не будила воспоминаний, подчас горьких, но большею частью тяжелых и желчных. Пусть же он лучше не пишет, ведь нам говорить друг другу нечего, а главное, мне положительно не хочется ни говорить, ни слушать. Я бы не стала и читать его писем. Передайте ему это, Maman».

Как правило, свидания с родственниками дозволялись только тем из заключенных в крепости, кто обнаруживал раскаяние, причем искреннее — то есть раскрывал неизвестные прежде обстоятельства и называл имена. Искренность без откровенности начальствующие лица, от коих зависела судьба арестованных, не ставили в грош, зато откровенность, даже заведомо неискренняя, ценилась высоко; в иных случаях и денег не жалели, выплачивая их с самыми трогательными предосторожностями, как это видно, например, из одной записки министра финансов к министру внутренних дел:

«Погубивший дирижера радикального оркестра завтра, от 9 до 11 веч. может получить у Ф. Т. Ф. 1000 руб., если приготовит заранее расписку от имени матери своей Надежды Николаевны, которая, однако, как вам известно, по поставленному им условию, не должна об этом знать», и т. д.

Упомянутый дирижер — это, понятно, автор «Что делать?», Ф. Т. Ф. — неважно кто, раз он в данном случае исполняет должность кассира; а дело идет, стало быть, о молодом племяннике профессора Костомарова, ровеснике Писарева, его соседе по заключению, о том самом Всеволоде Костомарове, который сперва изобличил Михайлова подробнейшими показаниями (за что и сподобился еще в прошлом, шестьдесят втором году, великолепнейшей литературной оплеухи — в рецензии Писарева на антологию «Поэты всех стран и народов»); потом, войдя во вкус и выказав почти художественную изобретательность, изготовил целую коллекцию писем, послуживших к обвинению Чернышевского, даже и почерк его подделал. И вот, смотрите-ка: вся читающая Россия извещена, что Всеволод Костомаров — грязный доносчик; но он все-таки считает за лучшее денежных документов не подписывать

(неудобно: ведь он литератор с дарованием, ведь перед ним будущность; и что скажет потомство; неосторожность простят, и слабость простят, и еще сострадать станут; и Чернышевскому с Михайловым не все поверят, если даже они и вернутся когда-нибудь; но расписку собственноручную в архивах оставлять не годится); и в глазах матери не хочется выглядеть платным мушаром, — это так понятно по человечеству; а деньги нужны позарез — для нее же, для бедной, больной мамы; и вот, чтобы самым деликатным образом исполнить все до единого пожелания молодого прохвоста, либеральные сановники (и какого ранга!) вступают в шифрованную переписку, сговариваются о самом что ни на есть уголовном подлоге, устраивают какие-то ночные свидания… И это Рейтерн и Валуев, оба высоконравственные и просвещенные, первый даже приятельствовал с писателем Салтыковым, а второй покровительствовал писателю Гончарову, и не только ему. Вот, значит, до чего простиралось сочувствие к откровенности у императора Александра II, который, конечно же, лично распорядился о выдаче этого гонорара и вообще следил за всем, что происходило в крепости, с таким неослабевающим интересом, как будто там не князь Голицын во главе особой комиссии допрашивал подследственных, а сам знаменитый шахматный маэстро из Америки Поул Морфи давал сражение сразу на сорока досках, имея секундантом генерал-лейтенанта Сорокина.

Чтобы усилить позицию белых, было издано такое постановление:

> «1) Обо всех лицах, которые при производстве об них дел Высочайше утвержденною в С.-Петербурге Следственною комиссиею покажут полное раскаяние и готовность способствовать к открытию преступлений, делать особые представления Его Величеству.
>
> 2) Равно повергать на Всемилостивейшее воззрение участь и тех раскаявшихся и сознавшихся, о коих дела, по окончании производства в комиссии, переданы к судебному рассмотрению и находятся в настоящее время в Правительствующем Сенате. Причем поставить в обязанность суду: при заключении приговора объяснять отдельно и вкратце, в какой мере означенные лица способствовали к открытию преступлений», и проч.

Однако ни в подследственных, ни в подсудимых эти заманчивые посулы никакого особенного воодушевления не возбудили. Откровенные и так рассказывали все, что знали, и даже гораздо более (некий маркиз де Траверсе, сидевший по

подозрению в сношениях с лондонскими пропагандистами, договорился в один прекрасный день до того, что обвинил в распространении прокламаций, а также в тайной переписке с Бакуниным — самого государя императора, и был отправлен в дом умалишенных). Но откровенных объявилось немного, даже меньше, чем упорствующих, нераскаянных, отрицающихся (жило такое словечко) от всех обвинений. А остальные, хоть и признавались, под тяжестью неотразимых улик, в своих очевидных винах и хотя просили прощения, но добровольного и энергического содействия следствию не оказывали.

И потому их не очень-то баловали: ни книг, ни свиданий с родными, да и никаких других льгот и поблажек не полагалось. Мнение августейшего монарха по сему предмету совершенно совпадало с убеждениями бестрепетного коменданта Сорокина: желаешь льготы — заслужи ее.

До сих пор только единожды пришлось им обоим поступиться этой педагогической теорией: преступник застал их врасплох и вынудил позволить ему свидание с женой (правда, в присутствии членов комиссии), на которое не имел ни малейшего права. Но, во-первых, тогда, в феврале, у Костомарова еще ничего не было готово, а Чернышевский сидел уже более полугода, ни в чем не сознаваясь, и никто не знал, о чем его спрашивать, и на какой-то миг почти все усомнились, что удастся вывести его на свежую воду, и вместе с верой в победу утратили бдительность. А во-вторых, кто же мог предположить такое самообладание: девять дней не есть ни крошки — и ничем себя не выдать! Сорокина просто испугала эта холодная решимость, да и государю подобная смерть известного писателя, не уличенного как следует, была бы некстати. Вот и уступили. Но зато это уж был последний раз, что Чернышевский виделся со своей Ольгой Сократовной, и сколько бы он потом ни угрожал: дескать, я не останусь в настоящем моем положении — здоровье жены погибло бы все равно, а в таком случае мне неприятно было бы оставаться где бы то ни было, — так или иначе, я буду свободен очень скоро, — на эти и прочие намеки в том же роде ни царь, ни комендант уже не обращали внимания. Потому что Костомаров не подвел, и, в конце концов, это дело караульной команды равелина — смотреть в оба и не допускать никаких происшествий; а притом самоубийство разоблаченного преступника, будь он хоть трижды писатель, есть только окончательное признание своей вины и страха перед законным наказанием; если же говорить не о личности, а о таланте, то кто же таланту мешает: раз уж на то изъявлена высочайшая милость, не отменять же ее, пусть себе пишет Чернышевский о чем хочет, благо цензура в России пока еще

действует и взыскать с нее можно строго; пусть пишет Чернышевский и благословляет судьбу и государя; глядишь, и не умрет; а о жене ему думать уже бесполезно.

Вот какой порядок соблюдался в крепости. Но Дмитрию Писареву, как уже видел читатель, свидания были разрешены, а вскоре они участились, и к ним добавились разные другие благодеяния. Почему? Разве он поступил в разряд откровенных?

Следственной комиссией вопрос о том, насколько чистосердечны показания Писарева, был решен, как мы уже знаем, не в его пользу. На первых трех допросах он от всего отпирался, не дрогнул даже на очной ставке с Баллодом, хотя тот отлично вспоминал подробности и всем присутствовавшим было совершенно ясно, кто из этих двоих говорит правду, а кто лжет. Это зрелище настолько возмутило следователей, что на следующий допрос Писарева призвали только через месяц, чтобы дать ему возможность получше познакомиться с условиями одиночного заключения. Но и оно вразумило его лишь отчасти, и на этом четвертом допросе членам комиссии далеко не сразу удалось довести его до полного признания вины. Да и было ли оно полным? Писарев подтвердил показания Баллода (в которых и так никто не сомневался), сознался в сочинении преступной статьи, отказался от выраженных в ней мнений, объяснил их вспышкой душевного заболевания и воззвал к милосердию. И это все.

Комиссия состояла из семи человек: генерал Потапов — управляющий Третьим отделением, генерал Анненков — обер-полицеймейстер, генерал-майор Огарев (представитель петербургского генерал-губернатора), генерал-майор Слепцов (от военного министерства), действительный статский советник Турунов (от министра внутренних дел) и обер-прокурор четвертого департамента Сената действительный статский советник Гедда (от министерства юстиции); председательствующий, князь Александр Федорович Голицын, был, ни много ни мало, статс-секретарь и облечен, как говорится, доверием государя. Имелся еще делопроизводитель, некто Волянский, тоже, между прочим, действительный статский, однако он не в счет, тем более что оказался сотрудником нерасторопным, работал с прохладцей, за что и поплатился вскоре удалением от должности.

Поведение Писарева и его ответы не только разочаровали этих господ, но и вызвали единодушное негодование, и по крайней мере двое из членов комиссии прониклись к нему отвращением и ненавистью, которую сохранили надолго и удовлетворили только впоследствии. Все они, за исключением

шестидесятишестилетнего председателя, были люди далеко еще не пожилые (большинству под пятьдесят или около того, Потапову не исполнилось и сорока пяти, а Слепцову — и сорока), все честолюбивые, мечтали показать, что достойны высокого назначения, да так оно и было, потому что каждый являлся специалистом в определенной области (и совершенно напрасно Чернышевский обзывал их шалунами и дерзко отзывался о комиссии, будто «этот бестолковый омут совершенно глуп, и иметь с ним дело значит только терять время»). Гедда, например, посвятил себя изучению прокламаций, а Турунов отменно разбирался в отечественной литературе, а Потапов слыл замечательным администратором — в кратчайший срок навел порядок в харьковской губернской полиции, а затем в московской. Анненков тоже знал свое дело, и двое остальных подавали большие надежды.

А между тем все они вместе не могли справиться с ответственнейшим поручением: нити грандиозного заговора, который они взялись раскрыть и который, как они поначалу были убеждены, действительно существовал, — нити рвались под руками, только дотронься, и получалось, вопреки всякому вероятию, что лондонская пропаганда не имеет отношения к петербургским пожарам, а пожары — к прокламациям, а прокламации — к литературе, а литература — к студентам. Кого ни послушаешь из арестованных, даже разговорчивых, — каждый будто бы действовал сам по себе, ну разве что обменялся с одним-двумя товарищами неосторожным словом или последним нумером «Колокола». И если принять всю эту болтовню всерьез, то выходило, что комиссия двигалась по неверному пути и все время арестовывала не тех.

Но Писарев-то уж наверное был тот, тот самый, кто нужен! Разве член комиссии Турунов не помнил наизусть кое-каких пассажей из его «Схоластики» или не был осведомлен о его тесной дружбе с Благосветловым? Разве другой член комиссии, Потапов, не подписывал собственноручно и совсем недавно справку Третьего отделения о неблагонадежных лицах из окружения Чернышевского, где Благосветлов значился под нумером 12 и о нем было сказано: «Из разговоров его в некоторых обществах, а равно из отзывов о нем некоторых лиц можно заключить, что он не чужд издания воззваний: „Великорусса“ и „Земской думы“. Есть сведения, что Благосветлов находится в сношениях с изгнанниками — Герценом и Долгоруковым»? И разве Анненков и Огарев не представили в комиссию подобных же сведений?

Князь Голицын прямо задрожал от восхищения, когда все это

выяснилось. В преступлении Писарева, в самой его фигуре сходились все линии зловещего сюжета, который прежде лишь мерещился достойному председателю: сотрудник неблагонамеренного — и, кстати, приостановленного — журнала (и, между прочим, вчерашний студент) оказался автором едва ли не самой дерзкой прокламации, причем изготовил ее в сговоре с другим студентом, а тот в чем, в чем только не замешан: тут и пожар в Луге, и «Молодая Россия», и — главное, главное, — какой-то центральный комитет! И прокламация восхваляет Герцена, и Баллод перепечатывает и распространяет Герцена, и Благосветлов тайно переписывается с Герценом и тоже печатает и рассылает прокламации, а Писарев и Баллоду и Благосветлову друг-приятель.

Все сходилось, все! Не хватало имен, поскольку Баллод никого из значительных лиц, кроме вот этого самого Писарева, не выдавал: так, нескольких товарищей по университету, и все. Но ведь это же было уравнение с одним неизвестным, нехитрое: едва всплывет из показаний Писарева фамилия его патрона, как все станет на свои места. Шах Благосветлову! А через два-три хода, глядишь, и мат, если раньше не сдастся. Бог его знает, конечно; нигилисты эти чем старше, тем упрямей; вперед загадывать нельзя; но дело может и поэффектней обернуться, чем с Чернышевским; и потом, запопасть руководителей сразу двух вредных журналов — это само по себе успех.

Так рассуждали три военных генерала, и трое штатских с ними соглашались (делопроизводителя, конечно, не спрашивали, и он по-прежнему в счет не идет). Правда, Голицын, как стратег высшего полета, к тактике равнодушный, предлагал взять господина Благосветлова тотчас, не дожидаясь ревелаций от его юного сподвижника: так, дескать, и надежнее будет — из крепости за границу не убежишь, — и справедливость требует, а то нехорошо: редактор «Современника» сидит в равелине, а редактор «Русского слова», виновный в точно таких же, в тех же самых преступлениях, разгуливает на свободе.

И Потапов был вынужден пояснить, что как раз для окончательного торжества справедливости Писарев и необходим, потому что сведения берутся из донесений, а донесения поступают от агентов; агенты же, за исключением нескольких особо ценных, используемых главным образом за границей, к порядочному обществу не принадлежат и ни в гостиных, ни даже в редакциях не рассиживают, а оперируют наблюдениями дворников, швейцаров, кухарок и кучеров или, в лучшем случае, обрывками подслушанных разговоров, клочками выброшенных черновиков и тому подобными материалами, с помощью которых

такого гуся, как этот Благосветлов, разглядеть насквозь легко, однако предать суду трудно; формальности, разумеется, не обязательны, в не столь отдаленные можно отправить и так, но тогда и следствие ни к чему, только запутает, если обвиняемый от всего отопрется: агенты — не свидетели, слухи — не улики, а старые письма Благосветлова к Попову, найденные при обыске в квартире, где проживал Писарев, — хоть и живописуют самыми яркими красками противоправительственный образ мыслей, — слишком старые письма. Отопрется Благосветлов, и прижать его будет нечем, и тогда прощай центральный комитет, а на руках у комиссии окажется еще одно, хоть и не безнадежное, но, во всяком случае, сомнительное (пусть даже только с юридической точки зрения) дело. Ведь и с Чернышевским все трудности только оттого, что не приготовили надежного свидетеля заранее; как же не учесть такого урока; само провидение предоставило нам этого юного журналиста, обремененного столь тяжкой виной, что нет ему спасения ни в чем, кроме правдивых ответов на вопросы комиссии.

Вот какие надежды возлагались на Писарева летом прошлого года. А он их не оправдал. Его увещевали, стыдили, пугали, — а он понятливо кивал, он охотно соглашался, что проступок тяжкий, что наказание должно быть ужасное, и советовал комиссии обратиться к докторам Штейну и Шульцу за его скорбным листом, а также подробнейшим образом рассказывал о своей истории с кузиной и ее женихом: вот, дескать, на какие поступки способен умалишенный.

И до того неуязвимой казалась ему эта система мнимой искренности, что он даже проговорился о подлинных мотивах своего поведения:

— Когда меня арестовали и привели в комиссию, я решился не сознаваться. Главною побудительного причиною моею в этом случае было нежелание набросить тень на ту часть журналистики, к которой я принадлежал. Я не хотел подать повода думать, что литераторы замешаны в тайной агитации, тем более что нелепые толки в обществе и даже в газетах приводили эту агитацию в связь с петербургскими пожарами. — И, словно сказанное было недостаточно ясно, словно нарочно для того, чтобы поддразнить, еще добавил: — Так как я сам принял участие в агитации совершенно случайно, то я не хотел, чтобы мое неосторожное поведение повредило в каком бы то ни было отношении литераторам, с которыми я работал.

Нечего было и надеяться столковаться с таким человеком, да, честно говоря, никому в комиссии этого и не хотелось. Как выразился Турунов, налицо был как раз такой случай, когда

говорят: «Горбатого могила исправит». Попробовали еще слегка поднажать, используя захваченные при обыске бумаги. Но Писарев дал именно такие объяснения, каких и следовало от него ожидать: все обстоятельства, привлекшие внимание комиссии, оказались сугубо личными и невинными, а имена — случайными, мало ли знакомых у сотрудника редакции. С именами вышел даже конфуз. Потапов и Анненков придавали чрезвычайную важность некоему листочку, на котором рукою Писарева были выведены весьма примечательные фамилии, а против них — цифры. В частности, против фамилии Попова стояла цифра 927, против Кушелева — 463; были там и Благосветлов, и Баллод — соответственно 88 и 38, и еще кое-кто… Аппетитный был листочек, особливо ежели учесть, что, по достоверному сообщению из Лондона, граф Кушелев-Безбородко тайно перевел Герцену для так называемого Общего фонда не то четыреста пятьдесят, не то четыреста восемьдесят фунтов стерлингов. И что же? Писарев заявил, что это список его карточных долгов!

Очень могло статься, что он и не лгал. И некоторые члены комиссии склонны были допустить — хотя бы в виде предположения, — что вообще все было так, как он рассказывал (вернее, как показывал Баллод): измена невесты, приступ сумасшествия и так далее. Но статья-то его против Шедо-Ферроти довольно длинная, писана в два приема, с большим перерывом. И суждения в ней, несмотря на всю политическую нелепость, очень даже последовательные. Это не набор слов, а образ мыслей, как заметил тот же член комиссии Турунов. Писарев на допросе заявил, что теперь он этих мыслей уже не разделяет? Что же, прекрасно. Это не редкость по нынешнему времени, что человек в начале августа не разделяет мыслей, которые яростно защищал в конце мая. Но какие же *теперь* у него мнения? Почему он их не раскрывает, почему не оспаривает прежних? Почему этот литератор, критик и публицист не в состоянии показать, как, под чьим влиянием вызревали в нем ложные убеждения, и что, кроме ужаса перед неотвратимой карой, привело его к раскаянию? И главное — где стыд, где сокрушение, где стремление заслужить милость и доказать благонамеренность? Где, — скажем уже все до конца, — где унижение? Потому что все можно простить раскаявшемуся преступнику — все, кроме неискренности. А искреннего раскаяния без унижения не бывает.

Вот почему комиссия не стала больше возиться с Писаревым, сочла следствие оконченным и постановила передать его дело в Сенат.

Передача эта, правда, затянулась до самого Нового года, да и в Сенате дело пролежало три месяца без движения, так что у

Писарева было сколько угодно времени, чтобы облегчить свою участь. Но он, как будто не понимая этого, молча отсиживался в каземате, не сделал даже попытки привлечь к себе внимание, — словом, совершенно подтвердил своим поведением выводы комиссии.

Неудивительно, что и в Сенате, куда его впервые привезли двадцать второго апреля, за пять дней до упомянутого свидания с матерью, в огромной светлой зале, выходившей окнами на Неву, уже освободившуюся ото льда, Писарева спросили, после первых формальностей: ради чего он обратился к милосердию государя? Не ради ли желания отделаться меньшим наказанием?

В сущности, ему давали последний шанс. Самое время было расплакаться, и проклясть свои заблуждения и порочных наставников, и пообещать — все что угодно пообещать, но так, чтобы видно было: этот юноша, если, например, его помиловать, к прежнему уже никогда не вернется, а будет только благословлять.

Так было принято, так даже полагалось. Миловать его, естественно, никто не собирался, поскольку он этого ничем не заслужил, но пожалеть, но проявить снисхождение к несчастному юноше — отчего же, могли. Сенаторам приличествуют мудрость и мягкость. Лишь бы подсудимый оказался достоин жалости, лишь бы испытывал настоящий страх, лишь бы его отчаяние было глубоким, а готовность искупить вину — безусловной. Ведь это трогательная картина, когда такой вот юнец — бледный, заросший, подслеповато моргающий (отвык от яркого-то света), неровным голосом (тоже очень понятно), неровным, но звонким, искренним, из самой сердечной глубины идущим голосом просит прощения, просит пощады. А первоприсутствующему в Первом отделении 5-го департамента сенатору Карниолину-Пинскому Матвею Михайловичу — шестьдесят три года, да и у других внуки подрастают… Как не пожалеть? (Впрочем, один из сенаторов был молодой и злобный — сорокалетний граф Д. А. Толстой. Вообще-то, теперь безразлично, как их всех звали, а уж сколько кому было лет в том или ином году прошлого века — об этом и думать смешно. Однако если для добрых и благородных посмертное забвение — удел обидный, то низким и злым оно чересчур уж выгодно.)

Но Писарев отвечал так:

— Я совершенно убежден в том, что не имею никакого права обращаться к милосердию монарха; я сочту совершенно справедливым и без малейшего ропота перенесу всякое наказание. Обращение мое к милосердию монарха было вызвано не расчетом на смягчение моей участи, а желанием выразить мое

полное смирение и чистосердечное раскаяние.

Начало как будто неплохое. Все надлежащие слова прозвучали. Но тон — обратите внимание, тон каков! Стоило сидеть в одиночке почти девять месяцев, чтобы приготовить такую вялую, рассудочную декларацию. И что, в сущности-то, выражено? Что просил милости, не надеясь на нее, а теперь уже и не просит? Или что и просил-то лишь для того, чтобы показать смирение и раскаяние? Ну-с, а в чем же они состоят?

— Объяснить, почему я очертя голову согласился, по предложению Баллода, написать статью, я могу только указанием на весь мой характер (старая песня, слово в слово по протоколу комиссии: характер всему причина, темперамент; сейчас про сумасшедший дом вспомнит). Человек благоразумный не сделал бы этого (вот как вы полагаете? и вину свою, стало быть, видите в неосторожности? а другие, значит, не сочиняют прокламаций лишь потому, что заранее догадываются, чем это пахнет?), а я сделал это из мальчишеского ухарства (как вам нравится? И ведь это он — господи, прости — действительно так думает, что судят его за то, что он «сделал»: не за умысел кровавый против государя и государства, а за то, что поспешил высказаться!). Кроме того, я страдал тогда оттого, что любимая мною женщина вышла замуж за другого (начинается!); я был расстроен закрытием «Русского слова» (ну, еще бы!). Написать статью было недолго, и я не успел одуматься (ай-ай-ай, вот беспечность-то!), когда Баллод был уже захвачен с моею статьею.

В июле прошлого года, на допросе в комиссии преступник выказал больше горести или хотя бы только страха. Напирал на молодость, на болезнь, переигрывал, пожалуй, — кто на его месте удержался бы от этого? — но все-таки признавал свои заблуждения, просил дать возможность их загладить, пускай не от чистого сердца, но умолял. А теперь — как будто длительное заключение, вместо того чтобы смягчить и вразумить, ожесточило его, — теперь он осмеливался намекать, что не нуждается ни в чьем великодушии, что ему довольно было бы и справедливости, что он имеет о ней какое-то понятие и располагает, вообразите, доводами в свою защиту:

— Ни в моем предыдущем поведении, ни в моих бумагах, ни в книгах, ни в журнальных моих статьях нет никаких фактов (фактов нету, надо же; беда, и только!), которые указывали бы на обдуманное намерение и установившиеся политические убеждения. Баллод предложил мне написать резкую декламацию, — я так и сделал. Эти показания вполне истинны, я готов подтвердить их даже под присягою.

Этот дерзкий и совсем неубедительный лепет никак не мог

расположить сенаторов к Писареву. И когда он в довершение всего предложил (то есть формально — попросил, но все уже знали цену его смирению) отпустить его на поруки — ответом был немедленный единодушный отказ.

А вот против свиданий подсудимого с матерью никто не возражал.

— Сжалились-таки?

— Ничуть не бывало. Просто свидания эти были Писареву высочайше разрешены (при обычной оговорке: если со стороны правительствующего Сената не встретится препятствий) еще двадцать девятого марта, и, чтобы воспрепятствовать им, Сенат должен был выдвинуть веские причины, а таковых не имелось. Ведь по существу дело Писарева можно было считать законченным, и в дальнейших разговорах с ним надобности не предвиделось. О чем говорить? Свод законов уголовных, книга первая, том пятнадцатый, глава о государственных преступлениях, статья двести восемьдесят пятая, часть… ну, поглядим еще, какая часть, но, во всяком случае, свидание подсудимого с матерью не даст ему новых способов скрыть уже обнаруженную истину.

— Так неужели же Варвара Дмитриевна дошла до государя?

— В марте ее еще не было в Петербурге. Она из Грунца писала к Потапову, но тот даже не отвечал.

— Что же произошло?

— Читатель давно уже догадался, даже если прежде не знал: у Писарева появился заступник.

Сказать по чести, из всех этих несчастных молодых людей, населявших теперь Петропавловскую крепость, Суворову очень нравился и даже внушал восхищение один Николай Серно-Соловьевич. Спору нет, Чернышевский — большой писатель, и Шелгунова нельзя не уважать, и всех остальных — почти всех — ужасно жаль, потому что ведь это, в сущности, дети — озлобленные, напуганные (а кое-кто и болен) дети, попавшие в плен к людоедам. Что их тиранит бессердечный бурбон Сорокин — это еще пустяки. Но ведь и несравненно влиятельнейшие лица спят и во сне видят, как бы их погубить бесповоротней. Этот Муравьев, которому так пристала бы вместо мундира красная рубаха, этот истошный холуй Катков, и старый ябедник Голицын, и tutti quanti… Разжигают в государе свойственную ему, как ни грустно, мнительность, уверяют, будто ведут настоящую, не на жизнь, а на смерть войну с грозной шайкой свирепых разбойников, будто чуть ли не плечами своими жирными поддерживают шатающийся престол, — и государь, такой

храбрый, пугается и гневается, а людоедам только того и надобно, они его мелочную мстительность (еще одна роковая, наследственная черта) утоляют сторицей; а как же, ведь это, если хотите, в своем роде счастье, когда, наслаждаясь (чужой бедой, всеобщим страхом, а главное — свободой злодеяния), выполняешь свой долг и служишь благодарному отечеству. И вот единственно ради того, чтобы наполнить, оправдать, а заодно и поудобнее обставить существование таких людей, которые ни на что другое, кроме преследования беззащитных, не способны, вчерашние школьники задыхаются в крепости, ожидая мученического венца. А России разве мученики нужны? Ей деятели нужны, а не страдальцы. В стране с населением в семьдесят пять миллионов от силы двадцать тысяч получили высшее образование, — так не роскошь ли десятками гнать их в каторгу? Видит бог: если отпереть сегодня же казематы, вывести с барабанным боем всех арестантов, выстроить их на площади, прочитать им громким голосом сентенцию — кто в чем виноват и что ему за это по законам империи полагается, — а потом, перемолчав минутку, чтобы прочувствовали, вдруг провозгласить: царь вас всех прощает, ступайте по домам и впредь не нарушайте долга верноподданных, — видит бог, что государство бесконечно много выиграло бы (а проиграл бы только какой-нибудь Сорокин, которому неохота на пенсион, а охота сделаться полным генералом). Великий автор «Науки побеждать» такой образ действий предпочитал всякому другому, самой Екатерине писал из Варшавы, что благомудрое великодушие полезнее бывает стремглавного меча. И Александр Аркадьевич эти слова своего деда не раз повторял и покойному государю, и ныне здравствующему. Да только оба они, что один, что другой, хотя и ценили Александра Аркадьевича, но поступать предпочитали по советам разных любимцев, которые на придворную лесть и хитрость тратили весь свой ум и составить себе правильное понятие о пользе отечества не имели ни досуга, ни сил.

Суворов был убежден, что дороже и горше всего обходилась и обходится России вечная эта нехватка государственных людей, способных верно понимать ее интересы и принимать их близко к сердцу, а главное — способных изобрести для управления ею что-нибудь поновей и получше канцелярских и полицейских мер.

И нестерпимо досадно ему было, что именно такой человек — один из немногих, кто знает или хоть догадывается, что надо делать в России, а чего ни в коем случае нельзя (и не в теории знает, не по книжке, а подробно изучил в действии машинерию власти, попробовал, и не без успеха, надавить некоторые пружины, даже отважился однажды подтолкнуть главное колесо),

человек решительный, сведущий, благородного характера, с тягой к созиданию, — словом, прирожденный политический деятель европейской складки, будущий министр, русский Неккер или Тюрго, — сидит в крепости и ждет Сибири. И выручить его невозможно, потому что его вина не в том, что Герцен к нему письмо написал, которое на границе перехватили, это обвинение копейки не стоит, даже если бы удалось его доказать, — а вот недюжинный ум непростителен и странная жизнь, сплошь из самостоятельных поступков да мыслей о благе государства. Разве людоеды забудут, что он еще двадцатидвухлетним мальчишкой монарху в собственные руки чуть не насильно вручил свой проект освобождения крестьян? И сам Серно-Соловьевич не забыл и все надеется, что государь, как тогда, как в пятьдесят восьмом году, за дерзость пожурит, а за радение об истине и пользе похвалит. И на бумаге, выдаваемой для признаний и прошений, все пишет на высочайшее имя один за другим новые и новые блистательные проекты и меморандумы о необходимых и осуществимых преобразованиях, и пересылает Суворову, а Суворов переправляет их в Сенат, а что с ними делают в Сенате, ведомо господу богу да Карниолину-Пинскому, но только вряд ли получает их адресат. А какой в этих записках анализ положения дел! Как серьезно и спокойно разъясняет арестант правительству, что старый порядок умер, что переворот неизбежен, но еще не поздно произвести его мирным путем, и тогда Россия сделается счастливейшею страною (ах, какую этот молодой человек предлагает конституцию! хоть сегодня печатай в газетах); а все эти следственные комиссии в считанные годы приведут к роковой катастрофе.

В одном из всеподданнейших прошений Серно-Соловьевича было предсказание, которое Александр Аркадьевич собственноручно списал в свой дневник и над которым часто раздумывал:

> «Вероятно, вся эта шальная пропаганда на время прекратится для того, чтобы обратиться в серьезную, организованную. Дело в том, что преследования в связи с общим ходом дел необходимо должны выработать большое количество личностей, страшных энергиею и непримиримостью убеждений. О таких личностях мы не имели понятия лет пять назад. Но уже в последние два-три года между самою юною молодежью стали проявляться характеры, перед силою которых самые крайние люди поколений, воспитанных в прошлое царствование, оказывались почти детьми. Это характеристический признак приближения грозы.

Истребить этих людей нельзя, так как каждый десяток их обращается на следующий год в сотню, потому что в переходное время передовые личности каждого нового поколения становятся сильнее и сильнее.

В настоящее время, — писал далее арестант, и генерал-губернатор, перечитывая много спустя эти слова, дивился их глубине, — в настоящее время для правительства нет важнее вопроса, как тот: как привлечь к себе эти силы и направить их на практическую деятельность? Если оно не достигнет этого, ему придется начать с ними борьбу насмерть, результаты которой будут страшны, а исход во всяком случае тяжел для правительства, потому что ему будет приходиться все терять и ничего не выигрывать, а его противники — люди, которые будут по убеждению напрашиваться на страдания…»

Дорого бы дал, ничего бы, кажется, не пожалел Александр Аркадьевич, лишь бы государь внял этому предупреждению. Но сам передать его не смел. Не боялся — он давно уже внушил не только окружающим, но и себе, что, подобно деду и отцу, не ведает страха, да и опасности тут не было никакой, — а вот именно не смел. Он любил императора и обожал императрицу, и тихие вечера во дворце, на половине их величеств, в самом узком, почти семейном кругу составляли всю отраду его говорливой и хлопотливой, но невеселой старости. Да, это старость — первого июня стукнет пятьдесят девять, и никто ничего ему в этот день не подарит: Nadine, выйдя замуж, стала совсем чужая, да и нет ее в Петербурге, ну а Любовь Васильевна с незапамятного уже времени, о котором лучше и не вспоминать, все кочует по европейским курортам, выбирая такие, где ставки в игорных домах покрупней, и в редких, резких письмах все требует денег, денег… Государь и особенно государыня знали, как он одинок, и понимали, что в его жизни нет другого смысла, кроме надежды когда-нибудь за них умереть. С давних пор, когда они были еще высочествами, они привыкли дорожить его преданностью и дарили его изъявлениями искренней дружбы. Ему поверяли фамильные тайны, его совета спрашивали в самых важных государственных делах, его осчастливливали деликатнейшими знаками внимания — не наградами, нет, да и чем было награждать князя Италийского, графа Рымникского, наследственного принца Сардинского королевского дома, генерал-адъютанта, генерала от инфантерии, и прочая, и прочая? — но, например, в день праздника Конной гвардии

император пожаловал ему мундир Конногвардейского полка; в этот полк Александр Аркадьевич почти сорок лет назад поступил юнкером, а вскоре был выключен по приказанию императора Николая Павловича; и вот теперь, таким не блестящим, на первый взгляд, отличием уничтожалась последняя, никому, казалось, и не видная тень давнишней вины и немилости; он принял этот самый обыкновенный штаб-офицерский мундир, закрасневшись от радости, которой, конечно, не мог ему доставить ни ранее полученный орден Андрея Первозванного, ни даже, при всей его редкости, орден Благовещения с цепью и звездой (а он вручается только особам королевского ранга).

При таких отношениях с августейшей семьей государственная служба обращалась в рыцарское служение. Считалось — по крайней мере, сам Суворов так думал, — что пост санкт-петербургского военного генерал-губернатора был предоставлен ему главным образом для того, чтобы в ближайшем окружении государя постоянно находился хоть один человек, на верность и опытность которого можно положиться всецело, какие бы ни наступили обстоятельства. Александр Аркадьевич казался себе отнюдь не просто начальником столичного военного округа и гарнизона, но как бы коннетаблем, наподобие тех безупречных вельмож, что в средние века то и дело спасали французский трон от феодальных смут и волнений черни, сражаясь бок о бок со своими повелителями. Но именно потому, что порученная ему должность была значительно скромней этой истинной (или скорее воображаемой) роли, он исполнял официальные обязанности особенно тщательно, рассматривая их как некий искус; притом некоторые из этих обязанностей были Суворову по душе: с азартом занимался он испытанием конно-железных дорог, сооружением водопровода, восстановлением Апраксина двора и всяческим вообще благоустройством. Он гордился тем, что без зова не появляется во дворце днем, не докучает мелкими заботами, с которыми неизменно справляется сам. И ни за что на свете он не позволил бы себе завести речь о делах вечером, когда его принимали как гостя и друга. Разумеется, ему случалось, и весьма часто, обращаться к государю с различными ходатайствами, но при этом он так неукоснительно соблюдал принятый порядок, как будто был самым обыкновенным генерал-губернатором: письменно просил князя Долгорукова — главного начальника Третьего отделения — при очередном всеподданнейшем докладе повергнуть на высочайшее рассмотрение такой-то вопрос. Правда, порою не мог Александр Аркадьевич удержаться от постскриптума, поясняющего, qu'en parler aux heures ou il a le bonheur de voir sa majesté, serait une

impieté[5]. Долгоруков про себя находил такую нарочитую щепетильность ханжеской и потешной, но поддакивал императору, который принимал ее как должное и на ходатайства милостиво соизволял.

До сих пор осечек не бывало, и влияние светлейшего князя Суворова выглядело безграничным, но сам он, при всем своем романтизме, достаточно изучил характер Sa Majesté, чтобы просить лишь о том, что разрешали охотно. Как царедворец чуткий, Александр Аркадьевич не сомневался, что, хотя бы раз нарушив это правило, он лишится доверия, — а без доверия какая дружба, ну а без дружбы этой что такое была бы его жизнь?

Но и помимо последствий — у кого хватило бы духу мучить человека, которого любишь, похвалами его врагу? А император, к величайшему сожалению, принимал Серно-Соловьевича, как и Чернышевского, за личных и чрезвычайно опасных врагов, и разубедить его не сумел бы теперь и сам Василий Андреевич Долгоруков, если бы даже и захотел. Но только навряд ли того обуревали подобные желания: ведь это он же и внушил государю, будто в России существует тайное революционное общество под названием «Земля и воля», которое произвело бы величайшие беспорядки, даже бедствия, не будь на свете Третьего отделения, вовремя открывшего главарей. Лично Долгоруков теперь, спустя почти год после тех поспешных арестаций, этим россказням своих шпионов о всесильном центральном комитете и многочисленных областных, о тысячах революционеров, соединенных в кружки по пять человек, и прочее, — придавал, должно быть, не больше вероятия, чем Александр Аркадьевич (сам на днях показывал копию с перлюстрированного за границей письма Герцена, где прямо сказано, что пресловутая «Земля и воля» не более чем миф; Суворов-то знал это и без Герцена, потому и ручался за спокойствие в столице). Но идти на попятный Отделению не приходилось: престиж его стоял на карте. Впрочем, играли наверное; миф или не миф «Земля и воля» — это был для царя вопрос праздный, раз уж удалось выследить людей, которые все равно стали бы предводителями тайного общества рано или поздно. Долгоруков мог бы и не трудиться над сочинением улик: на взгляд государя, само их отсутствие свидетельствовало о преступном коварстве, поскольку не вязалось с поведением подсудимых — вызывающим и оскорбительным.

Нельзя было оспаривать, что и Чернышевский и Серно-Соловьевич вели себя на допросах неправильно — с каким-то неуместным достоинством. Один без конца издевался над правосудием, бессильным доказать его вину законными способами (Александр Аркадьевич и сам был глубоко огорчен

тем, что его герой, его обожаемый монарх одобряет столь низкие проделки, как этот спектакль с подставными свидетелями и поддельными письмами, — но, став жертвой такого ожесточения, хоть и неосновательного, неужто не понимал Чернышевский, что насмешками высочайший гнев не укротить?). Другой тоже слишком ясно давал понять, что различает на картах крап, но при этом, вместо того чтобы быть начеку, зачем-то лез на рожон: дескать, маловато у вас против меня материалов, но это ничего, не смущайтесь, я сейчас же подброшу еще; вот, не угодно ли занести в протокол, как я отзываюсь о Герцене, да заодно уж и об Огареве? Извольте: «Узнав их лично, трудно не отдать справедливости их серьезному уму и бескорыстной любви к России, хотя бы и не разделял их мнений». Что значит двадцать семь лет! К чему человеку блестящие способности, если он не умеет их употребить для собственного спасения? На четырех языках говорит, конституции составляет, но построить фразу как полагается такта не нашлось. Ведь не разделяет он пагубных мнений, не разделяет, а в полный голос заявить об этом стыдится: ах, как он будет знакомым в глаза смотреть! А он, очень может статься, и не увидит прежних знакомых больше никогда. И ложный это стыд, мелкий. Как будто убеждения не важнее отношений! Вон Тургенев, писатель. Кто не знает, как давно и близко он знаком с этими самыми эмигрантами? Но когда потребовалось, выбрал нужные слова без колебаний. Да, мол, верно; дружил одно время с Герценом; и не переменился к нему, но Герцен сам изменил прежним своим убеждениям и друзьям: «Герцен, сделавшийся республиканцем и социалистом, Герцен, подпавший под влияние Огарева, не имел уже решительно ничего общего ни с одним здравомыслящим русским, не разделяющим народа от царя, честной любви к разумной свободе от убеждения в необходимости монархического начала».

И что вы там ни толкуйте, господа, как ни морщьтесь, а это и есть настоящее, взрослое мужество. Бывают такие роковые минуты в жизни, когда необходимо самолюбием пренебречь ради вещей куда более серьезных; и глянуть поверх голов кучки восторженных приятелей в даль своей судьбы; и отдать себе и другим отчет — на чьей стороне и за кого встанешь в случае противоборства. И у Александра Аркадьевича подобная минута была: на тончайшем, дрожащем волоске держалась вся его будущность и рухнула бы неминуемо в пропасть, поддайся он предрассудкам и прекраснодушному жеманству. Так что кто-кто, а он-то хорошо понимал, как неприятно было Тургеневу решиться на эти показания. Ведь у нас на человека, который прямо и честно высказывается в пользу правительства и вслух не одобряет его

противников, косятся с каким-то бессмысленным недоброжелательством, как ленивые дети на старательного ученика. И что скверней всего — само правительство порой обращается с таким человеком сухо (тоже точь-в-точь как иной неопытный педагог с чересчур, видите ли, примерным воспитанником: не рискует приласкать, чтобы не поссорить его с остальными, а еще вернее — сам у этих остальных заискивает). Хорошо еще, что Тургенев писал свои показания в Париже, а то непременно сыскались бы умники, заподозрили бы его искренность: какая, дескать, цена благонамеренным речам, вырвавшимся от испуга? Очень большая, да будет вам известно. Испуг целителен. Он возвращает закружившемуся, заболтавшемуся человеку память: мгновенно сужается для этого человека весь мир до тесного круга таких привязанностей и надежд, без которых он жить не согласен. Вот тут и смотрите: на что он пойдет, чтобы с ними не расстаться? И если он готов поступиться гордыней, мнимой независимостью ума, если рвется заплатить покорностью за покой, — тогда уж не обижайте его недоверием. Пусть даже он лукавит немножко — кто богу не грешен, царю не виноват? — пусть этот самый Тургенев, предположим, никогда и не порывал с друзьями юности; но кто в озаренную страхом минуту выбора признал, что государство не только сильней его, но и мудрей неизмеримо, — на того можно положиться и впредь. «Замолвите за меня слово — слово князя Суворова», — пишет Тургенев, и — господь свидетель — надо ему посодействовать, тем более что такое письмо показать государю не стыдно.

Тургенев светский человек, не чета самонадеянному Николаю Гавриловичу, любезности которого режут без ножа. Можно вообразить, с каким чувством император принял известие о том, что арестант, чье обращение он не удостоил ответом, с некоторых пор не желает разговаривать ни с кем, кроме князя Суворова, и писать будет только к нему же («лично к Вам, и только к Вам, потому что, как я сказал, я только в Вас вижу качества, какие нужны государственному человеку для здравого понимания государственных интересов и видов правительства»)! Вот уж точно — не поздоровится от эдаких похвал. (А дивные все-таки были те летние ночи двадцать пятого года, когда лейб-гвардии Конного полка корнет Одоевский и юнкер Суворов, не жалея свечей и собственных глаз, переписывали «Горе от ума» с авторского экземпляра и декламировали, хохоча на всю Почтамтскую, — еще никто в Петербурге не знал комедии, а они выучили наизусть — и барышни приставали к ним с альбомами, и товарищи завидовали…)

Странная и загадочная механика судьбы! Если бы заключенный Чернышевский сразу по окончании голодовки, шестого февраля шестьдесят третьего года, не предпринял последней, отчаянной попытки вызвать правительство на переговоры — не вручил коменданту Сорокину запечатанного конверта с запиской на имя генерал-губернатора Суворова, — или если бы Сорокин препроводил записку по назначению, — то более чем вероятно, что по крайней мере один из мотивов, вскоре побудивших Суворова горячо и с невиданной энергией вмешаться в дело заключенного Писарева, так и не возник бы. Тогда нам, конечно, не пришлось бы занимать внимание читателей личностями второстепенных персонажей, но зато и Писарев, пожалуй, не вышел бы в главные герои, поскольку из шести томов успел бы написать не больше двух и в истории литературы упоминался бы немногим чаще, чем тот же бедный Серно-Соловьевич.

Но вот что произошло в действительности.

Взяв у Чернышевского означенный конверт, наш знакомец Алексей Федорович Сорокин тотчас покинул равелин и чуть ли не рысцой проследовал в свою канцелярию. Там он надписал на конверте число и час (было два пополудни) и вручил его дежурному плац-адъютанту с приказом немедля доставить в Третье отделение, в собственные руки генералу Потапову. Адъютант вскочил в дрожки, стоявшие, как всегда, наготове во дворе комендантского дома, и укатил. Алексей же Федорович, посвистывая, поднялся на второй этаж, в свою квартиру, чтобы перекусить, так как, в полном соответствии с заветом английского адмирала Нельсона, он исполнил свой долг, а остальное его не касалось.

Дальнейший маршрут записки вычислить не затруднительно: Потапов передал ее Долгорукову, тот — императору Александру II (неизвестно только, кто вскрыл конверт; скорее всего — Долгоруков, но в присутствии и по указанию его величества); император повелел оставить ее без последствий и приобщить к следственному делу; Долгоруков вернул записку Потапову; тот на очередном заседании комиссии познакомил с ней Голицына; и, наконец, этот клочок грубой бумаги, захватанный пальцами стольких начальников, поступил в распоряжение делопроизводителя Волянского, который витым красным шнурком подшил последнюю надежду Чернышевского к толстенной кипе доносов и протоколов (а конверт, по свойственной ему небрежности, потерял).

Но Чернышевский это предвидел. И еще прежде, чем вызвать коменданта (то есть около часу пополудни), заготовил копию

своей записки. Она ведь была короткая и содержала, в сущности, только просьбу поговорить с ним. Он хотел напомнить Суворову о себе и подать ему формальный повод вступиться. Кое-кто из офицеров, служивших в крепости, знал, что светлейший к этому узнику и к молодому его соседу по равелину благоволит. Были там и такие офицеры, которые читали Чернышевского в «Современнике»; и такие, в тайные обязанности которых входило докладывать генерал-губернатору обо всем, что в крепости делается; и немало таких, что ненавидели Сорокина. Короче говоря, Суворов прочел послание Чернышевского вечером того же шестого февраля.

Он выждал две недели. Сложность его положения мы уже обрисовали. Усугублялась она тем, что государь — судьба записки была Суворову понятна, — государь почти наверное принял на свой счет презрительные шпильки, подпущенные Чернышевским. Помочь этому самоубийце было невозможно. И никак нельзя было признаться, что письмо его получено. Но и спускать своему подчиненному подобную наглость генерал-губернатор не собирался. Поэтому двадцатого февраля Сорокин был вызван к нему на Большую Морскую для объяснений, а двадцать первого имел удовольствие прочесть нижеследующий текст:

«Секретно.

Милостивый государь, Алексей Федорович.

До сведения моего дошло, что содержащийся в Алексеевском равелине здешней крепости литератор Чернышевский написал на мое имя письмо, которое, как Ваше превосходительство объявили мне при личном свидании со мною, с Вашего разрешения было запечатано, для отправления по принадлежности. Между тем означенного письма я не получил по настоящее время, и оно, как ныне сделалось мне известным, передано в Следственную комиссию, Высочайше утвержденную под председательством статс-секретаря князя Голицына.

Считаю долгом заявить Вашему превосходительству, что адресуемые на мое имя письма я обыкновенно распечатываю и прочитываю сам и никому еще не давал права вскрывать и читать подобные письма прежде меня; поэтому и письмо литератора Чернышевского следовало доставить ко мне нераспечатанным.

С.-Петербургская крепость, находящаяся в губернии и столице, высочайше вверенных моему управлению,

состоит и в моем ведении, как здешнего генерал-губернатора; посему, если Ваше превосходительство имеете особую инструкцию, на основании которой письма, адресованные на имя князя Суворова, от лиц, содержащихся в С.-Петербургской крепости, должны быть передаваемы не мне, а кому-либо другому, в таком случае Вам следовало, прежде чем разрешить г. Чернышевскому писать ко мне, довести о таком намерении его до моего сведения, и тогда я испросил бы предварительно у Государя Императора разрешение, могу ли принять письмо от этого арестованного. Если бы Высочайшего разрешения на это не последовало, в таком случае литератору Чернышевскому не представлялось бы и повода писать вышеупомянутое письмо. Дозволять же ему писать ко мне, не предваривши, что письмо его не может быть доставлено по адресу, по моему убеждению значит злоупотреблять моим именем, потому что Чернышевский, получивши такое предупреждение, без сомнения, отказался бы от намерения обращаться ко мне с письмом.

В заключение покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить меня, на каком основании означенное письмо литератора Чернышевского не было доставлено ко мне, а препровождено в Следственную комиссию.

Само собою разумеется, что я ни в каком случае не счел бы себя вправе прочесть или даже распечатать письмо Чернышевского без Высочайшего соизволения, ибо этот арестованный не состоит в моей зависимости.

Примите, Ваше превосходительство, уверение в совершенном почтении и преданности.

Подписал

Князь Суворов».

Согласитесь, что коменданту досталось отведать невкусного кушанья, даже несмотря на то, что письмоводитель Четырин, составлявший этот документ, приложил все силы, чтобы передать ярость генерал-губернатора самыми тусклыми фиоритурами бюрократической речи. Светлейший воспитывался в иезуитском пансионе в Швейцарии, потом слушал лекции в Сорбонне, а завершил образование в Геттингенском университете, так что владел в совершенстве разными языками (только жаль, по-итальянски не с кем было в Петербурге после ареста Серно-Соловьевича поболтать), но слог российских канцелярий вызывал

у него мурашки по всему телу. А Четырин, из военных писарей, был, наоборот, великий дока по части придаточных предложений и дослужился уже до потомственного дворянства благодаря искусству наводить на любую бумагу официальный лоск, ловко вклеивая в самых неожиданных местах «ибо» и «посему».

Однако Сорокин не смутился нисколько. Ведь и у него был письмоводитель (хоть и не такой замечательный). И, что гораздо важнее, у него был добрый друг и руководитель по имени Александр Львович Потапов, который ни за что не дал бы в обиду человека, верно понимающего, в чем состоит его долг. Поэтому генерал-губернатору пришлось удовольствоваться, вместо ответа по существу, прехладнокровным извещением, что Алексеевский равелин находится в ведении Третьего отделения, что письма лиц, заключенных в равелине, всегда передавались секретно в Третье отделение и что, наконец, «на том же основании было поступлено и с письмом содержащегося в равелине Чернышевского, адресованным Вашей светлости».

Это только говорится: пришлось удовольствоваться. Если бы тот же Сорокин в один прекрасный день вздумал вдруг вместо «ваша светлость» сказать ему: «господин Суворов» или даже просто: «милейший», — и то, наверное, Александр Аркадьевич не изумился бы сильней. Добрую четверть часа, сжав кулаками виски, разглядывал он подпись Сорокина и громко, задумчиво, нараспев бранился кавалерийскими словами, — и было от чего! С ним обошлись бесцеремонней, чем с любым из самых назойливых родственников самого незначительного арестанта. С ним — и при этой тошнотворной, обжигающей догадке Александр Аркадьевич точно прозрел — обошлись как с полицейским агентом, услуги которого больше не нужны! Именно, именно как с «милейшим господином»! Мол, по трудам и честь. Что прошлым летом обратил внимание государя на предложения бывшего корнета Костомарова, коими в Отделении тогда по ошибке пренебрегли, — похвально! Что в начале нынешнего года через сыщика Путилина возобновил переговоры с Костомаровым и окончательно склонил его к новым ревелациям, — спасибо! До двенадцатого января без князя Суворова — ни шагу: ведь юный шарлатан соглашался иметь дело только с ним, а Третьему отделению, видите ли, не доверял: «Не решусь, — писал, — опозорить шпионством свое честное имя». Что же, и это превосходно, повидайтесь с ним поскорей, ваша светлость, уверьте, что мы согласны на все, что честь его в безопасности, лишь бы только он не тянул с разоблачениями. Спешите, ваша светлость, он уже привезен из Москвы и помещен в равелине — да, в равелине, но ведь для князя Суворова не существует

запертых дверей! Но уж коли вы оказались таким старозаветным болваном, что не решились дать требуемых обещаний и ежели дорожите вашим словом и именем больше, чем интересами следствия, — тогда ступайте прочь, теперь обойдемся и без вас, генерал Потапов сам найдет средство успокоить самолюбие молодого человека, который только всего-то и желает, чтобы его участие в деле было скрыто.

Только и всего: не значиться ни свидетелем, ни открывателем, а показания изложить в виде неосторожного письма к вымышленному приятелю, а письмо пускай перехватят. Все это и Суворову прежде казалось приемлемым, поскольку Костомаров брался выдать несколько главных узлов огромной сети тайного общества, покрывающей большую часть России, столичные революционные комитеты, до ста пятидесяти членов и до двухсот корреспондентов общества, а также типографии и шрифты, а также переписку троих руководителей… Вполне правдоподобно, что он боялся мести, и простительно — что не хотел выступить доносчиком явным, да и сохранить его следовало для дальнейшей борьбы, ведь такое общество одним ударом не разрушить. Но свидание двенадцатого января удостоверило, что общества никакого нет в природе, что Путилину Костомаров о всех этих партиях и комитетах говорил и писал просто как литератор-наблюдатель, не имея осязательных фактов, одни предположения, а выдать он может лишь несколько писем, компрометирующих Чернышевского и Плещеева, да и то не тотчас, потому что письма эти находятся у какого-то господина, чья фамилия и адрес неизвестны. При таком обороте история эта благоухала уже не так привлекательно; и очень стало похоже на то, что, как и утверждал все время Чернышевский, правительство водят за нос. Конечно, Александр Аркадьевич и не подумал поощрять оговор, и сообщил свое мнение Долгорукову, но тот под влиянием Потапова взглянул на дело иначе, и государь, как теперь очевидно, взял сторону Третьего отделения. И вот результат: комендант крепости пишет генерал-губернатору — своему непосредственному начальнику, чтобы он не лез, куда не просят! Офицер вверенного князю Суворову гарнизона (пусть генерал, неважно) смеялся над ним в глаза!

И хотя Сорокин значил тут никак не более, чем пятая спица в колесе, весь гнев Александра Аркадьевича обратился на этого противного старика, который давно ли чайком на дорожку потчевал отправляемого в Сибирь Обручева и самолично кандалы Михайлову замшей обтягивал, чтобы гуманному генерал-губернатору потрафить, а как дали в Отделении лизнуть горячей крови — тотчас же, визгливо рыча, оскалил клыки!

Честь Суворова была задета, но совесть спокойна: выручить тех, кто на него надеялся, не могла никакая сила на земле, доступа в равелин ему отныне не было, просить что за Чернышевского, что за Серно-Соловьевича (раз уж тот аттестован Следственной комиссией как посредник между Чернышевским и Герценом) — тщетно, не стоило и пробовать. Оба обречены.

Однако в крепости томились — большей частью зазря — и другие люди, судьбу которых только Суворов мог если не повернуть к лучшему, то хотя бы облегчить. И следовало незамедлительно указать Сорокину высоту его шестка. Он полагает, что в ведении генерал-губернатора состоят лишь казематы? Что ж, посетим казематы. Он рапортует, что заключенные ведут себя хорошо — все, кроме одного, который по тяжести своего преступления и по неоткровенности своих показаний заслуживает перевода в равелин? Что ж, вот с этим-то юношей мы и побеседуем по душам, хотя и тяжесть преступления, и неоткровенность — все это как будто подлежит рассмотрению суда Сената, никак не для нашего с вами ума эта материя, — не так ли, генерал?

Двенадцатого марта при очередном обходе крепости Суворов почти целый час провел с подсудимым Писаревым в его камере, отослав свиту. На другой день съездил в Сенат, поговорил с Карниолиным-Пинским и с его любезного разрешения полистал дело. Потом заехал в Третье отделение — к Долгорукову.

Добился он на первых порах сравнительно немногого; о том, чтобы до суда отдать Писарева на поруки матери, которая должна была вскоре приехать в Петербург, или без суда выслать его в имение родителей, — никто и слышать не хотел. Но, во всяком случае, и о переводе в Секретный дом речи больше не было, и высочайшее разрешение на свидания Долгоруков исхлопотать взялся. Больше ничего до приезда госпожи Писаревой и формального от нее прошения сделать было нельзя, хотя Александр Аркадьевич подал своему новому protegé твердую надежду, что сочинять и печатать позволят тоже.

Сам-то он русских журналов не читывал давненько и слыхал только об одном литераторе Писареве — тот в двадцатые годы был первый водевилист, но пуще прославился эпиграммами, в которых осыпал неистово грубыми остротами Николая Полевого и Грибоедова (за что покойный Саша Одоевский его не переносил). Автора «Горя от ума» тот Писарев величал не иначе как Грибусом и о самой комедии судил без затей:

> В комедии своей, умершей до рожденья,
> Воспел он горе тех, кто чересчур умен,

А сам доказывает он
От глупости мученье.

Умер тот Писарев двадцати пяти лет — сказывали, от несчастной любви к какой-то актерке.

Знавал Александр Аркадьевич и другого Писарева — не литератора, а тайного советника и камергера, этот и сейчас еще здравствовал, кажется, а знаменит был в конце тридцатых каким-то гомерическим взяточничеством и на посту олонецкого губернатора разорил, говорили тогда, целый край.

Писарев, заключенный в Екатерининской куртине, приходился, по его словам, родным племянником остроумцу и двоюродным — лихоимцу, и в глазах Александра Аркадьевича, понятно, ни то ни другое нисколько его не возвышало. Но все-таки — старинное дворянство, настоящее воспитание. Французский выговор так чист, что в тюремном воздухе слушать совестно. И немецкий безупречен. (Английский, правда, шваховат, но кто же у нас, даже и в высшем кругу, может удовлетворительно объясниться по-английски? Бедный, пропащий Серно-Соловьевич…) И держится мальчик — что твой маленький лорд: безукоризненно вежлив и весел, унизительной обстановки словно не замечает и в арестантском, больничном, бабьем каком-то тряпье (ведь не то что невыразимых им не дают — исподнего-то на нем одна рубаха до колен и чулки, то и дело ниспадающие) — все равно выглядит легким и прямым. А лицо одутловатое, землистое, а зубы уже порченые, и как же он силится зевоту мучительную, казематную, беспрестанную подавить! Просто сердце надрывала Александру Аркадьевичу эта вечная зевота заключенных.

Совсем не походил Писарев на автора той прокламации — действительно безобразной, — за которую его судили. И Суворов с радостью убедился, что мальчик сам о ней жалеет. Да ведь он ее писал двадцати одного года от роду! Роковой возраст! Ровно столько же было Александру Аркадьевичу в тысяча восемьсот двадцать пятом, когда заграничные идеи и дружба с Одоевским вовлекли его — правда, косвенным образом, — в декабрьские события. И где бы и кем был бы он сейчас, если бы, явившись с повинной, не услышал от императора Николая Павловича: «Не поверю! Нет! Чтобы внук полководца и сын героя оказался изменником — никогда не поверю!» Так вскричал император, и вместо Сибири выпал Суворову Кавказ, а там дали ему случай отличиться, а за ним еще один, и еще. И всей своей жизнью доказал Александр Аркадьевич, что помнит этот вечер и верен

царствующему дому, и пользу отечеству доставил не меньшую, чем, например, князь Василий Долгоруков, который четырнадцатого декабря с утра не отходил от императора.

Обаяние крайних мнений улетучивается быстро, при первой же суровой встряске юноши легко расстаются с ними, — и слава богу, — и своевременно проявленным великодушием можно сберечь для России столько умов, а к тому же Писарев страдает меланхолией, а допросить его удосужились за десять месяцев всего четыре раза, и процессу его не видно конца, а читать ему Сорокин ничего не дает, кроме Евангелия, а писать запрещает совсем, и с удовольствием, ипокрит окаянный, запрещает. Верно, ждет не дождется, когда мальчик голову себе о стену каземата разобьет или увезут его в больницу Всех скорбящих навсегда.

Так вот же не будет этого! Александр Аркадьевич так и решил: все средства употребить, в крайнем случае лично к государю обратиться, но мальчика спасти.

Следовало, однако, дождаться приговора. Карниолин дал понять, что суждение генерал-губернатора об этом преступнике не будет оставлено без внимания: приговорят его, скорей всего, к заключению в крепости, а там уж дело высочайшего милосердия — сократить срок и вменить в наказание нынешний арест.

А пока можно было кое-что сделать и своей властью, о пределах коей генерал-лейтенант Сорокин столь опрометчиво позабыл. И, получив, наконец, прошение матушки Писарева (дамы предоброй, но совершенно измученной и полубезумной от тревоги за сына), князь Суворов продиктовал верному Четырину то предписание на имя коменданта крепости, которое приведено выше, на страницах, где читатель впервые встретился с доблестным комендантом. А так как Сорокин опять осмелился перечить (смотрите там же), Четырин составил запрос: соблаговолите, дескать, уведомить, каким числом помечено высочайшее запрещение литераторствовать в казематах и каков, собственно говоря, точный текст этого указа? И когда пришел смущенный (но тем более возмутительный!) ответ, что упомянутого документа в делах комендантского управления отыскать не удалось, — только тогда Суворов попросил Долгорукова вмешаться. А все это происходило в апреле, а в апреле Долгоруков ни в чем не мог отказать светлейшему князю Суворову, который на Святой неделе полностью — и в ущерб Третьему отделению — восстановил свой кредит у государя. Потому что Суворов, а не Отделение, предотвратил польскую диверсию на Волге; к Суворову, а не к Долгорукову явился из Казани студент Иван Глассон рассказать, что в ближайшие дни пойдет гулять по приволжским губерниям подложный царский

манифест, и крестьяне в печально знаменитой Бездне и других деревнях уже дали согласие подняться по первому знаку, а в Симбирске и Казани заговорщики запасаются револьверами и ждут подкрепления из Москвы (а в манифесте — отпечатанном в Швеции, но шрифтом, выкраденным из сенатской типографии, — в манифесте-то воля с землей и без выкупа, и упразднение армии, а заодно и подушной подати, а начальникам и помещикам, кто дерзнет противиться, — петля!). Теперь, когда благодаря вовремя принятым мерам опасность неслыханного бунта почти миновала и главные виновники водворены в крепость, — теперь-то все убедились, что за дальновидный политик князь Суворов и как умно было с его стороны завоевать доверенность и сочувствие образованной молодежи.

Так что Долгоруков с восторгом (по крайней мере, наружным) согласился поддержать ходатайство о высочайшем разрешении подсудимому Писареву заниматься литературной работой:

> «…подобно тому, — было сказано в ходатайстве, — как дано уже, сколько известно, таковое же разрешение содержащемуся в Алексеевском равелине титулярному советнику Чернышевскому».

И Александр II не нашел предлога отказать! Более того, через месяц Суворов исхлопотал эту льготу и для остальных заключенных литераторов; а Долгорукову только одно и осталось утешение — съязвить во всеподданнейшем годовом отчете:

> «1863 год замечателен еще тем, что в журналах печатаются сочинения содержащихся в крепости по политическим делам — Чернышевского, Шелгунова, Серно-Соловьевича, Писарева, Михайлова (Мих. Илецкого), осужденного на каторгу…»

Смиловались-таки, расщедрились: бумаги десть, очиненных перьев полдюжины, и чернильница налита до краев; и самое трогательное — перочистка, новехонькая, точно ее отняли у какого-нибудь малыша, торопившегося на первый в жизни урок.

Церемония вручения всех этих сокровищ напоминала известную сказку Перро, в которой феи одаривают новорожденную принцессу. Правда, колыбель была уже заправлена по форме, и в камере клубилась пыль, поднятая грубой метлой караульного, когда в очередной раз взвыли засовы, замки, дверные петли и вошел плац-майор Пинкорнелли, а за ним — двое рядовых. На лице у старика играла загадочная улыбка, в

руках он держал огромный кожаный бювар. В бюваре-то и оказалось двадцать четыре заботливо пронумерованных листа писчей бумаги — ничего не жалеет Российская империя для бедных заключенных. Добрый Иван Федорович поздравил Писарева с монаршей милостью. Солдат поставил на стол чернильницу, откинул крышку, другой солдат наклонил над оловянным горлышком тяжелую бутыль, и несколько мгновений все молча следили за тугой, шелковисто блестящей струйкой. Не пролилось ни капли. Писарев восхищался и благодарил. Напоследок добрые феи вручили ему пучок перьев и упомянутую неизвестного происхождения перочистку, после чего торжественно удалились. Тут настала очередь злой колдуньи, и господин комендант не заставил себя ждать. Неблагосклонным взором окинул он свалившееся на арестанта богатство и не поленился самолично пересчитать бумажные листы. Он тоже продекламировал тираду насчет монаршей милости, упирая на то, что не приведи господь употребить эту милость и доверие во зло. Предложил запомнить раз навсегда: писать в каземате дозволяется только до захода солнца.

— Белые ночи скоро пройдут, — сладко щурясь, пообещал Сорокин, — а Сенат спешить не любит. Успеете еще и в темноте насидеться. Вы уж не новичок, вкусили, так сказать, каково тут у нас в ноябре. А впрочем, литературные ваши занятия могут прекратиться и раньше. В любой день, собственно говоря. Понимаете?

— Да уж понимаю, ваше превосходительство, — задумчиво отозвался Писарев. — Но пока что они высочайше разрешены. А работы мои такого рода, что для них необходимы книги, некоторые журналы… Господин Благосветлов, наверное, уже доставил все это в канцелярию крепости?

— Доставил, доставил, как же. В свое время все это будет просмотрено, а до тех пор уж обойдитесь как-нибудь. Вы же сочинитель. Вот и выдумайте сюжетец сами, этак из головы. Или не умеете? Без пособий-то?

— Не умею, ваше превосходительство, — Писарев любезно улыбнулся. — Но ведь просмотреть несколько книжек — минутное дело. Цензурное разрешение помещается всегда в самом начале, на авантитуле. Долго ли приподнять обложку?..

— Забываетесь, — весело пропел Сорокин. — Потрудитесь-ка припомнить, что стоите перед комендантом здешней крепости, а сами вы — заключенный в ней преступник. Ведь вы преступник? Так или не так? Я вас спрашиваю.

— Точно так, ваше превосходительство. — И Писарев улыбнулся еще безмятежней. — Заключённый. Ударение на

третьем слоге.

— Превосходно. Вижу, что не зря учились вы в императорском университете. Только вот, стало быть, о чем попрошу напредки: о цензурных разрешениях чтобы ни слова больше, они не для таких, как вы, а для верноподданных. Вы что же думали — вам тут, как у Доминика, вместе с завтраком свежие газеты станут подавать?

Писарев пожал плечами:

— Не знаю я, что мне думать. Не вы ли сами, ваше превосходительство, только что возвестили, что государь император из жалости к моему семейству позволил мне участвовать в журналах? Теперь оказывается, что такое позволение легко обратить в злейшую насмешку, и это совершенно в вашей власти. Вы, разумеется, поступите так, как считаете нужным. А мне остается одно: употребить всю эту прекрасную бумагу на письмо к его светлости князю Суворову. Он, я думаю, и не догадывается, что его обещания не многого стоят и что воля самого монарха бессильна перед уставом здешней крепости.

Сорокин предпочел не отвечать: отвернулся и вышагнул из каземата в коридор, а за ним поспешно последовали адъютант, дежурный офицер, дежурный унтер и рядовые. Гулко ухнула дверь. Писарев показал ей язык.

С колокольни обрушилась, разбившись на тупые осколки, очередная глыба патриотической музыки. До обеда — три часа. До заката — неизвестно сколько: на совесть забелили окно, хоть бы где царапинку оставили, какой уж тут закат, отменил военачальник небесные светила, исключил меня из солнечной системы; и еще стращает темнотой. Да бог с ним совсем, что он такое? Существительное неодушевленное. Кукушка в часах, молоточек в табакерке, солдатик оловянный на письменном столе. Зато формат бумаги отличный — тут листов восемь выйдет печатных, — ну а перьев еще добудем. Вот только очинены они — паутину со стен обметать как раз впору (так пауков жаль: солдаты каждое утро охотятся за ними, точно цензура за журналистикой, но я-то, слава богу, не цензор). Что поделаешь! Во второй половине девятнадцатого века легче смастерить каменный топор или добыть огонь трением, чем правильно очинить гусиное перо; эта славная крепость — единственная, надо надеяться, точка на земном шаре, где они в употреблении. Но поскольку стальным я могу вскрыть замки, сломать засовы, перебить часовых и выкопать подземный ход к Неве, а в случае неудачи — заколоться, — то возвратимся в золотую эпоху детства. Помнишь, — дело было летом, писарь, он же приходский учитель

из Каменки, приходил в Знаменское часов в пять пополудни, когда спадала жара и maman с девочками собиралась на прогулку; густой, горячий свет из высоких окон растекался по зале, оплавляя очертания вещей, поверхности которых словно выпячивались, соблазняя дотронуться: погладить зеленое сукно на бильярде, лакированный красного дерева бок старинных стенных часов, волшебно-гладкий локоть бронзового негритенка… А учитель диктует, а перо вращается в потных пальцах, а хвостик буквы А перемахнул через линейку, а ножка буквы Н вдруг разбухла у основания… Мимо проносят шляпки, зонтики, мантильи. Слышно, как растворяются двери балкона. Возьмите меня с собой! Я кончаю вторую страницу! Каллиграф вздыхает с укоризной: по-настоящему-то надо все переделать, и если мамаша заглянет в тетрадь, то мы пропали. Но вершина Быковой горы так приманчиво озарена уходящим солнцем… Теперь меня на прогулку разве только силой уведут, пока всю эту роскошь не истрачу. Неудобно, что куранты числа не отбивают. Что у нас сегодня? Почти ровно год не занимались мы литературой. Но теперь наверстаем. До заката еще далеко, военачальник!

Глава двенадцатая
1864

Процедура предусматривалась такая: готовое сочинение, какого бы ни было объема и жанра, следовало отдать дежурному офицеру, приложив прошение на имя коменданта, написанное по установленному самим Сорокиным образцу: дескать, ваше превосходительство, милостивый государь, Алексей Федорович. Имею честь почтительнейше просить ваше превосходительство препроводить по принадлежности представленную мною статью, написанную на стольких-то листах, под таким-то заглавием. С глубочайшим уважением, дескать, имею честь быть вашего превосходительства покорный слуга…

Его превосходительство, изучив рукопись и убедившись, что тайны вверенного ему места заключения остались в неприкосновенности, отсылал ее при соответствующем рапорте в управление генерал-губернатора. Предполагалось, что там должны просмотреть ее с точки зрения интересов безопасности столицы и окрестностей, однако Суворов подбирал себе таких офицеров, которые к подобным заданиям относились с прохладцей — полковники Сабанеев, Спасский и другие читали только интересное и очень быстро. Так что это было слабое звено; едва ли не в самый день получения рукописи сметливый Четырин приказывал кому-либо из младших писцов настрочить по форме (у него тоже были припасены образцы на все случаи практики) препроводительное отношение в Сенат, которое светлейший не раздумывая украшал своим крупным разборчивым росчерком.

В Сенате статью проверяли повнимательней: нет ли чего затрагивающего обстоятельства дела — фамилий других подсудимых и прочего. Поручали это департаментскому обер-секретарю, а тот, конечно, сбывал докуку одному из секретарей помельче, какому-нибудь Ордину, позавчерашнему студенту, который жалованьем своим, разумеется, дорожил, но усердствовать сверх положенного брезговал. Так или иначе, но через некоторое, не такое уж продолжительное время (месяц, от силы — полтора) рукопись возвращалась к генерал-губернатору в сопровождении особого указа, извещавшего, что со стороны Сената «по обстоятельствам производящегося дела препятствий не встречается для надлежащего рассмотрения статьи цензурою».

Тогда его высокопревосходительство генерал-губернатор отправлял рукопись обратно его превосходительству коменданту крепости, присовокупив извещение об этом указе Сената, и

предлагал объявить автору, «что засим он может передать свои сочинения для напечатания тому лицу, которому доверяет, но и с тем, чтобы им предварительно соблюден был порядок, установленный цензурными правилами».

Сорокин до таких объявлений не снисходил, записки в редакцию («Любезный друг, Григорий Евлампиевич, прошу тебя приехать к г-ну коменданту и получить от него рукопись мою») передавать запрещал, говорить с Благосветловым отказывался, но так или иначе все устраивалось, и дольше, чем на месяц, сочинение в крепости не застревало.

Заполучив его наконец, Благосветлов слегка проходился по тексту, где вычеркивая, а где, наоборот, вставляя — по обстоятельствам — разные резкости. Затем исправленная рукопись шла в типографию, а через два-три дня, продержав корректуру, Григорий Евлампиевич представлял набранную статью в Санкт-Петербургский цензурный комитет.

Вот здесь, можно сказать, начинались препоны. Цензор, занимавшийся «Русским словом», носил фамилию Еленев, не блистал образованностью, был прозорлив и неумолим. Он взял за правило читать каждую статью не менее трех раз. Сперва он пробегал ее наскоро — просто чтобы заморить червячка, успокоить любопытство, посмаковать особенности слога, поживиться фактами, подсмотреть выводы. В эти первые часы знакомства с новым произведением Еленев обращался с ним как самый обыкновенный читатель — любознательный, доброжелательный, нетерпеливый. Кое-где на полях он проставлял, правда, черточки — аккуратные, почти невидимые — так, для себя, по привычке и предчувствию, ничего не предрешая, словно бы даже помимо воли, заглушенной вниманием к чужой речи и мысли. Дойдя до последней страницы, он возвращался к началу не сразу: размышлял над прочитанным, повторял про себя остроты и сведения, которыми щегольнет вечером в гостях, сортировал идеи, отбирая такие, чтобы ими осторожно округлить личное миросозерцание, и тут же обдумывал план официального отзыва, — словом, изживал впечатление. На это уходили когда минуты, а когда и часы. Во всяком случае, вторично Еленев принимался за статью не прежде, чем догорала, став холодной пылинкой золы, последняя искра человеческого интереса. Тогда он вновь склонялся над корректурой — невозмутимый и вдумчивый специалист, видавший виды литератор. И на этот раз произведение открывалось ему как бы с изнанки: торчали отовсюду нитки, выпирали грубые швы, даже цвет материи был совсем другой; неторопливо и пристально разглядывал Еленев это убожество, по временам бросая на поля размашистые пометы,

а голос автора слышался ему из текста все слабей, потом замирал совсем, и сочинение превращалось в утомительно длинную цепочку более или менее ловко пригнанных друг к другу слов, беззвучных и прозрачных, как в лексиконе. В третий раз Еленев читал статью с отвращением — впрочем, не мучительным: ведь он сознавал свое превосходство над автором и свою власть. Только теперь становился он цензором, только теперь начиналась настоящая работа, только теперь пригождались все эти значки на полях, неопровержимо свидетельствовавшие, что требования воспитанного вкуса всегда совпадают с интересами государства. Палочки и закорючки стояли против тех самых строк и фраз и страниц, что подлежали уничтожению. Заточив толстый красный карандаш, Еленев вымарывал строку за строкой — щедро, тщательно, безжалостно и беззлобно.

Закончив работу (и в сотый раз выйдя победителем из неизбежных пререканий с Благосветловым), цензор докладывал о ней в комитете: либо общему присутствию (то есть собранию), либо лично председателю — Турунову Михаилу Николаевичу. Тот, слушая доклад, медленно листал статью, о которой шла речь. Иногда просил огласить какой-нибудь вычеркнутый пассаж. Иногда сам впивался в не тронутую красным карандашом (не по недосмотру ли?) страницу. Если таких страниц попадалось подряд несколько, мог и оставить статью на денек-другой у себя. Это был дурной знак, и товарищи заподозренного цензора старались на беднягу не смотреть. Слабого цензирования председатель не прощал, и штат комитета в последнее время постоянно обновлялся. Упущение — выговор. Три выговора — отставка. Михаил Николаевич любил громогласно повторять, что глупый цензор министерству внутренних дел не по карману: это в просвещении платили гроши, потому и терпели олухов царя небесного.

— В нашем деле тупец хуже изменника, — говаривал он, — однако и ум годится не всякий. Нам такие мастера заговаривают зубы, что заурядный логический ум непременно в один прекрасный день прельстится. Ум цензора неотделим от чувства, это ум сердца, это особый такт. Цензор, подобно Сократу, должен слушаться своего демона.

— Но закон, закон, — хныкал заподозренный, окончательно порывая с фортуной, и Михаил Николаевич прекращал пустой разговор и углублялся в чтение. В конце концов, для того и отозвали его из Следственной комиссии, чтобы подтянуть литературу, а заодно и всех этих господ.

Старый, двадцать восьмого года, устав сам собою сошел на нет, а новый только еще разрабатывался, переходя из комиссии в

комиссию, где представители министерства просвещения ни в чем пока не соглашались с министерством внутренних дел.

Действовали временные правила, изданные в шестьдесят втором году, когда цензура находилась еще в руках Головнина.

Правила были — не сказать расплывчатые, но какие-то притворно-бесстрастные. Словно не закон о преступлениях печати, а как бы условия игры. Вот так — смотрите! — ходить нельзя, и так — тоже не следует, а вот так — можно. На основы не посягайте, порядка не нарушайте, соблюдайте приличия — а в остальном вы свободны, пишите что хотите, властям до мыслей дела нет.

О заблуждениях, например, только и сказано в пункте втором:

> «Не допускать к печати сочинений и статей, излагающих вредные учения социализма и коммунизма, клонящиеся к потрясению и ниспровержению существующего порядка и к водворению анархии».

Ну чисто, ни дать ни взять, во Франции живем: кроме Интернационала этого, ничегошеньки не боимся, ну а материализм, атеизм, космополитизм — да нигилизм, наконец! — пущай их проповедуются невозбранно. Положим, даже младенцу ясно, что это так только подпущено, чтобы цивилизацией блеснуть — рукоплещи, Европа! — и не сыщется среди наших авторов такого делибаша, который принял бы этот параграф буквально. Но цензор-то разоружен!

Или возьмите пункт третий, самый, так сказать, животрепещущий:

> «При рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве существующих у нас постановлений — слушайте, слушайте! — дозволять к печати только специальные ученые рассуждения, написанные тоном, приличным предмету, и притом касающиеся таких постановлений, недостатки которых обнаружились уже на опыте».

Скажите на милость, взялись бы вы цензировать какую ни на есть статью при таком, извините, законодательстве? Что значит — приличный предмету? Что значит — специальное? На каком таком опыте обнаруживаются недостатки? О каждом слове можно спор завести бесконечный, весь параграф лазейками изрыт, все препоручено усмотрению цензора, а цензор — только человек и далеко не всегда семи пядей во лбу, а у сочинителей —

образование, талант, сочинители не затруднятся выдержать тон какой угодно, и насчет недостатков не беспокойтесь: предъявят самые очевидные, тем паче что ходить недалеко. И вот, предположим, — крыть нечем, условия соблюдены. Что тогда? Подписывать в печать? Ах, все-таки не подписывать? Вот вам и закон.

Надо отдать справедливость министру внутренних дел: он-то видел опасность и в первейшую обязанность вменил Турунову все эти головнинские недомолвки-экивоки превратить в отчетливые инструкции. Сам и темы для циркуляров намечал, и проекты редактировал. Но при этом грешил, если можно так выразиться, близоруким своекорыстием: главная, мол, наша забота — обличительные статьи в журналах; строго-настрого цензорам внушить, чтобы допускали таких статей «все менее и менее, если не будут рядом с ними помещены другие статьи в противоположном духе».

Турунов и кропал одно постановление за другим, но втайне сочувствовал бесстрашному коллеге — Ф. И. Тютчеву, вечно брюзжавшему, что не постигают наши администраторы истинного призвания цензуры российской, что незачем Валуеву корчить этакого Персиньи — укротителя литературы, что это только во Франции цензурная политика есть дуэль между министерством и журналистикой, а у нас лжеучения грознее обличений.

И верно: обличительные статьи стали выходить из моды еще при Добролюбове, а уж теперь наступило такое время, что надо быть о двух головах, чтобы осмелиться напасть на мероприятия правительства. Ну, еще в «Искре» там или «Гудке» каком-нибудь скоморошничают развеселые стихотворцы, перекликаются усмешливо из-под карикатур, но где же им провести сосредоточенного наблюдателя? Против них и циркуляры не надобны. А в серьезных журналах сатиру эту оставили вовсе. Уж на что Щедрин свиреп и удержу не знает, а и он, в «Современнике» обосновавшись, кружева плетет из ядовитых обиняков — ненависть из любого словечка так и брызжет, — а учреждений все-таки не трогает, на этом его не возьмешь, против него совсем другие требуются средства.

Но министр («Колокола», что ли, начитался?) талдычил свое, и в угоду ему Турунов подвел под злополучный третий пункт целую теорию — хоть сейчас диссертацию по эстетике защищай:

> «…беспрепятственно могут появляться изображения личных недостатков должностных лиц, но отнюдь не нападки на авторитет правительственных, особенно высших, учреждений и званий, путем обобщения

отдельных фактов или придания им типического значения, как последствия неудовлетворительной организации всего государственного управления», и так далее.

Вы скажете — вот и прекрасно, по крайней мере от критики бездельной государство застраховано. Однако цензоров-то чем руководствовать? Бекетова, к примеру, из-за чего пришлось скоропостижно отправить на пенсион? Разве в «Что делать?» задеваются высшие учреждения? Или факты неприятные обобщаются? Разве выходки автор себе позволил? Ведь нет же в романе ничего этого, а вместе с тем для всякого несомненно, что цензор и точно виноват. Гимназисты, мусоля сигарки где-нибудь на черной лестнице, и те шушукаются: как это, мол, пропустили такое смелое произведение? Еще, слава богу, невдомек дрянным мальчишкам, что оттого и пропустили, что цензор на букву закона полагался (да и на печати сенатские тяжелые: рукопись-то из крепости через Сенат шла, вот как теперь Писарева труды; но Писарева мы вниманием усиленным не оставим).

Вот почему так огорчали Турунова разглагольствования о каких-то законах. Он подчиненным своим отчеканил раз и навсегда: приберегите благоглупости для авторов и редакторов. Пускай господин Благосветлов о законах рассуждает, а нам с вами, какая бы цензура в империи ни установилась — предупредительная, карательная, смешанная, — надлежит на всю жизнь заучить, как «Отче наш», нижеследующую заповедь. Записывайте, господа:

— Так как нет никакой возможности даже приблизительно, определить бесспорные признаки вредного направления, то приличнее, откровеннее и достойнее не прикрывать закон наружною формою определительности, когда внутреннее содержание его не подходит ни под какое положительное определение.

Вот с этой точки зрения председатель и рассматривал статьи.

Еленеву он доверял, но «Русскому слову» — нимало, да и редактор этого журнала не такой был человек, чтобы цензору уступить. Турунов читал корректуры «Русского слова», как и «Современника», от первого листа до последнего и всегда впадал в отчаяние: сколько ни вычеркивай, а все мало, — и сам брался за карандаш, если хотя бы тень тревоги пролетала по его искушенной душе.

Но если случай оказывался трудный (не хотелось взваливать на себя лишнюю ответственность или навлекать упрек в самонадеянности) или вопиющий (и хотелось доставить автору

неприятности покрупнее), или ежели редактор в своей назойливости заходил так далеко, что пытался обжаловать решение комитета (многажды помянутый Благосветлов был кляузник удивительно безбоязненный), — тогда сомнительная статья переходила в Совет по делам книгопечатания при министерстве внутренних дел.

Совет был учрежден недавно — прошлым летом — и ненадолго: до утверждения нового цензурного устава. Возглавлял его товарищ министра Тройницкий (бывший председатель Центрального статистического комитета), первую скрипку играл, бесспорно, этот же самый Турунов, а кроме них членами состояли: Пржецлавский, Варадинов, Гончаров, Тихомандрицкий, Похвиснев, Тютчев и Никитенко. Сей последний, как мы с вами, читатель, знаем, прославился в веках прилежанием, обратившим его дневник в бесценный кладезь подробностей. И вот, на наше счастье, не даровитый, но благомыслящий Александр Васильевич после первого же заседания Совета по свежим следам занес на свою скрижаль силуэты сослуживцев, придерживаясь давным-давно и невольно усвоенной им манеры письма Хлестакова к Тряпичкину:

> «П р ж е ц л а в с к и й — старый плут, поляк и католик в душе, но весьма искусно скрывающий свои польские и католические тенденции. Он всегда применялся к обстоятельствам и к тому, куда тянут сильнейшие.
>
> В а р а д и н о в едва ли имеет какое-нибудь убеждение, кроме того, что надобно исполнять волю начальства.
>
> Мой друг И. А. Г о н ч а р о в всячески будет стараться получать исправно свои четыре тысячи и действовать осторожно, так, чтобы и начальство и литераторы были им довольны.
>
> Т и х о м а н д р и т с к и й — ничего.
>
> Т у р у н о в. Мне кажется, он немного глуповат, как и следует быть чиновнику, которого министр считает за слепое орудие…
>
> П о х в и с н е в а видел лишь в первый раз и потому о нем не могу составить себе никакого понятия.
>
> Наружность его тощая, самодовольная, вертлявая, — вот и все, что видно с первого раза…»

Много ли тут добавишь? Из перечисленных наблюдательным профессором только один господин с тощей и вертлявой наружностью был новичок в литературе: он заседал в Совете как

директор исполнительной полиции. А прочие все были люди пера; Тихомандрицкий, скажем, создал учебник математики, Варадинов — «Историю министерства внутренних дел», ну а имя Гончарова не нуждается в рекомендации (Тютчев на первых заседаниях не присутствовал и на эту страницу знаменитого дневника не попал, но и Тютчева — кто же не знает из образованных людей?). Даже Пржецлавский, хоть и католик в душе, редактировал (при поддержке Третьего отделения) периодическое издание на польском языке и был в нем почти единственным автором, причем так уверенно излагал свои убеждения, что эмигрантский трибунал приговорил его заочно к смертной казни, каковая и была исполнена над его портретом. Опытнейший, надежнейший был человек, и от начальства заслужил чуточку насмешливое, а все-таки ласкательное прозвище: «философ цензуры» (и этой его тихой, домашней славе и Турунов, и Никитенко слегка завидовали). Да и вообще какие бы то ни было сомнения по поводу состава Совета неуместны: сам министр отбирал кандидатуры, сам император их утверждал. А уж к Ивану Александровичу Гончарову наш профессор положительно несправедлив: если писатель охотно променял «Северную почту» на солидный оклад и долгожданный титул превосходительства, то это еще не значит, что он способен покривить душой, — скорее, напротив. Так и писал Иван Александрович министру внутренних дел:

> «Я не отрекаюсь от сочувствия к литературе, но и злой враг не упрекает меня в потворстве к ее крайним и вредным проявлениям: этому противоречит вся моя служебная и литературная деятельность».

Итак, вот эти-то испытанные мужи заслушивали доклад Турунова о спорной статье, — и никого, наверное, не удивит, что почти всегда мнение Санкт-Петербургского комитета утверждалось без проволочек, если только не встречалось надобности посоветоваться с цензурой духовной, военной, придворной или еще какой-нибудь. В сущности, каждое ведомство располагало доверенными людьми, способными решить судьбу любого литературного произведения или хотя бы поправить слог. И хотя к услугам таких людей в последнее время прибегали пореже — хватало штатных цензоров, — но все же и они вносили свою лепту.

> «Чтобы иметь верное понятие о духе и общем настроении нашей прессы, — с непостижимым простодушием плакался Валуев во всеподданнейшем

> отчете, — надлежит постоянно сохранять в виду, что ни одна книжка журнала, ни один почти номер газеты, почти ни одна сколько-нибудь замечательная статья, и даже нередко ни одна страница в этой статье, не появляются в печати в том виде, в каком они появились бы, если бы издатели и редакторы не были подчинены предварительному контролю цензуры».

И наступал счастливый день, когда статья возвращалась к редактору, — растрепанная, вся красная от вымарок, но зато с надписью в правом верхнем углу первого листа: «дозволено цензурою» (теперь писали только так, а до весны шестьдесят третьего — сущую нелепость: «одобрено»). С богом! Типография и почтамт давно наготове — печатай и рассылай, подписчики заждались, две с половиною тысячи человек. Больше чем на два месяца «Русское слово» почти никогда не опаздывало, подписчики привыкли к этому и терпели не ропща. Ради статей Писарева и Шелгунова, ради ослепительно остроумных рецензий Зайцева, ради минаевского фельетона в прозе и стихах, ради переводного романа с продолжением впредь — стоило и потомиться ожиданием, не правда ли?

Так все и шло заведенным порядком. Весь путь мысли от автора к читателю был на виду, отлично освещен и надежно охранялся. Только знай пиши. Как это у Горация — или еще у кого-то из Древнего Рима? Богатый или бедный, в тюрьме или ссылке, какого цвета ни была бы нить моей жизни, я должен писать. Scribere — если по-латыни.

А нельзя не сознаться, что недурно владел своим ремеслом античный пиита: звонко прилгнул, и с достоинством, вот что дорого. Должен, говорит, должен писать, таков его долг, и все тут, и никакие бедствия его не устрашат. Да хоть расскажите, хоть к дикарям ссылайте на Черное море, а все-таки не дождетесь, чтобы он перестал воспевать божественного Августа и великодушного Мецената. Вы что же думали — он ради похвал и наград усердствует, ради виллы изящной близ Тибура? Или воображали, будто сочинитель, автор — ничего более как скворушка ручной: свиристит на разные лады единственно по причине исправного пищеварения и только до тех пор, покуда в комнате светло, — а набросят на клетку платок, он и затихнет? Так узнайте же, что вы заблуждались, милостивые государи, и ты, о непочтительная чернь! За виллу, разумеется, спасибо, тем более что при ней обретается несколько весьма трудолюбивых рабов, — но рассудите сами: найдется ли в мире сила (о платке и говорить смешно), способная воспрепятствовать избраннику небес

исполнить его предназначение? У него вместо сердца — раскаленный уголь в груди, у него в гортани клокочет вещий глагол, а тут еще Муза поталкивает его под локоток, приговаривая: «Воспой! Во что бы то ни стало сейчас же воспой! Посмей только не воспеть!» Как по-вашему, волен ли он уклониться? Согласитесь, что при таких обстоятельствах отлынивать не приходится, выбора нет, он должен сочинять, — понимаете ли: должен! — и тут уж, действительно, какая разница, в Риме он пребывает или в Тьмутаракани. Разве что в Риме легче раздобыть грамотного переписчика; ну, и предмет воспевания особенно ярок вблизи; но это уж ваша забота, а ему все равно, потому что он не льстец, когда слагает свободную хвалу; он, точно, человек подневольный, но подчинен такому начальству, которое превыше земных властей.

Теперь спрашивается: у какого Августа, у какого Мецената достало бы хладнокровия не клюнуть на столь аппетитную наживку? И кто на их месте не позаботился бы о том, чтобы эта обаятельная идея непременно попала в учебники по теории словесности и на веки вечные там утвердилась? Так удивительно ли, что вот уже добрых две тысячи лет никому на земном шаре (конечно, за исключением коменданта здешней крепости) в голову не приходит приставать даже и к самому захудалому литератору с бесцеремонными расспросами: а что это, дескать, такое ты, голубчик, пишешь? зачем и для чего? Всякий образованный человек так и ожидает услышать вместо ответа этот самый куплет из латинской хрестоматии; а сверх того понимает, что на звуки достопамятных падежных окончаний тотчас сбегутся другие образованные люди и примутся его стыдить: где, спросят, вы изволили окончить курс? как это профессор вам не втолковал, что автор не по своей охоте творит, а под диктовку Музы? Он пишет, потому что должен писать, и довольно с вас, гусь вы этакий! Положим, генерала Сорокина подобной отповедью не смутишь; а за неосторожное сравнение с гусем (на которого, между нами будь сказано, военачальник похож в точности) он собеседника муз, чего доброго, и прогулок лишит на неделю, а то и на две. Но ведь не потому лишит, что исповедует нигилизм и не верует в хрестоматию, а потому, наоборот, что в простоте душевной полагает, причем не без основания, будто настоящие писатели по тюрьмам не сидят. То есть даже в этом уродливом черепе, до отказа набитом, по-видимому, гербовой бумагой, все-таки гнездится некий светлячок и при словах «литература» или «автор» озаряет раскрашенную картинку, а на картинке, надо думать, старец в орденской ленте: одной рукой подбоченился, другую, как водится, воздел и с

улыбкой говорит царям истину. А под картинкой крупными буквами напечатано: «Он должен писать!» — и справедливость этого изречения Сорокину понять немудрено, потому что как же, в самом деле, выучить истину наизусть и декламировать без запинки и с улыбкой, ежели сперва ее как следует не зарифмовать… Вот и выходит, что заклинание, изобретенное в Древнем Риме удачливым шарлатаном, все еще не утратило магического действия.

Всего смешнее, что знаменитый римлянин, надувая невежественных современников, почти не кривил душой, так хотелось ему верить в пресловутое свое призвание. Сочинив себе роль толмача богов, он свыкся с нею настолько, что пресерьезно возомнил себя существом отчасти неземным. Даже и о вдохновении тревожился каждый день: снизойдет ли нынче? не покинет ли? В глубине души он, конечно, помнил, что все это вздор, но размышлять было недосуг и смертельно опасно. Ставки в старину бывали слишком высоки: зазеваешься, чем ни то не потрафишь воспеваемому благодетелю, или свергнет его кто-нибудь злопамятный, — только и видели тебя, и поминай как звали бедного Квинта Горация Флакка.

Но он, счастливчик, ни разу не зазевался. Весь ум истратил на пустяки — но зато жил припеваючи и помер в собственной постели. Экая благодать! А стихи его, те самые стихи, которые он выдавал за продиктованные с неба и на которые в действительности ухлопал пропасть труда, — те самые стихи, которыми он так дорожил и гордился, что и в агонии расползающимися губами пытался напоследок их повторять, — стихи эти превратились в орудия пытки, под которой изнывали и до сих пор изнывают неисчислимые поколения школьников во всех так называемых цивилизованных странах. Славная участь!

Стоило ради нее всю жизнь работать без передышки, бахвалиться и принимать позы. И, ради бога, не толкуйте о реке времен, которая, увы, в своем теченье уносит все дела людей. Река — рекой, однако писатель, объявляющий во всеуслышание, будто его святая, но единственная обязанность — расположить в определенном порядке как можно больше звучных слов и замысловатых выражений, — такой субъект смешон в любом столетии. Смешон-то он смешон, да никто этого не замечает, потому что подобные господа составляют большинство во всякой литературе, и давно ли вы сами, любезный друг, принадлежали к этому большинству?

Положим, оно не совсем так, мы жили все-таки не словами, а мыслями, притом своими собственными, и какова бы ни была им цена в базарный день, однако для автора-то они обладали всею

прелестью новизны.

Вот именно. И до чего же необременительными казались нам обязанности честного литератора: знай высказывай собственные мнения обо всем, что попадается на глаза; а попадаются-то все больше пустяки, ну так и бей направо и налево, чтобы только брызги летели от этой фальшивой науки, от игрушечной литературы. Да повеселей пиши, повеселей, а то читать не станут.

А зачем это нужно, чтобы читали? Для тиража, для гонорара? Ах, вот что: для общественной пользы! Но в чем же она?

А это потом будет видно, а наше дело — не лгать. Говори что думаешь, и будь что будет, и больше ты ничего никому не должен, и кто вкусил такой свободы, тот уже ни на что ее не променяет.

Еще бы! Размышлять над прочитанной книгой — увлекательно, излагать результаты размышлений — одно удовольствие, а за исписанную бумагу платят полистно. Автору хорошо, и публика довольна: с нею делятся мыслями, ее услаждают легким слогом. Даже и польза в самом деле предвидится — через сколько-то поколений наши нынешние парадоксы станут общими местами. Все как и быть должно в цивилизованной стране. Две сотни писателей пишут, двадцать тысяч читателей читают, двести тысяч чиновников и миллион солдат охраняют отчизну от посягательств литературы, а на заднем плане еще шестьдесят миллионов полуголых туземцев — единокровных братьев наших, это заметьте, — копошатся в грязи, приемами первобытного земледелия добывая пропитание на всех и вечно голодая сами. Лестно числиться литератором в столь благоустроенном государстве. Высказывай честные мнения сколько влезет и сколько позволят. По крайней мере, хоть свою жизнь проведешь приятно, а что абсолютное большинство обречено на бессмысленный труд и безгласную погибель — так разве ты в этом виноват? Большинство живет в девятом веке, а ты — в девятнадцатом, ну и радуйся случайному выигрышу. Попользуйся им, не стесняясь, ведь жизнь коротка. Carpe diem, — поучает благоразумный Гораций: лови, дескать, день, сей день, свой день, хватай его на лету, как мяч, не упускай.

Сами ловите, а с меня довольно, я теперь делом займусь. В сущности, я рад, что так получилось, — не тому, конечно, что нахожусь здесь, а тому, что опамятовался — или забылся, считайте как хотите, — и хоть несколько страниц написал как свободный человек. Крикливо только вышло с непривычки. Но я действительно желал переворота и некоторое время верил, что он произойдет скоро. Даже и теперь, когда не верю, позволяю себе в иные минуты помечтать о перемене декораций — совсем как

Николай Гаврилович в последней главе: ворота нашей величественной кутузки, распахнутые, остаются позади, в караульной будке на мостике — никого, а на том берегу Кронверки плачет от радости молодая дама в розовом платье, и вот уже мы с нею в окружении каких-то друзей проезжаем в коляске по Невскому среди ликующих толп, и так далее. Прекраснейшая вещь — переворот, особенно для заключенных, уж не знаю, кем надо быть, рабом или рыбой, чтобы не воображать чего-либо подобного, сидя в сундуке. На воле обычно некогда негодовать и ненавидеть; все кажется, что есть дела, не сказать — поважней, а более насущные; при самом гнусном политическом устройстве всегда найдется о чем подумать помимо и кроме него; что-нибудь такое, что надеешься приобрести, или боишься потерять, или собираешься доделать. Деньги нужны; влюблен; книг непрочитанных бездна; к вечеру устаешь и необходимо развеяться; да мало ли чем занять на воле ум и совесть, и если не отберут все эти занятия и забавы сразу и внезапно, то много шансов, что даже ясное понимание происходящего не приведет к отчаянию, — в худшем случае, к легкому нравственному недомоганию, вроде хронического насморка. С другой стороны, ежели человек не отчаялся и не озлобился, то вряд ли его и тронут: зачем? пускай себе резвится.

Мой-то случай особый: видно, так уж звезды сошлись, что именно в то время, когда тебе вздумалось понежиться в объятиях дюжего тупицы, правительство постановило прихлопнуть честную журналистику, то есть все, что оставалось мне в жизни. Город горит, голова болит, ты далеко, и притом с тупицей, а тут каждый день кого-нибудь арестовывают, что-нибудь запрещают, закрывают, прекращают, на улице и в газетах только и слышно что у-лю-лю, каждое официозное слово дышит наглой уверенностью, что не встретит ни малейшего возражения… Лучшего, самого благородного из русских — Герцена публично заушают при всеобщем оглушительном хохоте! На моем месте и более крепкий человек не выдержал бы, не смолчал: беречься-то не для чего, раз все пропало.

Ошибка, собственно говоря, допущена была одна: в умопомрачении примерещилось, будто все порядочные люди не только думают, как я, но и чувствуют так же, и будто бы нас много и все мы вместе — сила.

Но сразу все и насовсем отнимают редко и у немногих. Правда, у масс, то есть почти у всех, отнято почти все, но так давно, что едва ли они догадываются об этом (а впрочем, что мы о них знаем?). А нас, чистую публику, на воле содержат недурно. Ходи по гостям, служи в канцелярии, посещай танцклассы, пиши

в альбомах, играй в домино-лото, плодись и размножайся… Даже, если хочется, читай книги! Даже, если противно, не читай газет! На здоровье! Жить дозволяется. С кротким благоволением взирает государство на законопослушного гражданина и, подобно знаменитому миргородскому филантропу Ивану Ивановичу Перерепенке, беседующему с нищенкой, ласково, но твердо приглашает его продолжать частную жизнь: «Ну, ступай же с богом! Чего же ты стоишь? Ведь я тебя не бью».

При таких льготах много ли найдется охотников бунтовать? Найдутся, конечно, — вернее, уже нашлись, но все они, насколько известно, занимаются ныне литературной деятельностью в радиусе ста шагов отсюда. Все уместились под надежным крылом генерал-лейтенанта Сорокина, и еще, вероятно, остались свободные нумера. А прочее население империи — опять-таки если верить смолокудрому отцу Василию — благополучно претерпело лихую годину и дождалось возвращения светлых дней, а ныне даже пребывает в состоянии патриотического воодушевления. Что за счастие нашему правительству: то пожары и прокламации, то восстанут кровожадные поляки, — отечество постоянно в опасности, рука всевышнего неутомимо приходит на помощь, сплошные напасти да чудесные избавления. Это очень удобно. Эти бранные тревоги — сильное воспитательное средство: человек привыкает отождествлять спокойствие государства с личным покоем и прилепляется душой к существующему порядку вещей. Какой ни на есть, а порядок, думает он и соглашается, бедный дурак, платить за него чужими человеческими жизнями. Несправедливость представляется ему одним из условий существования, вроде дурного климата: что тут придумаешь, кроме как одеваться потеплей. Он и одевается потеплей и бежит по своим делам; линия горизонта, сплошь уставленная согбенными фигурами голодных и раздетых, скрыта от него фасадами учреждений; а крепость — что ж, крепость наша для него, должно быть, одна из достопримечательностей столицы, он по нашим часам ставит свои.

Ведь это не над ним, не над ним гнусавит девяносто шесть раз в сутки злорадный голос: а вот и еще пятнадцати минут как не бывало, еще прошли пятнадцать минут двадцать третьего года твоей единственной жизни!

Ничего, ничего. Не очень-то испугали. Того мальчика, который больше всего на свете боялся рассердить взрослых, — его давно уже нет. (А ты помнишь, как я плакал, услышав впервые, что бывают такие дети, которые не слушаются мамаши?) Этот год, в сущности, проходит не хуже, чем прошлый, по крайней мере без глупостей. Глупости тут запрещены, даже

карточных долгов не наделаешь. (Воображаю, чего бы я только не натворил, оставшись на свободе!) Силы не расходуются попусту, а они ведь пригодятся. Потому и полезно получать от жизни такие грубые толчки, что волей-неволей, а призадумаешься, как вернее распорядиться основным капиталом — временем и умом (до сих-то пор, по счастью, расходовались только проценты). Время, правда, не в моей власти. Но зато ум — в моей, с ума они меня не сведут, одиночное заключение, как нам лучше всех известно, наивернейшее лекарство от меланхолии. Когда настоящее равно нулю и на окружающее незачем отвлекаться, мысль и взгляд перестают блуждать по сторонам. Зрение слабеет, а мысль усиливается. Она становится — как бы это тебе описать? — непрерывной. Из клочков опыта, из раздробленных фактов, из обрывков когда-то обдуманного и прочитанного словно бы сама собою прядется бесконечная нить. Вот она уже вобрала всю твою жизнь, все, что ты знал прежде, а волшебная прялка работает, невидимое веретено вращается, нить светится во мраке все ярче, и в одну прекрасную ночь, вот в такое же время, как сейчас, вдруг становится совсем светло. Прежде у тебя были кое-какие мысли, а теперь одна огромная мысль. Прежде ты кое-что знал, а теперь все понимаешь. Прежде были те или иные причины действовать так-то и так-то, а теперь открылась цель, ради которой стоит жить и умереть. Несказанное облегчение.

— Если бы ты знал, как тебя полюбили, — говорил Благосветлов. — Многие из молодежи сознаются, что только из твоих статей последних увидели, для чего стоит жить. В редакцию барышни приходят, выпрашивают твой портрет. Намедни одна сурово так отчеканила: «Благодаря „Очеркам из истории труда“ вся моя жизнь повернулась и осветилась!». Я сигарок принес. Сигарки ведь можно, Иван Федорович? Я спрашиваю — гостинец можно?

— Отчего же нельзя, — приветливо отозвался штабс-капитан Пинкорнелли. — Для здоровья не полезно, а правилами не запрещено. От казны выдается десяток папирос на день. По-моему, достаточно, да ведь запас карман не тянет. Что вы так жмуритесь, Дмитрий Иванович, голубчик? Глаза болят?

— Благодарю вас, глаза не болят, — отвечал Писарев, с усилием улыбаясь, — просто пытаюсь удостовериться, что это не сон. Иногда, знаете, воображаешь себе разные сцены, и разговоры такие правдоподобные, а потом обнаруживаешь вдруг, что это тени ходят по стене.

По многим признакам, это был не сон. От Благосветлова, например, пахло лавандовой одеколонью, а в камере откуда же

возьмется подобный аромат? Правда, и вся обстановка была не тюремная: крохотная комнатка, заставленная ненадежной на вид мебелью — разноцветные подушки, подушечки, чехлы, салфетки; на стене ковер, на окне полосатая занавеска, над стеклянным колпаком лампы — желтый абажур… Немножко похоже на спальню тетушки Натальи Петровны. Такое может и присниться, особенно в каземате.

Но Писарева сюда вели сквозь кипевшую в темноте беззвучную метель. В огромных валяных сапогах, в тяжелой шинели он запыхался и вспотел, ступая по свежевыпавшему глубокому снегу, хотя путь оказался недальний: два-три мрачных проулка. Отсыревшее в цейхгаузе белье липло к телу. Теперь он в летнем пальто сидел на легком скрипучем стуле и дрожал от озноба и напрягал мускулы, чтобы дрожь унять.

На скатерти прямо перед ним курился стакан, у подножия обведенный, как по циркулю, лужицей шоколадного, с багровыми прожилками, мрака, и на подстаканнике серебряные борзые настигали серебряную лису с невероятно пушистым хвостом.

Нет, это был не сон, уж скорее чудо.

— Никоим образом не сон, — ворковал плац-адъютант. — Однако на всякий случай условимся. Вас, Дмитрий Иванович, я пригласил к себе на квартиру, чтобы потолковать о том о сем, нет ли каких жалоб, и прочее, пока ваше помещение прибирают и обыскивают.

— Вот оно что…

— А как же! Вдруг прячете в ножке кровати кинжал или под тюфяком — веревочную лестницу. До сих пор никому не удавалось, но предосторожность — это наш, как бы сказать, конек. Ну а вас, милостивый государь, здесь вообще нет, не правда ли? Вы явились в канцелярию, оставили несколько книг для господина Писарева и отбыли восвояси.

— Иван Федорович, я вам клянусь, я побожусь, если хотите, — вскинулся Благосветлов.

— Это совершенно лишнее, а сделаем вот как, — журчал веселый старческий голосок. — Вы по дороге домой заезжайте к тому господину, который нас познакомил, да и напомните ему, что нынче вечером он меня навещал. Понимаете? Приехал в гости, а я, как назло, дежурю по крепости и занят делами службы. Он посидел с четверть часа, выпил чаю и, делать нечего, отправился к себе на Васильевский. Это было сегодня, двадцатого января.

— Все исполню и передам. К тому же Саранчов предупрежден…

— Экий вы! Не нужно имен! Если есть на свете место, где

стены обладают слухом, то это здесь, у нас, уж поверьте. Итак, вы все поняли оба. А теперь забудьте обо мне и беседуйте, время не ждет. Оставить вас наедине, увы, не могу: слишком серьезный и явный проступок, а генерал наш очень строг, даже свыше меры. Сейчас он в отсутствии, но донесут, донесут. Мундир, понимаете ли, пенсия, — о таких вещах тоже приходится думать. А в литературных ваших делах я все равно ни аза не смыслю, да и глух, в отличие, повторяю, от здешних стен.

Пинкорнелли поднялся из-за стола и шагнул к стоявшей в углу комнаты конторке, на которой горела под жестяным колпачком свеча. Тотчас заскрипело по бумаге перо и защелкали перебрасываемые костяшки счетов.

Не сон и, понятно, не чудо, думал Писарев, жадно глотая чай, а просто-напросто выдумка, до крайности неправдоподобная, третьеразрядного романиста. Но за храбрую мысль — свести на одной странице двоих столь отчаянно нелепых, столь прелестно безумных персонажей — автору следует кое-что простить, даже если он не ставил перед собою других целей, кроме той, чтобы у читателя щипало в носу.

Худенький, узкоплечий, нежноликий штабс-капитан так важно поджимал губки, с таким самодовольством подмигивал то одним глазом, то другим и так залихватски, на манер заядлого картежника, сей миг распечатавшего свежую колоду, потирал ладошки… Не подлежало сомнению: старичок полагает себя величайшим, опаснейшим хитрецом и витает на седьмом небе от восхищения собственным коварством. Ах, если бы не плешь, не седой затылок, не морщины на тощей шее, — расшалившаяся пансионерка, да и только!

Но и Григорий Евлампиевич был прекрасен и странностью облика никому бы не уступил, тем более что, в отличие от Пинкорнелли, держался хладнокровно и выглядел точно так же, как полтора года тому назад, как всегда. Немигающие глаза; каменные щеки, выскобленные так гладко, что больно смотреть; стальные иголки густо топорщатся над верхней губой; лезвия воротничков впились в кадык; галстух сползает к плечу; сюртук из какой-то негнущейся материи, словно бы не сшит, а выкован; а на толстых пальцах жирно сверкают — это новость! — внушительных размеров перстни, — и перстни эти как нельзя более уместны, потому что теперь-то уж любой, кто увидит Благосветлова впервые, хорошенько поломает голову, стараясь угадать, зачем бы это русскому унтер-офицеру рядиться британским коммерсантом…

Итак, налицо преступный сговор. Редактор радикального журнала, известный своей неблагонадежностью, тайно проникает

в политическую тюрьму при посредстве и энергическом содействии офицера охраны. Один рискует самое малое мундиром и пенсией; другой — вообще всем, и оба радешеньки. А действие происходит в России, в Петропавловской крепости. Ох, не завидую я автору будущей моей биографии, трудненько ему, бедняге, придется, особенно ежели он возьмется за дело лет этак через сто. А впрочем, к тому времени охотники изводить свою жизнь на описание чужой — должны перевестись.

— Послушай, Григорий Евлампиевич, — сказал Писарев, растягивая слова, чтобы голос звучал равнодушно, — нельзя так рисковать из пустяков. Я живу преотлично, не нуждаюсь ни в чем, кроме книг. Книгами ты меня снабжаешь, а я, пользуясь ими, пишу статьи для «Русского слова». Ты, в свою очередь, эти статьи печатаешь и деньги высылаешь моей матери. Мы с тобой друг другу нужны и поэтому оба исполняем взятые на себя обязательства. А все прочее, друг мой и брат, — сантименты, над которыми мы славно посмеемся, когда я выйду отсюда. И не ты ли меня учил…

— Дело есть, неотложное, — оборвал Благосветлов. — Сейчас все поймешь. А Базарова передо мною не разыгрывай, вижу ведь, что доволен. Да и риск не так велик.

Громко захрустела разворачиваемая бумага, и на скатерть вровень с верхним ободком подстаканника лег рыхлый пук длинных желтоватых листков с оттиснутым текстом.

Щелканье костяшек в углу прекратилось.

— Это, Иван Федорович, не прокламации, — возвысил голос Благосветлов. — Это корректурные листы, причем с подписью цензора. Вот здесь, видите?

— Да господь с вами, стану я проверять, — с удовольствием отвечал Пинкорнелли и выбил на счетах головокружительной трудности дробь. — Вот только время, господа, еще четверть часа, не больше.

— Кто автор-то? — спросил Писарев. — «Наша общественная жизнь» — это что, вместо «Домашней летописи»? Где-то было уже такое название.

— Да нет же, — досадливо вздохнул Благосветлов. — Неужели ты все позабыл? У нас набор совсем другой. Это «Современника» чистые листы. Январский нумер, позавчера подписан, но выйдет не раньше февраля, вместе со вторым, под одной обложкой.

— Позволь. Как же ты достал?

— Неважно. Читай. Все не успеешь. Я на полях отчеркнул карандашиком несколько мест, самое нужное. Читай, после поговорим. Я покурю пока, Иван Федорович?

— Сколько угодно. Сам не грешен, а запах дыма люблю, когда табак хороший.

— У меня как будто недурные, фабрики Достоевского. Разрешите, я от свечечки от вашей…

— Бога ради…

И еще что-то они говорили друг другу, но их заглушал пронзительный, умышленно фальшивый, задирающий голос:

— Итак, о птенцы, внемлите мне! Вы, которые еще полагаете различие между старыми и новыми годами (не без некоторых, конечно, любострастных в вашу собственную пользу надежд), вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы все, стучащие и ни до чего не достукивающиеся, просящие и не получающие, — все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру. Новый год, наверное, будет повторением старого, потому что и старый был хорош; никакой чаши ниоткуда не сойдет, по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее; стучать и просить вы будете по-прежнему (таково уж крохоборническое назначение ваше), и по-прежнему ничто не отворится перед вами, и ничего не будет вам дано, потому что жизнь дает только тем, кто подходит к ней прямо, и притом в «благопристойной» одежде (так, по крайней мере, всегда объявляется в афишах, приглашающих почтеннейшую публику в танцклассы).

Я не говорю, чтобы это была перспектива хорошая, но, по крайней мере, она не заключает в себе никакого марева, а, как хотите, и это уж немалое преимущество. Радужные цвета обливают ландшафт только изредка, настоящий же цвет, с которым мы должны иметь дело и который один не подкупит и не обольстит нас, есть цвет серый…

— Совсем он что-то приуныл, — проговорил Писарев, не отрывая взгляда от строки. — Ведь это Щедрин, я угадал? Мне попались две его хроники в тех книжках, где «Что делать?».

— Стало быть, ты видел возобновленный «Современник»? А я только сегодня сдал в канцелярию несколько нумеров. Этот ваш главнокомандующий, глаза под лоб закатив, вещает, как пифия: повременные издания дозволяются исключительно за прошедшие года!

— Постой, постой! Как это — стало быть? Ты разве не получил статьи моей «Мысли о русских романах»? Там же через слово о Чернышевском. Сентябрьская еще статья.

— В первый раз слышу.

— У коменданта нашего эта статья, — подал голос из своего угла Пинкорнелли; странной, перемежающейся какой-то глухотой

страдал старик. — Сенат что-то такое не похвалил ее, вот генерал и оставил рукопись у себя и вам сказывать не велел. Четверть часа прошли, господа, надо расставаться.

— Невозможно, — упрямо сказал Благосветлов. — Корректуры эти у меня до завтрашнего утра. Совершенно необходимо, чтобы Дмитрий Иванович хоть проглядел их. Умоляю вас, Иван Федорович, богом прошу! Комендант во дворце и приедет не скоро, вы же знаете.

— Никто не знает и знать не может, — плац-адъютант не докончил фразы, а Благосветлов вздрогнул: куранты очнулись от краткого забытья и старательно исполнили свой долг; Писарев эту сюиту амбарных замков не удостоил вниманием: читал.

— Три четверти шестого. Ну, так и быть, еще пятнадцать минут, и ни секунды более, — решил Пинкорнелли, когда наступила наконец тишина.

— Благодарю. Не то читаешь, Дмитрий, отчеркнутое читай. Там как раз о Чернышевском, да и ты к слову пришелся. Вернее, наоборот. Со временем, птенцы, — нашел это место? Ты помнишь, что это твои слова, из «Очерков»: со временем многое переменится, но мы с вами, читатель, до этого не доживем? Вот на этих словах его превосходительство и канканирует.

— Нашел, — сквозь зубы буркнул Писарев.

— Со временем, птенцы, со временем, — заливался отравленным смешком презрительный голос. — Поверьте, что это великое слово, которое может принести немало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспомню, например, что «со временем» дети будут рождать отцов, а яицы будут учить курицу, что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастною рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста.

С чистою совестью я надеюсь прожить сто лет и ничего, кроме чистоты совести, не ощущать.

Писарев перевернул страницу.

— Славно? — тотчас же осведомился Благосветлов. — Руководитель журнала из обращения изъят, а преемники персифлируют его сочинение — быть может, последнее, к тому же написанное всем известно где, к тому же напечатанное под их редакцией. «Современник» потешается над Чернышевским! Год назад поверил бы ты такому известию?

— Из рук вон. Главное, злоба радостная, личная. И даже не остроумно. Впрочем, кое-какие обороты для меня совсем темны. Трупы и пляски намекают на «Что делать?», понимаю. А вот: зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, — что это значит?

— Всего лишь новый способ сказать противнику дурака. Есть такой Варфоломей Зайцев, юноша почти гениальный. С прошлого апреля ведет в «Русском слове» библиографию. Двадцать один год, везде учился, ничего не кончил, читает на шести языках, пишет кратко, сказочно быстро и с ослепительной насмешкой. Ничего не боится, авторитеты не то что не признает — ненавидит. Впрочем, Берне, Гейне и тебя знает наизусть.

— А хлыстовщина при чем?

— Что-то он сгоряча ляпнул о Шопенгауэре неподобное, Антоновичу не понравилось, а ведь в России теперь Антонович первейший философ, еще один наследничек у Чернышевского объявился, ну и ославлен Зайцев невеждой, идеалистом, не знаю как еще. Это все для отвода глаз, на теорию ощущений экс-вице-губернатору наплевать, а вот уколол его Зайцев за бестактную остроту о «Мертвом доме», не пожалел генеральского самолюбия, — стало быть, война, стало быть, приговорен Зайцев и «Русское слово» вместе с ним. Да только руки коротки, ваше превосходительство! После этой вот, нынешней выходки у «Современника» не останется ни одного читателя!

— Вас услышат, — зашипел из своего угла Пинкорнелли.

— В самом деле, Григорий, что с тобой? Есть из чего бесноваться, — Писарев пожал плечами. — Шутки плоские, Чернышевский бессовестно предан, однако до конца света еще далеко.

Но Благосветлова было не унять. Квадратное лицо налилось кровью, волосатый, унизанный перстнями кулак метался над столом.

— Ты же не знаешь! Ты же главного не прочел. Да подожди, не листай. Чернышевский, Чернышевский… Если хочешь знать, я и сам не в таком уж восхищении от романа, если это вообще роман. Новая Россия на Аравийском полуострове, свободная любовь во дворцах из алюминия — по-моему, вздор. Щедрин приплел «Что делать?» к твоей статье просто так, из цинизма, цель у него другая: ты, я, «Русское слово». Да, да! Будущее по Чернышевскому смехотворно, а по Писареву — невообразимо далеко, мы с Антоновичем одни знаем истину, — знаем, да не скажем, цензура не велит, — одни остаемся верны знамени, потому как Чернышевский глуп, а Писарев с Благосветловым и Зайцевым даже не отступники, а просто наемные публицисты, лакеи графа Кушелева, и сочиняют по приказанию.

— По-моему, ты бредишь, — сказал Писарев, но руки у него тряслись.

— Читай! Это еще через страницу, я там отметил.

Через страницу и в самом деле было напечатано черным по желтому:

> «Одного такого сиятельного мецената я знал даже в Петербурге, и хотя был у него всего один раз, но видел достаточно, чтоб не желать повторения посещений. Я видел, как мрачный философ (Philosopho di forza) Ризположенский пожирал фазана на тарелке vieux saxe; я видел, как легкий философ (Philosopho di gratia) Семечкин выпил разом три рюмки водки из богемского хрусталя и жадно искал ополоумевшими глазами колбасы, но не находил ничего, кроме страсбургского пастета и разных подстрекающих аппетит сыров; я видел, как
>
> Шекснинска стерлядь золотая
>
> сделалась жертвою плотоядности критика Кроличкова; я видел, как страдал мажордом мецената, стоя за стулом публициста Бенескриптова, и чуть-чуть не вслух восклицал: „Embourbe! Embourbe!“ — я видел все это и страдал не менее самого мажордома…»

— Ну и ну, — протянул Писарев. — Даже как-то не верится.

— Дальше, дальше читай! — прикрикнул Благосветлов. — Там мне рюмку водки высылают через камердинера. Читай!

> «Да, это картина ужасная, потрясающая. Представьте себе развалившегося в креслах маленького, преждевременно от глупости оплешивевшего мецената и перед ним согбенного в дугу философа Ризположенского.
>
> — Мне было бы необходимо тысяч двадцать для продолжения моего дела, — заискивающим голосом говорит философ.
>
> — Хорошо, я вам дам их; но надеюсь, что вы будете проводить мои идеи! — отвечает меценат, грациозно поматывая своей прозрачной головкой.
>
> „Какие такие это идеи!“ — секретно думает Ризположенский, но вслух вещает так: — Уж это само собой разумеется, тем более что наши идеи и ваши…

— Ну да, ну да, а то меня Бенескриптов однажды уж надул… И если вы будете хорошо вести дело, будете проводить мои идеи, то я не ограничусь… я еще…

Ризположенский бледнеет и краснеет…»

— Все, господа! — непреклонным голосом объявил Пинкорнелли. — Мне пора на обход. Дмитрий Иванович, пожалуйте со мною.

— Все так все, — с неожиданной покорностью сказал Благосветлов и, отдуваясь, поднялся со своего стула.

Писарев тоже встал, обеими руками держа лист у самого лица и не отрывая глаз от текста.

(«Петр! — говорит меценат своему камердинеру. — Поди догони…»)

— Ладно, брось, некогда, — Благосветлов осторожно отнял корректуру. — Дай-ка я тебя обниму на прощанье. Здоровье береги, себя береги, ты очень нужен. Я и не спросил, как ты тут.

— Прощай. Мне живется отменно. И любопытно следить за событиями своей жизни. Только очень уж медленно они развиваются. Растянутый выходит роман.

— Поскорее прощайтесь, поскорее, — приговаривал плац-адъютант. — Шесть вот-вот пробьет.

— Еще одно слово. Напиши о Щедрине. Твои теперешние занятия важнее, согласен. Журнал в твоем распоряжении, Дарвина, Брема, Молешотта — все напечатаю, даже сравнительную анатомию, если скажешь. Но о Щедрине все-таки напиши, и как можно быстрее, чтобы успеть к февральской книжке. И я напишу, и Зайцев. Я вызвал бы этого господина на дуэль или прибил палкой, но тут не только наша честь, и не «Русского слова», тут вопрос судьбы поколения: кому оно поверит, кого станет читать. Так напишешь? — спрашивал Благосветлов под заунывный скрип, доносившийся с неба и обозначавший мелодию «Коль славен наш господь в Сионе».

Писарев стоял уже у двери, взявшись за граненую латунную ручку, похожую на гирю от стенных часов. Через плечо он посмотрел на Благосветлова и мечтательно улыбнулся.

— Да уж придется проучить, — сказал он. — Давненько не сочинял я ничего по-настоящему оскорбительного. Будет господин сатирик помнить Бенескриптова. Прощай.

И, подчиняясь деликатно-нетерпеливому жесту плац-адъютанта, открыл дверь в прихожую, где ожидал часовой.

Жизнь проста, возмущаться не стоит, обижаться не на кого, моя Раиза. Мы обитаем в истории, а история состоит из причин,

перетекающих в следствия, которые, в свою очередь, становятся причинами дальнейших событий. Если мы вырвем из истории отдельный эпизод, то увидим перед собою борьбу партий, игру страстей, фигуры добродетельных и порочных людей: одним мы станем сочувствовать, против других будем негодовать; но сочувствие и негодование будут продолжаться только до тех пор, пока мы не поймем той простой истины, что весь этот эпизод во всех своих частях и подробностях совершенно логично и неизбежно вытекает из предшествующих обстоятельств.

Сходные причины повторяются и приводят к похожим следствиям, и от этого иногда чудится, что время стоит на месте, что смысла — нет. Но если присмотреться как следует…

Мы обитаем в истории, а история движется умом, а ум воспламеняется знанием, а знание высекается, подобно искре, при столкновении ума с природой. Гениальный мистер Бокль хоть и умер, не закончив свою книгу, а самое важное сказать успел: история движется человеческим умом.

Легко может показаться, что это не совсем так или даже совсем не так: нынешнее состояние мира плачевно; почти все живущие несчастливы; зло всесильно; от страдания нет защиты; богатство, созданное трудом бесчисленных поколений и принадлежащее, бесспорно, всему человечеству как дань покоренной за тысячи лет природы, разделено между странами, а внутри каждой страны — между классами, ужасающе несправедливо. Немногого же добился человеческий ум за все эти тысячелетия, скажет иной скептик, по крайней мере в писанной истории что-то незаметно участие ума: вся она — не что иное, как цепь кровавых и непростительных глупостей.

О да! — если видеть в истории список собственных имен, связанных между собою разными глаголами и пересыпанных датами: Антон поколотил Сидора в таком-то году, а потом Сидор соединился с Егором и пошел на Антона в таком-то году, и вздул его при таком-то городе, и выгнал его из такого-то царства. Потом Сидор с Егором подрались за добычу; потом Егор женился на дочери Сидора, Фекле, в таком-то году и получил за нею в приданое такие-то города, и так далее… Так пишут историю разные Смарагдовы и Маколеи (подпустить слезу, погрозить кулаком покойнику Сидору, погладить по головке покойника Антона, — и готово, можно преподавать!); в их изложении она, точно, глупа, и нам в ней делать нечего. Не хватало еще участвовать в этой бесконечной потасовке…

Но попробуйте отвлечься от подвигов жадных, воинственных и громогласных болванов; попробуйте взглянуть на человеческую историю как на историю человеческого труда, как на путь,

пройденный всеми когда-либо жившими, как на путь, начатый в незапамятные времена стадом первобытных дикарей, питавшихся травой или чем-нибудь еще похуже… Мы увидим поразительную вещь: история идет не по кругу, а подвигается вперед! Медленно-медленно, а все же подвигается, и даже с каждым столетием все быстрей. Прогресс, несомненно, существует, это факт, в подтверждение которого можно было бы привести множество доказательств, если бы открытия и изобретения нашего века не говорили сами за себя.

Прогресс прогрессом, а жизнь и в девятнадцатом веке остается для громадного большинства почти невыносимой, — отчего? Оттого, что достижения прогресса присваивались и до сих пор присваиваются кучкой людей, не желающих делиться с остальными.

Откуда же у этих людей такая власть? Когда-то, давным-давно, они захватили ее силой, а теперь подкрепляют достижениями прогресса.

Стало быть, история все-таки идет по кругу? Нет, все-таки вперед, потому что человечество в целом становится умней, между тем как азарт присвоения порожден дремучей, первобытной, глупой жадностью. Дух анализа уже проникает в исследование существующих форм общественной и экономической жизни.

> «Та минута, в которую плодами этого исследования можно будет поделиться со всем человечеством, откроет собою новую эру справедливости, физического здоровья и материального благосостояния. Препятствий много, минута эта далека. Но к приближению этой минуты направлены все усилия всех честных работников мысли на земном шаре; нет тех препятствий, которых не победила бы, рано или поздно, энергия мысли и сила честного убеждения; нет тех испытаний, которые бы испугали людей, сознающих в себе естественных депутатов и защитников своей породы, — и потому славное будущее человечества не может погибнуть».

…Кому посчастливилось влюбиться в идею, кто нашел способ увлекательным трудом приближать осуществление цели, выше и важнее которой нет ничего, — о том нечего жалеть, моя Раиза. Если ценою лишений, ценою потраченной молодости, ценою потерянной любви к женщине он купил себе право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать, что он

заплатил слишком дорого.

Сколько людей живут без всякой цели, даже не догадываясь, что она есть. Сколько на свете нравственных карликов и вечных детей, в какую ничтожную драму превращают они свою и чужую жизнь, руководясь ничтожными мотивами! Радуются, огорчаются, приходят в восторг, приходят в негодование, борются с искушениями, одерживают победы, терпят поражения, влюбляются, женятся, спорят, горячатся, интригуют, мирятся, — и все это только различные проявления неисчерпаемой глупости. Наши писатели стараются внести в эту драму луч смысла; прежде они для этого подразделяли людей на дурных и хороших, на добрых и злых; теперь хотят доказать, что торжествующая сила нехороша, а угнетенная невинность, напротив того, прекрасна; в этом они ошибаются: и сила глупа, и невинность глупа, и только оттого, что они обе глупы, сила стремится угнетать, а невинность погружается в тупое терпение; свету нет, и оттого люди, не видя и не понимая друг друга, дерутся в темноте…

Только становясь умней, человечество добреет: это и есть прогресс. Умнеет оно, приобретая и накопляя знания. Новые знания добываются лишь изучением природы, потому что запас нравственных правил — по крайней мере, в последние две тысячи лет — не пополняется. Стало быть, одно реальное знание, естествознание — причина прогресса. А из этого следует, что истории необходимы два деятеля — ученый и литератор. Только они в силах ускорить прогресс. Ученый — отыскивая новые истины, литератор — пуская их в обращение. Высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства слова состоит именно в том, чтобы слиться с наукою и, посредством этого слияния, дать науке такое практическое могущество, которого она не могла бы приобрести исключительно своими собственными средствами.

Скажем и более. Если бы вы, г-н Щедрин, вместо того чтобы резвиться, насмехаясь над наукой, которая «со временем даст все», дочитали до конца хоть первый том Бокля, то в главе о ближайших причинах французской революции нашли бы такие факты, которые даже вас, действительно статский прогрессист, могут заставить призадуматься серьезно:

> «Первый решительный удар нанесен был этому порядку вещей (то есть старому, вы понимаете, г-н Щедрин?) тем беспримерным рвением, с каким стали разрабатывать естественные науки (слышите, г-н Щедрин?). Делались обширные открытия, которые не только подстрекали умы мыслящих людей, но и

> возбуждали любопытство более легкомысленных классов общества (а вы замечали, г-н Щедрин, что к вашим „Невинным рассказам“ особенно благоволят те самые провинциальные чиновники, которых вы изображаете так зло? Это потому, что вы писатель в глуповском вкусе). Самые обширные и самые трудные исследования были благосклонно приняты теми, чьи отцы едва ли слышали даже названия наук, к которым относились эти исследования (не похоже ли это на Россию, г-н Щедрин, на русских отцов и детей?). Блестящее воображение Бюффона вдруг доставило популярность геологии; то же самое сделало для химии красноречие Фуркруа, а для электричества — красноречие Полле; между тем как удивительные чтения Лаланда заставили всех заниматься даже астрономиею (а вы, г-н Щедрин, чем занимаете общество? Цветами невинного юмора? Нутряным смехом Иванушки-дурачка? Надрываете животики почтеннейшей публике?). Одним словом, достаточно сказать, что в продолжение тридцати лет, предшествовавших Революции, распространение естествознания шло так быстро, что из-за него пренебрегали изучением классической древности…»

Есть о чем подумать, не так ли, г-н Щедрин, балагур вы наш неистощимый? Далее Бокль рассказывает, что благодаря замечательным успехам знания новый принцип умственного превосходства стал быстро усиливаться за счет старого принципа превосходства аристократического, и мимоходом роняет следующие слова: «Место, где проповедуется наука, есть храм демократии». Ну что, г-н Щедрин, что, неумолимый остряк? Поняли, наконец? Может быть, хоть впредь станете поосторожнее в полемике против людей, занятых настоящим делом? А то как бы эти люди не назвали вас эксплуататором прогрессивной идеи, паразитом и откупщиком умственного мира… Не лучше ли вам принести покаяние и позаботиться об исправлении?

Это я говорю не в насмешку. У вас талант, у вас перо, вы умеете украсить мысль прибауткою и подернуть игривостью, — отлично! Все наши хорошие писатели имели значительную слабость к общим рассуждениям и высшим взглядам (и у меня есть эта слабость, хоть я еще и не считаю себя хорошим писателем), — а у вас ее нет, — опять-таки отлично! Общие рассуждения и высшие взгляды составляют совершенно бесполезную роскошь и мертвый капитал для такого общества, которому недостает самых простых и элементарных знаний.

Поэтому обществу надо давать эти необходимые знания, то есть знакомить публику с лучшими представителями европейской науки. Мне, например, эта задача во всех отношениях по душе и по силам, — думаю, что и вам тоже. Если человек умеет писать быстро, весело и занимательно, и любит читать, и легко усваивает себе чужие мысли, он, нимало не утомляясь, может давать в журнал листов по пятьдесят в год. Стоит только выбирать тщательно сюжеты статей, и публика ежегодно будет получать целую массу знаний по самым разнородным предметам. Если бы Добролюбов был жив, он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризирование европейских идей естествознания и антропологии… Припомните, сколько пользы принес Белинский, хотя ограничивался почти исключительно областью литературной критики, да притом был человек больной и раздражительный, что непременно мешало ясности и последовательности работы. Сколько же пользы можем принести мы — вы и я — при порядочном здоровье и способности писать не раздражаясь!

Впрочем, как хотите. И о Бокле я вам ничего не говорил: молчок! А только вот что:

> «Конечная цель лежит очень далеко, и путь тяжел во многих отношениях; быстрого успеха ожидать невозможно; но если этот путь к счастию, путь умственного развития, оказывается необходимым, единственно верным путем, то это вовсе не значит, чтобы следовало исключить из истории все двигатели событий, кроме опытной науки.
>
> Народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах; если они могут привести к цели быстро, пускай приводят. Но литература тут ни при чем; она ничего не может сделать ни для охлаждения, ни для разогревания народного чувства и энтузиазма; тут действуют только исторические обстоятельства; журналистика старается обыкновенно попадать в тон общего настроения, но это попадание содействует только успеху журнала, но вовсе не приносит пользы важному и общему делу. Литература может приносить пользу только посредством новых идей; это ее настоящее дело, и в этом отношении она не имеет соперников. Если даже чувство и энтузиазм приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить… Стало быть, естествознание составляет в настоящее время самую животрепещущую

потребность нашего общества. Кто отвлекает молодежь от этого дела, тот вредит общественному развитию. И потому еще раз скажу г. Щедрину: пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем. При его уменье владеть русским языком и писать живо и весело он может быть очень хорошим популяризатором. А Глупов давно пора бросить».

В прошедшем, тысяча восемьсот шестьдесят третьем году заключенный Писарев израсходовал восемьдесят девять листов бумаги: пятнадцать — на письма к родным, а семьдесят четыре — на литературные сочинения. Каждый лист он заполнял с обеих сторон, лепил строчку на строчку, не оставляя полей: более шестидесяти строк и около ста буковок в строке, так что без лупы и не подступишься (впрочем, надо отдать ему справедливость, получалось аккуратно, даже красиво). Генерал-лейтенант Сорокин не поленился заглянуть в журнал «Русское слово» и установил, что статья, написанная таким способом на шести листах, занимает в нем тридцать две страницы. Выяснилось также, что шестнадцать журнальных страниц составляют почему-то один печатный лист (у литераторов так называется) и стоят сорок рублей, — во всяком случае Благосветлов платил Писареву именно эту цену. Стало быть, каждый измаранный мальчишкой лист казенной бумаги приносил ему тринадцать рублей с копейками, а всего за прошлый год — собственно, за полгода, с июня месяца — он заработал без малого тысячу рублей. Вернее, конечно, сказать: мог бы заработать столько, если бы все статьи попали в печать (к счастью, одну, самую зловредную, удалось остановить, а она потянула бы рублей на триста) и если бы издатель платил за все написанное, а не только за то, что пропустила цензура (но Благосветлов был не так глуп, и Писарев то и дело жаловался своей драгоценной мамаше, что вот, дескать, опять Гришка надул с гонораром). Но все равно, доход заключенного, в пересчете на год, был немногим меньше жалованья коменданта! Правда, коменданту полагались еще разные надбавки, наградные и столовые деньги, казенная квартира и дрова, но ведь и Писарев жил на всем готовом! Это, как говорится, было бы смешно, когда бы не было так грустно, и мириться с таким безобразием Алексей Федорович не мог, просто не умещалось в голове: государственный преступник, находясь в заключении, развлекается вовсю (сам в письмах признается, что сочиняет без малейшего труда, что это для него забава), да еще гребет за это денежки, и какие? — армейский полковник столько

не получает. И все это с соизволения, или, прямо скажем, при попустительстве высшего начальства, которому словно бы и дела нет до того, чему же это такому полезному может научить публику, особливо молодых людей — голоштанный арестант, ожидающий отправки на каторгу.

В нынешнем году Писарев тоже, как видно, не собирался терять время понапрасну. Первого февраля переслал Благосветлову большую статью «Исторические эскизы» (оконченную, верно, еще в декабре); пятнадцатого — крайне подозрительное и уж во всяком случае неприлично дерзкое по тону сочинение: «Цветы невинного юмора» (впрочем, Щедрин, с которым он там разделывается, — тоже штучка, насколько можно судить; и вообще, это недурно, что бешеные собаки грызутся между собой); двадцать девятого — какие-то «Мотивы русской драмы» (ни слова не понять, но видно, что достается Добролюбову, а значит, опять-таки «Современнику»); а через месяц — «Прогресс в мире животных и растений», а еще через месяц — «Кукольная комедия с букетом гражданской скорби» (еще камушек в «Современников» огород), и еще через месяц — продолжение «Прогресса в мире животных и растений».

Кстати, этот самый «Прогресс» Алексею Федоровичу, пожалуй, понравился, во всяком случае, только эту статью он прочитал с интересом; извлек любопытные сведения о животном царстве; атеизмом от этого произведения, безусловно, несло за версту, но попадались бойкие сравнения, — одно генерал-лейтенант даже в тетрадку выписал, и не для рапорта, а так, для души.

> «Родиться на свет — самая простая штука, — резонно рассуждал арестант, — но прожить на свете — это уже очень мудрено; огромное большинство органических существ вступает в мир, как в громадную кухню, где повара ежеминутно рубят, потрошат, варят и поджаривают друг друга; попавши в такое странное общество, юное существо прямо из утробы матери переходит в какой-нибудь котел и поглощается одним из поваров; но не успел еще повар проглотить свой обед, как он уже сам, с недожеванным куском во рту, сидит в котле и обнаруживает уже чисто пассивные достоинства, свойственные хорошей котлете. И идет эта удивительная работа день и ночь без малейшего перерыва с тех пор, как „солнце светит и весь мир стоит“».

Что ни говори, а ведь остро, и слог картинный, этого не отнимешь. И как раз тем, что нравился, привлекал, а стало быть,

и подчинял, пусть на миг, — этим-то самым писа-ревский слог и выводил Алексея Федоровича из последнего терпенья. Уж он-то знал, что его обманывают, что солидная уверенность, рассудительность, чистосердечная веселость, будто бы звучавшие в статьях, — бессовестное притворство. Этот сильный, твердый голос и быстрая решительная речь не могли принадлежать болезненному юнцу в байковом халате и спадающих чулках, никак не вязались с одутловатым лицом в жидкой бороде, с блуждающим взглядом воспаленных глаз. Публика, видя под статьей жирные печатные буквы: «Д. Писарев», воображала, вероятно, какого-нибудь вполне благопристойного, с умом и образованием, даровитого господина, но Алексей-то Федорович, если бы и хотел, не в силах был не помнить, что под этими буквами скрывается молокосос, в корне, непоправимо испорченный, злокозненный, преступный!

Этому следовало положить конец, тем более что, по секретным данным, кое-кто из офицеров вверенной генералу Сорокину крепости стал почитывать статейки в «Русском слове» (а потому что соблазн! еще бы: раз уж арестанту дозволено всю Россию печатно поучать, значит, он кое для кого не арестант уже, но автор, литератор, фигура!). Результат не заставил себя ожидать: дисциплина пошатнулась. Да, да, никаких преувеличений! Не имея пока что возможности захватить негодяев с поличным, Алексей Федорович был уверен (нюхом чувствовал, да и просто знал), что Писареву тайно оказывается множество послаблений. Прочие сочинители и журналисты содержались все-таки в равелине, там не больно-то изловчишься, а в куртинах — одни поступают, другие убывают; того вызывают на допрос в комиссию, этого увозят в Сенат для объявления приговора, третьего выводят на прогулку, четвертого собирают в баню, пятому дано свидание, шестой желает беседовать с отцом Василием… В этой вечной суматохе заключенный, имея сообщником хотя бы одного из офицеров, в состоянии не то что сноситься с посторонними лицами, а хоть вовсе удрать. Удерет, а после за границей объявится и через «Колокол» пришлет поклон. Приятно?

А в ответе будет кто? Генерал Сорокин! Так что же прикажете, дневать и ночевать в Екатерининской? Или просто — молчать и ждать, что будет?

Алексей Федорович молчать не собирался. Он предупредил генерал-губернатора о своих подозрениях против штабс-капитана Пинкорнелли, «который через 2 дня на 3-й дежурит в крепости и тогда имеет право и даже обязан входить ко всем арестованным, за исключением находящихся в Алексеевском равелине.

Говорят, — опрометчиво написал Сорокин, — что при посещениях этих Пинкорнелли передает арестантам и по секрету получает от них таким же образом письма».

Боже, какая волна презрительного раздражения обрушилась на Алексея Федоровича, когда он вскоре явился к князю Суворову с очередным докладом! «Го-во-рят! — со вкусом повторял светлейший. — Нет, как вам это понравится: го-во-рят! Кто говорит, где говорит, кому? Проверено ли то, что говорят? Располагаете достоверными сведениями? Тогда почему скрываете их? Не имеете сведений — добудьте. Но уж если добыть не удалось… Вы обязаны, ваше превосходительство, знать, что употреблять подобные выражения в официальном рапорте на мое имя неприлично! И не сочтите, ваше превосходительство, за труд, объясните своим таинственным собеседникам, что порочить заслуженного офицера, даже если его понятия о гуманности не совсем такие, как у вас, — дело небезопасное. Передайте им, пожалуйста, что это не кто-нибудь, а я говорю, так и скажите: это князь Суворов го-во-рит!»

Формально-то князек был прав, потому что какие, в самом деле, могли быть у Алексея Федоровича достоверные сведения, кроме маловразумительных донесений нижних чинов? Вскоре, однако, всплыли подробности — вернее, одно только имя, но это уже была зацепка. Оказалось, что заключенный Писарев имеет частые свидания с некоторым господином по фамилии Саранчов, и свидания эти проходят, как со всей осторожностью было сказано в новом рапорте, «у одного из плац-адъютантов крепости».

На сей раз Суворов известием не пренебрег. Он отнесся в Третье отделение с просьбой нарядить экстренное негласное следствие, и там, естественно, медлить не стали… И вышел конфуз. Саранчов действительно существовал, служил бухгалтером в канцелярии военного министерства и даже состоял на замечании ввиду крайнего либерализма в суждениях о политических событиях, — но с Писаревым все-таки не встречался по той простой причине, что не был с ним знаком. По крайней мере, так заявили в Третьем отделении, и приходилось предположить, что осведомитель Сорокина что-то напутал. А Пинкорнелли, почуяв наблюдение, затаился. Коменданту оставалось одно: опять сосредоточить внимание на переписке заключенных, там вернее всего мог отыскаться нужный след.

С некоторых пор Алексей Федорович прямо-таки пристрастился к занятию, которое прежде недолюбливал, и даже скучал, если прочие обязанности подолгу не оставляли ему времени посидеть с лупой над письмами. Его окрылила удача.

Еще в позапрошлом году он выудил из послания Чернышевского к жене замечательные слова: «Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами». Теперь-то он помнил эти слова наизусть, а тогда был неприятно поражен безумным нахальством — или нахальным безумием? — но все-таки не сплоховал: сразу переслал письмо прямехонько в Третье отделение. И как же там обрадовались, как ухватились! Но только совсем недавно, девятнадцатого мая, Алексею Федоровичу объяснилась вся важность сделанного им открытия: этот самый отрывок из письма вошел в приговор, объявленный Чернышевскому, как одна из главнейших улик! Своими ушами слышал этот приговор генерал-лейтенант Сорокин: нарочно выкроил с утра часок, съездил на Мытнинскую площадь полюбоваться из окна кареты, как стоит на коленях знаменитый умник. И умник стоял на коленях, пока ломали над ним заранее подпиленную саблю, и послушно сунул руки в железные кольца у позорного столба, и дождь заливал ему очки, и молча глазела на эшафот толпа читателей (а литераторы, как слышно, не явились) — отлично было! Только два обстоятельства слегка омрачили торжество Алексею Федоровичу: во-первых, не позволил-таки Суворов накануне, по отбитии вечерней зари, обрить Чернышевскому, как положено, голову, а забавно бы, наверное, вышло; во-вторых же, две нигилистки осмелились бросить преступнику по букету цветов, а один офицер (офицер!) крикнул, сняв фуражку: «Прощай, Чернышевский!» — причем арестовать удалось лишь одну из нигилисток, а вторая, как и наглец офицер, ускользнула (вот она, петербургская полиция!). Но все равно; не зря Алексей Федорович корпел над бумагами Чернышевского, пригодилась государству старенькая походная лупа, авось и еще пригодится не раз.

(Между прочим, в бумагах Чернышевского немало находилось поучительного. Он работал с такой быстротой, что даже Писареву не снилось, — по двенадцать печатных листов в месяц! Если бы Алексею Федоровичу пришлось все это читать, он не справился бы, — хоть бросай службу. Но бог миловал, надобности не оказалось. Едва окончив «Что делать?», взялся было Чернышевский за новый роман и три, что ли, главы переслал в «Современник», да там уже знали, чем это пахнет, и не напечатали, конечно. А прочие рукописи сам преступник никуда не представлял, и никто их у него не просил, они пылились бесполезной грудой в его камере и по исполнении приговора свезены в мешках в архив Третьего отделения. Туда и дорога,

разумеется. А на первой странице того романа, «Алферьев», что начат в день окончания «Что делать?», были стихи. Четыре строчки Алексей Федорович запомнил. Как там —

Пройдут года в борьбе бесплодной,
И на красивые плиты,
Как из машины винт негодный,
Быть может, брошен будешь ты?..

Он думал, что это Чернышевский сам о себе сочинил, но Александр Львович Потапов сказал: нет, это Некрасова стихи, из давней поэмы «Несчастные». Кому же и знать, как не Потапову. Алексей Федорович о поэме с таким названием и не слыхивал. Но там, на Мытнинской площади, глядя на мокрые доски эшафота, на черный столб с цепями, на безгласного и неподвижного человека в залитых дождем очках, — там эти стихи Сорокин вспомнил явственно, словно бы кто-то за спиной у него прочел вслух:

Как из машины винт негодный…

А Некрасов попрощаться с Чернышевским в крепость не пришел, зря выхлопотал ему светлейший разрешение. Так-то.)

…И точно: пригодилась лупа вскоре опять, и не подвела! Тянет, неудержимо позывает человека в тюрьме на неосторожные признания. Чуть не весь свой жизненный план изложил Писарев в очередном послании к мамаше, но мамаша этого послания вовеки не получит, а получил его через генерал-лейтенанта Сорокина генерал-майор Потапов и представил князю Долгорукову при соответствующем рапорте:

«Представляемое письмо передано генерал-лейтенантом Сорокиным. Письмо это обращает на себя внимание, потому что Писарев сообщает своей матери, что он самый деятельный сотрудник журнала „Русское слово“, известного своим дурным и вредным направлением. При этом генерал-лейтенант Сорокин сообщил, что Писарев пишет очень много. Статьи его передаются прямо Санкт-Петербургским генерал-губернатором Благосветлову, который весьма часто посещает Писарева. Писарев содержится в Екатерининской куртине, в отдельном каземате, и потому как переписка, так и свидания его не подлежат

ведению III Отделения. Писарев по своему преступлению подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы, а потому, во избежание, чтобы статьи Писарева не произвели бы тех последствий, какие произошли от романа Чернышевского „Что делать?“, я полагал бы снестись с министром юстиции, не признает ли он нужным переместить Писарева в Алексеевский равелин, и тогда как выпуск его статей, так и неуместные свидания могут быть прекращены».

Но и опять — кто бы поверил этому? — ожидаемого результата не получилось. Шеф жандармов обратился не к министру юстиции, а все к тому же генерал-губернатору, жалобой на которого был, по существу, сорокинский доклад. И после разговора Долгорукова с Суворовым на докладе появилась резолюция: «Оставить без последствий, приобщить к делу». Потапов не упорствовал, он уже готовился сдавать дела заступавшему на прежнее место Тимашеву, а сам собирался в Вильну, помогать Муравьеву замирять все еще неспокойный Западный край. Опять остался в дураках старый комендант. В довершение неприятностей, мать Писарева приехала в Петербург, сразу получила, само собой, разрешение видеться с сыном регулярно, и переписка между ними прекратилась.

Свидания давали в две недели раз. Однако Варвара Дмитриевна приходила чаще и почти всегда проводила с сыном больше положенных двух часов. Офицеры и чиновники, служившие в крепости, знали, конечно, об особенном нерасположении коменданта к Писареву, но поскольку при очевидном неравенстве сил игра вот уже два года шла вничью, почти все догадывались, что в судьбе этого заключенного принимает участие некто посильнее генерала Сорокина, и не боялись допустить ту или иную мелкую поблажку наперекор злому старику.

Комната для свиданий находилась в Екатерининской куртине, в ее восточном торце; как войдете в полутемный тамбур, где двое часовых, то справа железная дверь в тюремный коридор, а слева — обычная, деревянная, в эту комнату для свиданий. Когда она бывала занята, Писарева выводили в кордегардию или в канцелярию, но там спокойно поговорить не удавалось. А в комнате для свиданий было тихо и светло. Там стоял широкий стол с грубо вырезанным на красной столешнице инвентарным номером, три табурета — и больше ничего. Мать и сын усаживались друг напротив друга, по разным сторонам стола, караульный офицер — сбоку, солдат с ружьем оставался у дверей. По инструкции, офицер обязан был вслушиваться в разговор и вообще не спускать глаз, но обычно он прохаживался по комнате, поглядывая в зарешеченные окошки, мурлыкал себе под нос песенки из «Прекрасной Елены» — словом, всячески давал понять, что является человеком благородным, что он тут только так, проформы ради и по долгу службы, что его тут, собственно говоря, как бы и нет.

Тем не менее, разговор почти всегда начинался несколько принужденно: не могла Варвара Дмитриевна справиться с собой, сердце у нее обрывалось, когда, улыбаясь заранее, входил в

комнату ее несчастный сын, и в каждой черте его огрубелого лица, в звуке голоса, в жестах, в подробностях нелепого наряда видела она одно: что он голоден, болен, что его обижают.

Чтобы эти первые несколько минут прошли легче, Варвара Дмитриевна, нарушая правила, ставила на стол корзинку с фруктами (лето летело к концу, на улицах Петербургской стороны разносчики знай кричали: «Сливы, яблоки, садо-вишенье!»). Полагалось фрукты сдавать в комендантское управление, это было бы даже лучше: съел бы один в своей комнате все, а тут принимался делить, угощать, а она не могла ни к чему притронуться, — но зато безжалостная невидимая рука, больно сжимавшая горло, ослабевала, и она могла говорить.

— Как ты? — спрашивала она. — Ничего нового плохого не случилось? Хорош ли сон? На прогулку не забывают водить?

— Все превосходно, — неизменно отвечал он, обгладывая яблоко до зернышек. — Ничего здесь не забывают, и случиться тоже не может ничего, оберегают меня — лучше не надо: имущество же казенное. Живу тихо, работаю или ворон считаю. Вернее, слушаю, как они учатся считать. В крепости их множество, и все такие жирные, важные, а по утрам, иногда и днем, у них что-то вроде ланкастерского взаимного обучения арифметике. Выбиваются из сил, но до счета «пять» никак не доберутся. Вот бы Дарвин послушал их…

— Кстати, — спохватывалась Варвара Дмитриевна, — Благосветлов просил передать, что «Прогресс» пропущен, а сокращения…

И разговор разгорался, хотя со стороны (тому же караульному офицеру, например) казалось, должно быть, что говорит по большей части одна Варвара Дмитриевна, как будто она являлась к сыну с докладом.

В сущности, так оно и было. Она еще с вечера готовилась к свиданию, составляя в уме реестр всего, что следовало сказать, рассказать, пересказать: письма из Грунца, поклоны родных и знакомых, поручения Благосветлова, литературные новости.

Литературе, впрочем, отводилось первое место. Для того чтобы etre au courant de tout ce qui s'y fait[6], Варвара Дмитриевна прилежно читала журналы, которыми снабжал ее Благосветлов, и посещала журфиксы, устраиваемые им по вторникам для сотрудников «Русского слова» («Теперь у Григория Евлампиевича собственный дом в Дмитровском переулке, собственный выезд, и в передней сидит не простой казачок, а чернокожий»).

Память у нее, как у всех Даниловых, была отменная, разговоры она передавала очень похоже, в лицах, так что у Писарева появилась возможность получать самые свежие известия

как бы от собственного корреспондента. Он слушал с увлечением, как в детстве, когда Варвара Дмитриевна читала ему вслух.

Она рассказывала, что недавно князь А. Ф. Голицын докладывал высочайшему в государстве лицу (для обозначения высочайшего лица глаза возводились горе, к пятнистому от протечек сводчатому потолку), будто журналы «Русское слово» и «Современник» проводят в общество такие правила и направления (Варвара Дмитриевна сурово помавала пальцем), которые по вредному своему влиянию ни в коем случае не могли бы быть терпимы. В качестве доказательства представлены были хроника Щедрина «Наша общественная жизнь» и статья Зайцева «Глуповцы, попавшие в „Современник“» («Слава богу, о тебе речи не было»). Голицын предложил обратить особое внимание министра внутренних дел на эти журналы, и высочайшее в государстве лицо ответствовало: «Необходимо». Но Щедрина в «Современнике» с весны не видно и не слышно. («Решительно не везет этому Щедрину. Если бы он не бранился так грубо, то, право, впору пожалеть. Вы втроем его осмеяли, Достоевский в „Эпохе“ мальтретировал его так, что страшно читать, и в самой редакции „Современника“ им недовольны. По слухам, он покидает и журнал, и журналистику, возвращается на коронную службу. Но так ему и надо, а то выдумал тоже: вместо „Зайцев и Писарев“ какие-то „вислоухие и юродствующие“. Глупо, и больше ничего».)

Щедрин уезжает в провинцию, и Благосветлов ликует, уверяя, что противник потерял ферзя, в то время как подписка на «Русское слово» продолжает расти, хотя, однако ж, и не настолько, чтобы можно было поднять полистную плату и делиться с сотрудниками, как было обещано, барышом («А дом купил!»). Конкуренция со стороны «Эпохи» ослабела («Достоевский бедный: жену похоронил, и почти сразу же — брата, а сам застранствовал падучей, какой уж тут журнал, только из-за братниных долгов продолжает издание»), и недалек тот час, когда публика окончательно поймет, что «Русское слово» — лучший журнал в стране.

Но пока что она почему-то предпочитает худшие! За «Русским вестником» не угнаться никому, кроме «Сына отечества», но и «Отечественные записки», и «Библиотека для чтения» далеко впереди нас. Они знают, чем взять читателя: не наукой, не критикой, а беллетристикой, романами подлинней — либо историческими, как «Князь Серебряный» (скоро и другой Толстой разразится историческим романом, из александровского времени, «Русский вестник» объявил), — а еще лучше злободневными, про нигилистов.

Из нумера в нумер — «Марево», «Взбаламученное море», «Некуда»! На каждой странице — бесчестные нигилисты, безнравственные нигилистки, польская интрига и козни лондонских выходцев. Одного господина, проживающего в Лондоне (тут Варвара Дмитриевна легонько трясла в воздухе воображаемым колокольчиком), только что по имени не называют. Да и называют, кажется! Особенно один, Стебницкий, всех превзошел: просто-напросто живых, известных литературному кругу людей, своих знакомых вывел в романе как отъявленных разрушителей, и фамилии дал такие, что разгадывать не надо, только буквы иные заменил. А сам-то под псевдонимом: по-настоящему не Стебницкий он, а Лесков. Бедный тоже и господин-колокольчик: прежде один Шедо-Ферроти над ним ругался, а нынче все, кому не лень, а издание его расходится не более как в восьмистах экземплярах, а Катков трубит, qu'il est perdu dans l'opinion publique[7].

— Разнесся даже слух о его смерти, но один человек, — Варвара Дмитриевна указательными пальцами очертила треугольник над верхней губой, — один человек случайно видел свежий нумер его журнала. Vieux lion, говорит, montre courage héroîque[8], спуску никому не дает. Роман Писемского прозвал «взболтанной помойной ямой». А еще напечатана такая заметка: «Об одной седовласой Магдалине мужского рода, писавшей… кое-кому, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучаясь, что… кто-то еще не знает о постигшем ее раскаянии». Как ты думаешь, кто эта Магдалина? Тургенев. Оказывается, он приезжал в Петербург — отрекаться от друзей своей молодости.

À propos de ce m-r* Шедо-Ферроти: опять из-за него скандал на всю Россию! Да только теперь ему самому приходится несладко, самого изменником ославили, шпионом польским. Какую-то брошюру новую издал за границей: «Que fera-t-on de la Pologne»[9] — и в ней Каткова задел, Муравьева обругал, а к великому князю Константину Николаевичу подслужился: вот, дескать, кто без ненужных жестокостей справился бы с мятежом. Головнин распорядился разослать эту брошюру по учебным заведениям. И тут Катков в «Московских ведомостях» объявил ее памфлетом, оскорбительным для русского народного чувства. А Головнин ведь, как-никак, министр, а великий князь хоть и удален из Польши, однако, по слухам, будет поставлен председателем Государственного совета. Но Каткову — ничего. Катков и в ус себе не дует. Один лондонский житель написал, что в России теперь правят трое. Vraiment[10], без тостов за здоровье Каткова и генерала Муравьева не обходится ни один

официальный обед. Сусанины, спасители отечества. Телеграммы, адресы, подарки им отовсюду. При дворе затеялась подписка на образ архистратига Михаила — чтобы Муравьеву поднести; а светлейший князь Суворов отказался участвовать, — так поэт Тютчев против него стихи написал, срамит, и во всех гостиных эти стихи повторяют:

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда, —
Мы, русские, Европы не спросясь…

И дальше еще уничижительней. Длинное стихотворение. Очень хороший человек — князь Суворов.

Политические новости в шестьдесят четвертом году все были в этом роде — невеселые, и Варвара Дмитриевна старалась рассказать их покороче и посмешней. Эти revues[11] ее отчасти тяготили; послушать Григория Евлампиевича, так все в России скверно, хуже некуда; он сам так однажды и выразился, будто люди в его глазах только тем и различаются, как они себя чувствуют в настоящую минуту: порядочным всем невмоготу. Ей как раз приходилось невмоготу, и ее сыну — тоже, как бы он ни бодрился, и она с тоскливой, завистливой неприязнью смотрела на всех, кто был здоров, свободен и пытался устроиться поудобнее, но она не понимала и пугалась ожесточенного презрения к жизни, которое воодушевляло друзей Благосветлова и ее собственных дочерей, даже одиннадцатилетнюю Катю. Митя был другой, в нем не было злобы, он презирал сильней, а ненавидел меньше, даже негодяев считал всего лишь недоумками; все эти министры, генералы, академики представлялись ему стадом дикарей, каких изображают на политипажах в детских книжках: вот они столпились вокруг с воинственными кликами, в ушах и ноздрях у них диковинные украшения, а чресла препоясаны пальмовыми листьями; а он в их власти, он в плену; сейчас каннибалы зарежут его и съедят; но возможно ли ненавидеть их за это? — и презирать-то негуманно; вот если бы отнять у них копья и каменные ножи, да накормить их чем-нибудь не менее сытным, чем человечина, да снабдить землей, орудиями труда и букварями, — то через сотни лет, в течение которых они и их потомки будут все это друг у друга отнимать, могла бы выработаться и у них истинно человеческая цивилизация. Это даже в любом случае неизбежно произойдет когда-нибудь, но сейчас эти несчастные, эти веселые и свирепые желают его съесть, и ненавидеть их за это унизительно и глупо,

хотя надежды спастись почти нет, и утешения, в сущности, тоже никакого. Вот разве что удастся убежать или обмануть.

Он был умнее всех, — господи, как она гордилась его умом, особенно с тех пор, как все вокруг признали его превосходство; она старалась смотреть на вещи, как он, и предугадывать его суждения (только религиозность ее оставалась непоколебимой); но политика ей претила, в политике она понимала одно: весь мир, за исключением нескольких человек, — против Мити, и все устроено так, чтобы загнать его в ловушку и захлопнуть за ним железную дверь.

И потому Варвара Дмитриевна не любила разговоров о политике.

— Mais passon toute cela[12], — вздыхала она, покончив с очередной порцией газетных известий и редакционных сплетен. — А какое я сегодня совершила путешествие!

И с горящими глазами, поминутно перебивая, выспрашивая частности, сын слушал повествование о том, как она решилась войти в вагон конно-железной дороги и всего за пять копеек серебром менее чем в полчаса очень удобно доехала от Николаевского вокзала до Биржи, и как некоторые барыни ворчали, что приходится ехать бог знает в каком обществе, потому что в вагоны пускают всех, даже солдат, — а она радовалась: для многих эта дорога — большое облегчение.

Она рассказывала, что молодые люди на Невском щеголяют в цветных брюках, что в моде, судя по всему, соломенные шляпы и зеленые перчатки.

— И все фланируют с тросточками, но это само собой разумеется. Я подумала: как выпустят, первым делом надо будет тебе прифрантиться.

И эту тему он поддерживал охотно, даже горячо, поскольку излюбленным занятием обоих — матери и сына — было обсуждение подробностей той новой, уютной и разумной жизни, которая начнется, когда его вышлют из Петербурга и Варвара Дмитриевна поедет за ним. В провинции с теми деньгами, что он будет получать из «Русского слова», можно устроиться недурно; они наймут чистенький домик, приобретут обстановку; и в той комнате, где он будет работать, поместится напротив письменного стола (огромного, со множеством ящичков и отделений) просторное, покойное кресло (а возле — скамеечка для ног и корзинка с вязаньем) — для нее, для мамаши. Славно заживут они втроем… Или вчетвером, если Верочка захочет приехать.

Он собирался жениться. Вступить в брак. Тотчас и непременно, едва доберется до места, которое назначат в

приговоре. Он говорил об этом много и настойчиво (чересчур много и чересчур настойчиво), внушая матери, что это с его стороны шаг обдуманный и в высшей степени благоразумный, что эпоха безрассудных решений ушла в прошлое безвозвратно: чего-чего, а уж времени на размышления ему отпустили с избытком, и теперь она видит перед собою взрослого, трезвого человека, знающего цену так называемым страстям. Варвара Дмитриевна мучительно вслушивалась в эти бесконечные, торжественные, правильные периоды и никак не могла разобрать, потешается он над нею ou si c'est tout de bon?[13] Слова звучали убедительно и разумно, излишнюю горячность объяснить было легко, но странным казалось, что он толкует об этой предполагаемой в будущем, гадательной женитьбе как о деле вполне решенном, именно как о сделанном шаге, — словно бы принимал за действительность некий сон, увиденный там, в темной, гадкой комнате, где его держат. (Варвара Дмитриевна не хотела помнить, как называется эта комната, не хотела думать о ней. «Княжна Тараканова», картина, выставленная в Академии, терзала ее днем и ночью: заплесневелые стены, кованая решетка на окне, крысы…)

Она от чистого сердца соглашалась, что брак — верное средство совершенно остепениться, что он привяжет к дому и отучит от карт (хоть и не верилось, что Митя такой заядлый игрок, каким представляется), что семьянину легче удержаться от опасных предприятий… Все было совершенно правильно. И даже то, что в этих матримониальных прожектах часто (слишком все-таки часто) мелькало имя Раисы, — следовало счесть скорее добрым знаком: сын без конца твердил, что женится по расчету, как раз потому и для того женится, чтобы ничего подобного той истории с ним больше не случилось.

Но когда он принимался рассчитывать семейный бюджет и чуть ли не по часам расписывать распорядок дня своей супруги, когда обдумывал вслух ее наряды, ее обязанности и развлечения и восторгался ее достоинствами и своим счастьем, — Варвару Дмитриевну охватывало тревожное недоумение, она силилась и не могла понять: то ли он действительно воображает себя жителем романа «Что делать?», то ли все это говорится просто pour rire[14].

Иногда бывало, что он шутил не смешно (только не в статьях!). Вот, например, весною, заметив из Верочкиного письма, что она подружилась с Лидой Целебеевой (соседская барыщня, ровесница Вере и дальняя-предальняя, через Жуковых, родственница) и они вместе читают его статьи, он в ответном письме потребовал сообщить, как Лиду звать по отчеству и какова

она собой. Его любопытство поспешили удовлетворить, восславив, как подобает, светлые Лидочкины кудряшки, задумчивые глаза и покладистый характер. Много веселились в Грунце по этому случаю, веселились и тогда, когда получили и прочитали новое письмо, в котором Митя самым серьезным образом и в церемонных выражениях просил передать милостивой государыне Лидии Осиповне, что он был бы счастлив назвать ее своей женой и намерен сделать формальное предложение, как только обстоятельства его переменятся к лучшему. Лиде, разумеется, девочки сказали только, что Митя заочно в нее влюбился (она, бедняжка, польщена была безмерно), а ему написали, что милостивая государыня Лидия Осиповна будет очень рада познакомиться с человеком, способным на такие отважные поступки. Тем дело и кончилось — тогда, весною, но теперь, прислушиваясь к чуть ли не научным, чуть ли не математическим выкладкам, которыми сын обосновывал свое неминуемое счастье, Варвара Дмитриевна со страхом думала о том, как трудны будут первые месяцы после его освобождения: он доверчивый и влюбчивый, он упрямый, и он так устал, — ведь лучшие годы проходят в клетке, под надзором грубых и злых мужчин, военных; она вспоминала рассказ про кого-то из осужденных по делу 14 декабря: провел в крепости много лет, а когда наконец вышел, то прямо на улице бросился обнимать и целовать первую встречную женщину — простую бабу и притом старуху. «Господи! — повторяла про себя Варвара Дмитриевна. — Господи, хоть бы поскорее объявили этот проклятый приговор! Только бы поскорее!»

— Бывает ведь, что брак и по расчету, а все равно несчастливый, — вслух замечала она. — Вот как у Маши: вышла она за Марковича без любви, только чтобы избавиться от тетушкиной опеки; ну, и убеждения Афанасия Васильевича, за которые он пострадал, ее восхищали. И что же? Надолго ли этого хватило? Теперь он бедствует в Малороссии, она вместе с сыном скитается по Европе: куда Пассек, туда и она, как тень. Афанасий Васильевич хворает, умоляет ее возвратиться, — она ни в какую. Это называется — elle est mariée![15] Говорят, он сейчас в Петербурге, этот Пассек. Привез Валуеву какой-то проект преобразования тюрем и теперь ожидает, что ему предложат хорошее место при министерстве внутренних дел. Тогда будто бы и Маша вернется. Она в переписке с таким Слепцовым, и Слепцов говорил Благосветлову: Марко Вовчок тоже увлечена преобразованием тюремного дела, как они это именуют, и надеется, что ей позволят устроить особую тюрьму — колонию для преступников малолетних. А Григорий Евлампиевич отвечает:

«Мало в России тюрем, так Мария Александровна решила новые завести, для детей? Отрадно и похвально, что на чужбине она не забывает о благе отечества!». Слепцов хмурился, хмурился — он, видно, к Маше неравнодушен, — а потом не выдержал, как расхохочется! Он очень забавно рассказывает о коммуне на Знаменской улице, — она распалась, helas![16] Все перессорились, и денег не хватило, квартиру-то наняли роскошную, да прислуги человек пять. Но если не гоняться за особыми удобствами, обойтись попроще, победней, — то дело это, все уверяют, вполне сбыточное, многие студенты, молодые художники поселяются в общих квартирах и столуются в складчину, это даже выгодно. Да, послушай, что поют студенты на голос «Проведемте, друзья, эту ночь веселей!». Слепцов мне спел, а я запомнила: «За здоровье того, кто „Что делать?“ писал, за героев его, за его идеал!». Трогательно, правда?

За три-четыре часа, пока продолжалось свидание, Митя успокаивался, она же выбивалась из сил. Весело попрощавшись с сыном и перекрестив его напоследок, она дожидалась, пока лязгнет, пропуская его, железная дверь, и только тогда выходила из куртины. Ослепительный шпиль собора, точно перевернутый маятник, раскачивался в бегущих по густому августовскому небу прозрачных облаках, и дебелые вороны, не умеющие считать до пяти, степенно ворошили первый, легчайший слой палой листвы. Внутри собор походил на дворец (хотя откуда ей знать? — во дворцах она не бывала), и молиться в нем не хотелось, но Варвара Дмитриевна все-таки молилась, без слов и без мыслей, просто стояла на коленях, как и другие женщины, молодые и старые, в черных, как у нее, платьях, понуро замершие вдоль стен, у западного входа, на ледяном полу.

Предчувствие не обмануло Варвару Дмитриевну. В конце августа, при очередном свидании, когда наступила уже пора расставаться, сын, стремительно оглянувшись на караульного офицера — тот расхаживал по комнате, позвякивая саблей, — легким щелчком переправил через стол маленький бумажный шарик. Она сразу накрыла шарик ладонью, тотчас сообразив (хотя похолодела от страха), что если офицер или часовой у двери что-нибудь заметили, надо успеть его проглотить. Но окрика не последовало. Варвара Дмитриевна заставила себя взглянуть на офицера — он был в дальнем углу и только еще поворачивался в ее сторону; солдат вроде бы дремал, опираясь на ружье. Она посмотрела сыну в глаза — он смущенно улыбался, но был так спокоен, словно дело происходило в Грунце и они играли в географическое лото. И в затянувшееся это мгновенье Варваре Дмитриевне показалось вдруг, что так оно и есть, что ей не сорок

девять лет и ему не двадцать четыре, что просто задремала она, пока дети спорили, кому водить, и привиделись ей невесть с чего какие-то оштукатуренные стены, сводчатые потолки, какие-то чужие люди в грубой разноцветной одежде и с угрожающими глазами; вот, слава богу, очнулась, как только начали бить часы, и сразу встретила ясный взгляд своего необыкновенного мальчика, — только в бороде лицо у него совсем беззащитное, нестерпимо жалкое лицо. Она слегка нагнулась и, как бы оправляя под столом платье, сунула бумажный шарик в башмак. Выпрямилась и через силу усмехнулась сыну в ответ.

В этот день она домой почти бежала, и не подумав зайти в собор. Дома осторожно развернула и тщательно разгладила скомканные, бисерным почерком плотно исписанные бумажные полоски со следами типографских литер по краям. Это были чистые поля книжных страниц. Митя оборвал поля с нескольких страниц какой-то иностранной книжки и на них написал письмо. Варвара Дмитриевна отыскала полоску с обращением — и вспыхнула от невольного гнева: так вот из-за чего он подвергал себя и ее опасности лишиться свиданий, если не похуже чему-нибудь! «Так я и знала», — с тяжелым сердцем думала она, читая это невозможное послание, и горестно качала головой. Потом посидела, поплакала, достала из бювара чистый лист бумаги и старательно переписала текст.

> «Милостивая государыня, Лидия Осиповна! Вы, вероятно, приняли мое предложение за глупую шутку и теперь, конечно, забыли о нем. А ведь это напрасно. Предложение мое не только очень серьезно, но даже благоразумно; и для нас обоих, для Вас и для меня, было бы очень хорошо, если бы Вы обсудили его спокойно и основательно. Если бы Вы были так же смелы, как и я, то есть если бы Вы приняли его немедленно, то это было бы гораздо лучше. Но Вы этого не сделаете ни в каком случае; стало быть, об этом нечего и толковать. Я вам объясню здесь, почему я осмелился сделать это предложение. Вы любите мою мать, вы дружны с моей сестрой, они обе души в Вас не слышат. Этого было для меня достаточно; я заключил из этих данных, во-первых, что Вы — существо умное и хорошее, а во-вторых, что Вы бы сошлись со мною самым дружеским образом, если бы мы с Вами увиделись. Видеться нам было невозможно, а между тем Вы могли, от нечего делать, от боязни упустить жизнь, выйти замуж за какого-нибудь бесцветного господина, который бы устроил для Вас

очень бесцветную жизнь. Такие вещи случаются на каждом шагу, и люди обыкновенно покоряются тому, что они называют судьбой. Но я до смерти не люблю покоряться этой глупой судьбе и всегда барахтаюсь до последней возможности. Зачем, подумал я, эта умная и милая девушка сделается женой какого-нибудь олуха, когда она могла бы доставить этим много счастья мне, человеку умному и порядочному, который сумел бы сделать ее также очень счастливою. Неужели вся эта чепуха произойдет только от того, что случайные обстоятельства задерживают меня в столице? Надо победить эти обстоятельства. Чтобы победить их, я сделал Вам предложение. Получивши его, Вы должны были спросить у Ваших друзей, т. е. у моей матери и сестры: „Способен ли он придумывать плоские шутки?..“ Они отвечали бы Вам: „нет“. Затем надо было расспросить их обо мне, т. е. о моем образе мыслей, о моем характере, о моем положении. Впрочем, по всей вероятности, Вы все это знаете, так что Вы могли бы сказать заочно, да или нет, почти так же сознательно, как Вы бы сказали это после свидания со мною. Вы скажете на это: „Почему я знаю, полюблю ли я Вас?“. Да, мы вообще привыкли смотреть на любовь, как на что-то непостижимое, возникающее Бог знает почему; по правде сказать, нам до сих пор больше и делать было нечего, как размышлять о любви и заниматься любовью. Но, мне кажется, любовь — вещь очень простая и естественная; когда даны условия любви — молодость, ум, приличная наружность, тогда и любовь должна возникнуть и всегда возникает. Я, например, совершенно уверен, что я Вас полюблю, и не вижу резона, почему бы Вы меня не полюбили. Вы очень хороши собой, а я совсем не хорош. Но во-первых, красивых мужчин на свете очень немного, а во-вторых, я не урод, у меня не пошлая физиономия, и, к довершению моей привлекательности, у меня с некоторых пор сделались очень умные глаза. Кроме того, жизнь не может быть наполнена любовными восторгами, и часто женщине приходится скучать десятки лет с тем мужчиной, который в продолжение нескольких недель был для нее предметом самой бешеной страсти. А со мной умная женщина не соскучится. Вы знаете мою мать и мою сестру; им никогда не бывает скучно со мной; Раиса также любила говорить и читать со мной и часто увлекалась течением моих мыслей; а теперь она

увлекалась бы еще смелее, потому что в последние два года вся цель жизни совершенно выяснилась перед моими глазами. Если бы Вы пожили месяца два с нами (с maman, с Верочкой и со мной), если бы Вы читали с нами и следили за процессом моей работы, то Вы бы на всю жизнь привязались к тому светлому и дельному существованию, которое открылось бы перед Вами. Я знаю, что Вы очень умны; maman передавала мне некоторые Ваши рассуждения, и я вглядывался в них очень внимательно. Я вижу, что Вы любите самостоятельность и умеете ценить ее; у Вас много умственной смелости; в деле благочестия Вы гораздо ближе подходите к моей сестре, чем к моей матери. Ну, скажите пожалуйста, как же мне не кусать себе локти от досады, что я не могу Вас видеть и говорить с Вами; ведь это все золотые свойства, ведь ими-то я и дорожил в Раисе, и вдруг такие сокровища достанутся какому-нибудь олуху, который и разглядеть-то их не сумеет. Лидия Осиповна, да не губите же Вы себя. Вам непременно надо выйти за нового человека. Вы себе представить не можете, как много счастья может дать женщине такая жизнь, в которой она будет пользоваться полнейшею самостоятельностью и в которой все ее умственные силы будут развернуты и получат себе приложение. Не думайте, пожалуйста, что я собираюсь сделаться учителем моей супруги. Нет. Ее любознательность будет пробуждена влиянием жизни, и я только буду для нее справочным лексиконом. Учить взрослого человека очень скучно; но учиться вместе с другом или любимою женщиною — это высшее наслаждение; а учиться надо постоянно, потому что, кто перестает идти вперед, тот начинает тупеть. Чтобы Вам когда-нибудь пришлось смотреть снизу вверх, — это невозможно; Вы умны, и я умен, стало быть, тут, кроме равенства, не может быть других отношений. Вы думали, что я до сих пор люблю Раису! Да ведь нельзя же любить прошедшее, или пустое пространство. Я теперь люблю не ее, а те недели, которые составляют светлое пятно в моей жизни; я люблю те ощущения, которые пережил вместе с ней. Но я не мечтатель, я люблю жизнь, и потому упорно стараюсь доставить или приготовить себе в будущем те ощущения, которые так дороги мне по воспоминаниям. Та женщина, которая согласится осветить и согреть мою жизнь, получит от меня всю ту

любовь, которую оттолкнула Раиса, бросившись на шею своему красивому орлу. Советую Вам попробовать; уверяю Вас, что эта женщина не будет обманута. Если это письмо Вам покажется чересчур странным, назовите меня сумасшедшим или дураком. Во всяком случае, оскорбительного в этом письме нет решительно ничего, а сумасшедшим меня называли не раз, и я этим никогда не обижался».

Направляясь на следующее свидание, Варвара Дмитриевна готовилась порядком разбранить сына, как он и заслуживал. Не так уж давно оставил он провинцию, вполне мог и сам сообразить, какое действие произвело бы на обитателей Новосильского уезда Тульской губернии (где все знают о других всё) подобное письмо, обращенное к благовоспитанной девице из хорошего дома. При всем своем хваленом эгоизме, и даже если правду говорил он тогда, в шестьдесят первом, признаваясь, что никого не любит (кроме Раисы, однако же, кроме Раисы! — и не забыть до самой смерти, как он имел dureté de coeur[17] написать: «Все остальные люди, ты, Верочка, папа, Благосветлов, Жуковский, доставляют мне больше или меньше удовольствия, и я сообразно с этим люблю с ними бывать»!), при всем пренебрежении к приличиям (условным, да! но общепринятым!), он все-таки не имел права забывать, что Вера ищет места гувернантки, что Иван Иванович все еще не утвержден (а должность мирового судьи — это не только полторы тысячи, совершенно необходимые; это еще и положение в обществе, каким бы мизерным оно ни казалось отсюда, из Петербурга); что всю зиму Варвара Дмитриевна жила уроками, которые давала дочерям окрестных помещиков, а кто же отпустит в Грунец своего ребенка, случись какой-нибудь скандал… Она хотела en toutes lettres[18] сказать сыну, что он не смеет играть репутацией семьи, что его арест и заключение и без того достаточно отяготили их жизнь; наконец, что и свою воображаемую избранницу он компрометирует, делая предметом насмешек и сплетен…

Ничего этого она не сказала. Еще по дороге к комендантскому дому, где состоялось свидание в этот раз, плац-адъютант Пинкорнелли предупредил Варвару Дмитриевну, что Митя не так здоров, целыми днями сидит на постели, опахнувшись шинелью, почти ничего не ест, хотя кушанье ему доставляют домашнее, прямо из квартиры одного офицера, и подвержен припадкам беспричинной раздражительности («На днях выгнал от себя отца Василия: обозвал шпионом и выгнал, и еще книжкой в спину ему запустил; счастье, что не попал, и

счастье, что отец Василий такой человек: не пожаловался генералу; много неприятностей мог иметь Дмитрий Иванович. Вы уж урезоньте его, что ли: ведь беды наживет»).

И когда Варвара Дмитриевна услышала пронзительный, напряженный голос сына, увидела, как он взмахивает руками не в такт речи и осклабляется ни с того ни с сего, словно какие-то пружины в нем срываются с крючков, — приготовленная нотация вылетела у нее из головы.

Он чуть не с порога спросил, по каким дням приходит почта в Новосиль, и Варвара Дмитриевна не решилась даже сознаться, что не отправила злосчастного письма. Вместе принялись они рассчитывать, когда следует ожидать ответа. Выходило, что не ранее как дней еще через десять, и то если Вера увидится с Лидой сразу же после почтового дня.

— Вряд ли она напишет прямо на твое имя. Ответ, конечно, придет через Верочку. Если побоишься принести, то, по крайней мере, запомни слово в слово, тут важна малейшая черточка. Но лучше принеси. Ежели Иван Федорович будет на дежурстве, он позволит.

Осторожные расспросы о здоровье он прервал гневным восклицанием, от новостей отмахнулся и без всякого перехода заговорил о Раисе. Он хотел знать о ней как можно больше, он хотел непременно видеть ее карточку. И Гарднер тоже его интересовал.

— И нечего удивляться, подозревать и трусить. Все это прошло, прошло насовсем. Просто любопытно посмотреть со стороны. Как если бы я был актер, играл в пьесе. Роль моя кончена, все реплики сказаны, я ушел со сцены, можно смывать грим, — но представление-то еще идет, как же не взглянуть из-за кулисы, что сталось с прочими действующими лицами, ради чего я лез из кожи вон и надрывал горло? Напиши ей тотчас, сегодня же, я прошу. А чтобы она ничего такого не возомнила, намекни — да прямо скажи — что у меня теперь другая героиня. Не забудешь?

Она все обещала, — лишь бы он не сердился, — и все исполнила, даже карточку Раисы, присланную из Москвы, пронесла через десять дней в комнату для свиданий. Сын долго-долго не выпускал из рук этот кусок твердого гофрированного картона, и тогда Варвара Дмитриевна, решившись, произнесла:

— Лида благодарит за честь. Она сказала Вере, что при встрече с нею ты увидишь, что она тебе не пара, и разочаруешься. Она много слышала о Раисе и уверена, что ты до сих пор ее любишь. Говорит: я ее осуждаю за поступок с Дмитрием Ивановичем, но мне до нее далеко.

Сын просиял и положил карточку Раисы — изображением вниз — на стол.

— Все это на словах? Сама не написала? Что же — умно. Исключительно благоразумная девица — наша Лидия Осиповна. Ей-богу, из нее выйдет толк.

Сказано было как будто с насмешкой. Варвара Дмитриевна обрадовалась и очень кстати, как ей показалось, добавила несколько слов о приличиях и репутациях. Сын ничего не возразил, и она переменила разговор шуткой:

— Я полагаю, наследник разделяет твои воззрения на брак. Уж наверное женится не по страсти. Однако ему внушили необходимость observer les convenances[19].

— Какой еще наследник? — хмуро спросил сын.

— О господи, совсем забыла рассказать. Великий князь Николай Александрович помолвлен с принцессой датскою Дагмарой. Император сообщил об этом князю Суворову телеграммой из Дармштадта…

— А князь Суворов, стало быть, немедленно приказал в честь этого исторического события ровно сто один раз выстрелить из всех имеющихся орудий над самым моим ухом. То-то мне вчера и сон весь перебили. Стены дрожали так — я думал, развалятся.

— И у меня в комнате стекла тряслись и звенели, я не спала и думала о тебе. Но и радовалась, потому что теперь-то уж, без сомнения, последуют большие милости.

— Посмотрим.

О Лиде в этот раз более не говорилось. Однако через неделю Варваре Дмитриевне пришлось унести из крепости в башмаке еще один бумажный шарик.

Это опять оказалось письмо, и опять к заочной невесте, Варвара Дмитриевна переписала его, как и первое, в двух экземплярах и надежно спрятала: чтобы не пропало, если с нею что случится; и если в будущем веке понадобится *жизнь Писарева*, то чтобы не выдумывали зря, но излагали, как было.

> «Милостивая государыня, Лидия Осиповна!
>
> Я получил Ваш ответ, и если Вы позволите выразить Вам о нем откровенно мое мнение, то я Вам скажу, что нахожу его вполне благоразумным. Другого ответа я и не ожидал, и если бы я считал Вас за девушку, способную броситься на шею к совершенно незнакомому человеку, то я бы никогда не сделал Вам предложения. Осмелился я написать к Вам не для того, чтобы получить Ваше согласие, — на что оно мне в настоящую минуту? Что бы я с ним стал делать в моем теперешнем положении? Я

написал единственно для того, чтобы заинтересовать Вас странностью этого поступка, и чтобы Ваше возбужденное любопытство заставило Вас отложить на год или на полтора окончательное решение Вашей участи, то есть свадьбу с каким-нибудь невеселым туземцем. Мое предложение было и навсегда останется делом совершенно серьезным, но я заранее был уверен, что получу отказ, и заранее знал, что я отвечу на этот отказ. Отвечу я вот что: до поры до времени, Лидия Осиповна, будем добрыми друзьями; потом, когда увидимся, будем говорить долго, серьезно, но совершенно откровенно, как люди, положительно собирающиеся заключить между собой очень важные условия; а потом — что Бог даст. Вы не думайте, пожалуйста, что я, пленившись рассказами maman и Верочки, пылаю к Вам мечтательною страстью и воображаю Вас себе, как что-то необычайное. Ничуть не бывало. Никакой страсти я не чувствую, и ничего необычайного я не ожидаю и не ищу. А думаю я просто, что Вы — такая девушка, которой не тяжело и не скучно будет жить со мной, которая сойдется как нельзя лучше с моим семейством, и которая доставит мне столько счастья, сколько всякий порядочный человек может требовать себе в жизни.

…Для семейной жизни необходимо прежде всего взаимное уважение, отсутствие физического отвращения. Если к этому присоединяется бешеная взаимная любовь — превосходно; но это уже роскошь жизни, а не насущный хлеб. Есть — хорошо; нет — не беда. Из всего, что я Вам говорил, Вы видите, что при свидании с Вами никакого разочарования произойти не может, потому что совсем не было и очарования. Очарование, может быть, *будет*, но будет или не будет — все равно: предложение мое сохраняет свою силу; только в одном случае Вы будете для меня редким сокровищем, а в другом случае — добрым, уважаемым другом. Весь вопрос состоит, стало быть, в том — *понравлюсь ли я Вам?* Это, конечно, вопрос очень важный. От него зависит все дело, и решиться он может только при свидании. Стало быть, поживем — увидим. Но я Вам *даю честное слово:* как только выйду из своего теперешнего положения, я непременно тотчас поеду туда, где Вы в то время будете находиться, и буду иметь честь представиться Вам. Мое предложение — дело серьезное, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы показать Вам, что я смотрю на него

именно таким образом. А там уже поступайте, как Вам будет угодно.

…Теперь насчет Раисы. С каждым днем я сильнее убеждаюсь в том, что это — прошедшее и что тут ничто не может воротиться назад. Было, сплыло и быльем поросло. Представьте себе, что ее муж умер бы сегодня. Ничего бы из этого не вышло. Она сама не бросится ко мне на шею, а я тоже не сделаю к ней ни одного шага, не по самолюбию, а потому, что теперь уже хлопотать-то не из чего. Теперь Раиса совсем не то, чем она была два года тому назад. Она начинает превращаться в развалину. Видел я ее карточку, читал ее письма. Не то, совсем не то. На карточке худая, больная, пожилая женщина; в письмах — пустота, слабость, усталость. Уверяю Вас, я нисколько не завидую Гарднеру и решительно не желаю быть на его месте. Раиса сама писала в прошлом году, что ее нервное расстройство может перейти в падучую болезнь или в сумасшествие. Ей теперь 24 года. Она легко может прожить еще двадцать или тридцать лет. Но ведь это не жизнь, а постоянное скрипение. Гарднер — сильный и здоровый мужчина, красавец собою, должен превратиться в сиделку и присутствовать постоянно при медленном разрушении той женщины, которую он любит. Скажите, пожалуйста, чему же тут завидовать? Вдумываясь в положение Гарднера, я могу только благодарить Господа Бога за то, что эта чаша прошла мимо меня. А два года тому назад я подрался с Гарднером из-за этой чаши, подрался с тем самым благодетелем, который отнимал у меня эту чашу.

Вы знаете, конечно, что даже мое теперешнее положение есть *последний* результат моего тогдашнего беснования. Но именно *последний* результат. Теперь беснование кончено, и я сужу совершенно хладнокровно о прошедшем. Ясное доказательство, что это прошедшее действительно прошло. Не думайте, Лидия Осиповна, что я хочу оплевать тот кумир, перед которым десять лет стоял на коленях; нет, это было бы очень грязно и подло. Разве она виновата в том, что она слаба и больна? А между тем ее муж — все-таки несчастный человек вследствие ее болезни. Я бы мог быть ее мужем, и я бы переносил это несчастье твердо и терпеливо, потому что ее стоит любить. Она милая, очень милая женщина; но все-таки несчастье можно переносить, когда оно на вас

сваливается, а напрашиваться на очевидное несчастье, добиваться его всякими усилиями — это уже глупо. Раиса сама прогнала меня; скажите пожалуйста, зачем же я теперь-то стал бы искать сближения с ней, даже в том случае, если бы Гарднер умер. Нет, Лидия Осиповна, прошедшего не воротишь, а теперь во мне даже замерло желание воротить его. Все устроилось в моей жизни чрезвычайно благополучно. Даже счастливые воспоминания моей молодой любви начинают застилаться туманом. Я не умею жить в прошедшем. Передо мной открыто будущее. Я молод и крепок. Я хочу и буду жить полною, здоровою жизнью мыслящего и чувствующего человека. Мне нужна *действительность*, а не воспоминания. Поэтому, если я только буду иметь счастье понравиться Вам, любите смело. Я Вас не обману, и Раиса ничему не помешает… Обдумайте мое письмо и отвечайте на него по-прежнему мамаше. До свидания».

Многое не понравилось Варваре Дмитриевне в этом письме. Она никак не могла поверить, что Митя и в самом деле адресует такие признания молодой незнакомой девушке: это означало бы, что его болезнь вернулась, что он опять перестал различать людей и со всеми без разбору пускается в неуместные откровенности. Варвара Дмитриевна помнила за ним эту радостную самодовольную говорливость… Но странная мысль давала ей надежду: казалось, по всему тону письма, что Митя поставил обращение только для виду; он как будто догадывался об участи своих посланий и сочинял их для нее одной, чтобы переписала и сохранила в сундучке; ведь ни с кем, кроме нее, он так не говорил. (А впрочем, с кем же ему было разговаривать вот уже двадцать шесть месяцев?) Разве что с самим собою. Но разве не самого себя окликает человек, когда вступает в переписку с неизвестным, воображаемым корреспондентом? Разве Митины статьи не так же пишутся? Вдруг и этот роман на полях книжной страницы — всего лишь черновик нового ouvrage d’esprit[20] — вот хоть «Реалистов», где так много рассуждений о любви? Как хорошо, что Вера наконец приезжает, думала Варвара Дмитриевна. Эта грустная шутка грозила зайти слишком далеко. А теперь Митя поймет, что писать некому, что адресат его недостижим. Не заставлять же Ивана Ивановича пересылать тайком записочки соседской барышне. Смешно и представить, чтобы он стал leur intermediaire pour cette correspondance[21]…

Так они с Верочкой Мите и сказали, придя к нему второго

октября, в его рожденье, с огромным букетом георгин. А он и не огорчился, и даже не очень допытывался, как приняты его письма, словно бы уже успел забыть о них. Зато без конца расспрашивал Веру, насколько и чем именно понравились ей «Реалисты». А Вера с корректурой этой статьи с самого дня приезда не расставалась, всякий разговор сводила на нее, и Варваре Дмитриевне строгим голосом объявила: «Наш Митя — гений!» — как будто без нее не знали.

Незабываемый получился день рождения. Брат и сестра толковали о реализме. По стеклам комнаты бил дождь. Часовой у двери надрывно кашлял. Митя объяснял Вере ход своих мыслей, и внимательно, не пряча интереса, но вряд ли только по обязанности, прислушивался к их беседе незнакомый молодой дежурный офицер. А Варвара Дмитриевна почти не слушала, только смотрела на детей. Их лица, излучая как бы сияние, освещали комнату, стремительно затопляемую сумерками, и нелегко было решить, мерещится ей этот ровный, теплый свет или он виден всем.

— …рассуждать отчетливо, — с улыбкой говорил сын, а дочь одобрительно кивала, потряхивая подстриженными коротко, как у заправской нигилистки, волосами.

«Ну и что же, — думала Варвара Дмитриевна, — cette coiffure vient bieri à l'air du visage[22], и многие в Петербурге так ходят. А вот что Катенька самовольно отхватила себе косу — это дурно. Двенадцати еще нет, а тоже: „я в бога не верую, ничего не признаю“. Митя был не такой, в ее годы он был тише воды, что значит воспитание, а Катя слишком подолгу одна. В Грунец надо ехать. Скорей бы, только бы скорее постановили они свой приговор!..»

…Будемте рассуждать отчетливо.

Всякий человек, однажды начавший мыслить, рано или поздно приходит (как правило, рано! — или же не приходит никогда и мыслить перестает) — приходит, говорю я, к пониманию основного, главного факта, который превращает существование человечества в мучительную драму и каждому из нас дает в этой драме роль.

Факт этот вот какой: плоды любой цивилизации растут и зреют для немногих. Немногие наслаждаются, немногие размышляют, немногие задают себе и разрешают общественные вопросы, немногие открывают мировые законы, немногие узнают о существовании этих законов и опять-таки немногие в пользу немногих прилагают к промышленному производству открытия и изобретения, сделанные также немногими, воображавшими себе в простоте души, что они работают для всех. А в это время, в

славное время процветания наук и искусств, массы страдают, массы надрывают свои силы, массы своим нелепым трудом истощают землю, массы медленно роют в поле могилы для себя и своего потомства…

Это разделение является, так сказать, пружиной сюжета той всемирно-исторической драмы, которая ежеминутно, на каждом шагу, с учреждения первых человеческих обществ, разыгрывается перед глазами каждого мыслящего наблюдателя, где бы ни довелось ему жить — в Древнем Египте или в современной Англии. О России умолчим, соблюдая известное правило вежливости, по которому о присутствующих не говорят. Но мыслящий наблюдатель не может не обращать внимания на тот громадный мир неподдельного человеческого страдания, который со всех сторон окружает нас сплошною темною стеною.

Вы скажете, пожалуй: может, и еще как. О да! Можно, конечно, приглядеться к этим будничным картинам, можно притупить в себе ум и чувство, можно довести себя совершенно незаметным образом до самого невозмутимого равнодушия к чужому голоду и холоду. Это так, и мы на каждом шагу встречаемся в жизни с великолепнейшими образчиками подобной философской невозмутимости. Наши деды и отцы, все эти Онегины и Печорины, не говоря уже о разных Грушницких и Сидорах Карпычах, ухитрились издержать свою жизнь в поисках приключений, так и не догадавшись до самого конца, насколько она страшна и серьезна. Умнейшим из них она представлялась только скучною!

Но мы ведь говорим о людях мыслящих, о людях, научившихся реально смотреть на вещи. В сущности, неверно называть их наблюдателями: кто-кто, а они-то понимают, что у современности зрителей нет, все мы — действующие лица и участвуем в сюжете, и знаем — на чьей стороне. И Грушницкий знает, и Сидор Карпыч, проводящий свою жизнь между столом и постелью; просто ни тот ни другой ни минуты об этом не думали и нимало не смущены своей незавидной ролью.

Между тем любой, кто не противодействует злу всеми силами, — поддерживает его.

И от этого сам страдает, сам несчастлив, хотя и не подозревает, что ему скверно.

Возьмите кого угодно — от Муравьева, Каткова и коменданта здешней крепости до последнего канцелярского служителя, или, лучше, до заштатного помещика, самым веселым образом проедающего свои выкупные свидетельства, — разве кто-нибудь счастлив? Невозможно поверить: с чего бы тогда Муравьеву палачествовать, Каткову кликушествовать, коменданту

ябедничать, канцеляристу пьянствовать, помещику скучать посреди самых забавных похождений?

А вот Базаровы, а вот Лопуховы — те не скучают никогда. И они гораздо ближе к счастью, чем любой, самый жирный ходячий пуховик.

Потому что Муравьевы, Катковы, коменданты и ходячие пуховики — вообще все, кто не стал сознательно на сторону угнетенного и страдающего большинства и не действует в его пользу, — нарушают один из основных законов человеческой природы, а идти против природы нельзя безнаказанно.

Человеку для его собственного благосостояния необходимо общество других людей; чем успешнее развивается общество, тем приятнее живется каждому из его членов, то есть каждому отдельному человеческому организму. Таким образом и выходит, что участь одного зависит от участи всех. Громадное большинство бедствует, — значит, и жизнь меньшинства печальна, и не только потому, что висит на волоске. Никто не может быть спокоен и весел, живя за чужой счет, заедая чужой век. Забыться, конечно, можно, однако что это за жизнь — в постоянном забытьи?

О мыслящем же человеке, о реалисте нечего и говорить; с той минуты, как он понял, что вся история и вся современная жизнь основаны на страданиях большинства, разве он в силах не думать о них? Очевидно, что для него единственный способ быть счастливым — в том, чтобы трудиться самому (и других побуждать трудиться) ради облегчения судьбы этого большинства. Так что вполне расчетливый эгоизм совершенно совпадает с самым сознательным человеколюбием. Это уже Чернышевский показал. «Мне хорошо; хочу, чтоб и другому было хорошо», — это размышление так просто, так естественно, так неистребимо в каждом здоровом человеческом организме! А между тем все величайшие подвиги чистейшего человеческого героизма совершались и будут совершаться всегда именно на основании этого простого размышления.

Быть реалистом — это просто-напросто значит не упускать из виду свою выгоду и свое счастье. А выгода, и прямая выгода, для каждой отдельной личности — в том, чтобы постоянно своим трудом увеличивать сумму общечеловеческого благосостояния. Это всего лишь разумно, это простой, холодный расчет. Но сознавая важное и высокое значение своего личного труда, человек все сильнее привязывается к своей деятельности, все смелее развертывает свои способности и становится более счастливым, то есть более независимым от тех тяжелых ощущений, которые порождаются мелкими неудачами. Я не ошибаюсь в верном направлении моей жизни, думает такая

личность; я повинуюсь основному закону природы. Если мне приходится пережить кое-какие неприятности, то я все-таки знаю, что из многих зол выбираю меньшее. Если я пойду вразрез с естественным законом, если я уклонюсь от него в сторону, то, в общем результате, жизнь моя пойдет еще хуже. Жизнь в брюхо, грязные друзья и сослуживцы, равнодушие ко всяким высшим интересам, извращение умственных способностей, тупая и боязливая ненависть ко всему, что может нарушить спокойствие мутного болота, словом все признаки безнадежного падения — результат непривлекательный!

Реалист всего-навсего выбирает благую часть. Он знает, что бессмысленная жизнь немногим лучше страдания. Он знает также, что только работа, имеющая конечной целью накормить всех голодных и одеть всех, кто ходит в лохмотьях, только она придает жизни смысл. Стало быть, у него и выбора нет, нет другого выхода — он должен, чтобы не погибнуть нравственно, немедля приступить к такому труду, который скорее всего даст искомые результаты.

Но к какому же именно труду он должен приступить немедля?

Вот что спрашивается в задаче, и спрашивается настоятельно.

Первый ответ: к любому, лишь бы он был полезен, лишь бы это был не мартышкин труд. Откупщик, офицер, цензор (в особенности цензор!), шахматист, биллиардный маркер, департаментский чиновник и те отъявленные тунеядцы, что считают себя русскими лириками, — конечно же, никто из них ни прямо, ни косвенно не способствует улучшению условий жизни большинства, и даже если бы они все трудились от зари и до зари, все равно это не принесло бы обществу ни малейшей пользы. Но кто умеет себя прокормить, делая что-нибудь действительно нужное, тот облегчает участь человечества хотя бы уже тем, что не сидит у него на шее.

Согласитесь, однако, что настоящего реалиста такой ответ удовлетворить не может. Реалист не станет, например, заниматься трудом физическим: ведь разделить судьбу большинства далеко еще не значит переменить ее.

Никто не спорит, — труд людей, которые кормят и одевают нас, в высшей степени полезен, но им-то какой прок, если вы сделаетесь одним из них? При теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире, эти люди не что иное, как машины, отличающиеся от деревянных и железных машин невыгодными способностями чувствовать утомление, голод и боль. В настоящее время эти люди совершенно справедливо

ненавидят свой труд и совсем не занимаются размышлениями. Они составляют пассивный материал, над которым друзьям человечества приходится много работать, но который сам помогает им очень мало. Это — туманное пятно, из которого выработаются новые миры, но о котором до сих пор решительно нечего говорить… Хотели бы вы стать живой машиной и прозябать в тех подвалах общественного здания, куда не проникает ни один луч общечеловеческой мысли? Хотели бы? Ступайте тогда в подвал. Одной машиной будет больше, одним реалистом меньше, дело созидания новых миров из первобытного тумана, наполняющего грязные подвалы, еще несколько отсрочится, — вот и весь результат. Иного не ждите: нельзя оставаться реалистом, отдавая свои силы труду ненавистному, — а заниматься с любовью материальным трудом в настоящее время почти немыслимо, и в России, при наших допотопных приемах и орудиях работы, еще более немыслимо, чем во всяком другом цивилизованном обществе.

Вот мы и приближаемся к решению нашей задачи — методом остатков, по Миллю. Вот, стало быть, какой труд нам необходим: непременно умственный, непременно приятный (работая без наслаждения, мы не доставим обществу пользы, соответствующей размерам наших способностей), и он должен быть непременно направлен к известной нам разумной цели.

Однако и этого мало: труд непременно также должен быть успешным, то есть мы обязаны не только преследовать нашу цель, но и достигать ее. Только успешный труд действительно полезен. Реалист не может успокоить себя тою отговоркою, что я, мол, исполнил свой долг, старался, говорил, убеждал, а если не послушали, так, стало быть, и нечего делать. Такие отговорки хороши для эстетика, для дилетанта умственной работы, для человека, которому надо во что бы то ни стало получить от самого себя квитанцию в исправном платеже какого-то невещественного долга. А в глазах реалиста такая квитанция не имеет никакого смысла; для него труд есть необходимое орудие самосохранения, необходимое лекарство против заразительной пошлости; он ищет себе полезного труда с тем неутомимым упорством, с каким голодное животное ищет себе добычи; он ищет и находит, потому что нет таких условий жизни, при которых полезный умственный труд был бы решительно невозможным.

…Итак, внимание! Требуется назвать такое умственное занятие, которое при данных условиях, а именно в России, в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году, дает человеку наисильнейшую радость, а обществу — наибольшую пользу.

Назвать? Извольте. И если вы опасались — или надеялись, — что вам предложат повторить двенадцать подвигов Геракла, то искомое решение вас, пожалуй, удивит.

Труд современных реалистов так же доступен самой слабой женщине, как и самому сильному мужчине. В этом труде нет ничего грубого, резкого и воинственного. Надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильные понятия об этой пользе, надо уничтожать смешные и вредные заблуждения и вообще надо вести всю свою жизнь так, чтобы личное благосостояние не было устроено в ущерб естественным интересам большинства. Надо смотреть на жизнь серьезно; надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбою каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом: *надо думать.*

— Как? Только-то и всего? — восклицаете вы разочарованно. — Только. — И это после всех разглагольствований о полезном труде? — Точно так. — Но кому же и какая польза произойдет от того, что никому не ведомые и нигде не виданные люди, именуемые, бог знает почему, реалистами, вдруг примутся с утра до вечера предаваться размышлениям? Раз уж эти субъекты получили образование, — между прочим, стоившее немалых денег (а деньги, как известно, — это видоизмененные пшеница, рожь, овес, лен, пенька, или, еще проще, рабочие дни, конные и пешие, мужские и женские), то не лучше ли им, для скорейшей уплаты своего долга обществу, пойти по медицинской, например, части, либо преподавать в народных школах? Конечно, судьбу угнетенного большинства, о коей столько говорено, не переделаешь и даже не очень-то заметно скрасишь, ограничившись исполнением обязанностей добросовестного специалиста. Но все же это лучше, чем сидеть сложа руки и только думать о ней. Мы не можем этого себе позволить. Россия слишком бедна.

Так вы отчитываете меня, с негодованием благородным, но преждевременным, а я почтительно кланяюсь и отвечаю: совершенно верно! Россия действительно очень бедная страна. У нас, сравнительно с общим числом жителей, мало хлеба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, белья, человеческих жилищ, удобной мебели, хороших земледельческих и ремесленных орудий… Все это так. Но знаете ли, отчего мы бедны? Не может быть, чтобы вы не догадывались, хотя многие и не хотят признаваться в этом даже самим себе. Мы бедны прежде

всего потому (ох, изгадят в цензуре эту страницу!), что — скажем так — значительная часть продуктов труда переходит из рук рабочего населения в руки непроизводящих потребителей. А те, потребители-то, и рады, и поглощают чужой труд без зазрения совести, не задумываясь о том, что, пока рабочее население задавлено нуждой, рассчитывать на улучшение нашего земледельческого, фабричного и ремесленного производства не приходится.

А отчего, позвольте спросить, они об этом не задумываются? Отчего так охотно берут, ничего или почти ничего не давая взамен? Разве не знает каждый ученик уездного училища, что все богатство общества заключается в труде? что если часть средств отделяется на создание умственного капитала, то капитал этот должен приносить обществу хорошие проценты, иначе общество будет постоянно терпеть убытки, приближаясь к окончательному разорению? что такое разорение называется падением цивилизации? что, наконец, такие примеры уже бывали в истории?

Все это нашим начитанным потребителям, разумеется, известно. И если все-таки слишком многие из них продолжают преспокойно извлекать причитающуюся им выгоду из существующего порядка вещей, то это означает только, что эту выгоду — кратковременную, сиюминутную, личную, в сущности мнимую — они предпочитают всему остальному, полагая, будто судьба целого общества их не касается. А то, что подобное убеждение распространено повсеместно, в свою очередь означает, что мы просто-напросто глупы, что огромное большинство наших мозгов работает кое-как и вырабатывает в двадцать раз меньше дельных мыслей, чем могло бы выработать при нормальной и нисколько не изнурительной деятельности.

Оно и понятно: когда человек спит, он не может работать умом; когда Иван Сидорович ремизит Степана Парамоновича за зеленым сукном, он не может работать умом. В обществе, устроенном, как наше, где одним удается целую жизнь спать или играть в карты, и притом не умереть неизбежно с голоду, а другим, наоборот, под страхом голодной смерти приходится до отупляющего изнеможения работать руками, — в таком обществе нет запроса на умственный труд, нет и побудительной причины учиться мыслить.

Личности, обладающие здоровым и нормальным мозгом, но живущие и умирающие без пособия этого органа, встречаются у нас на каждом шагу и доказывают своим существованием ту несомненную истину, что время полного господства головного мозга над явлениями человеческой жизни наступит еще очень не

скоро…

Что же получается? Даны два громадных факта, из которых вытекают все наши отдельные неприятности и огорчения. Во-первых, мы бедны, а во-вторых, глупы. Факты эти связаны и составляют как бы заколдованный круг. Бедны мы именно потому, что глупы, а глупы — потому что бедны.

Где же выход? Вы говорите: нужны учителя, врачи. Но какие же врачи исцелят страну от этого двойного недуга? Нет. Вы ошибаетесь. Нужны — *реалисты*.

Нужны люди, умственный труд которых весь подчинен одной великой и немечтательной цели: уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений. Стоило бы выразиться точнее, но журнальное дело в России связано с некоторыми неудобствами, и потому довольно с нас и того разъяснения, что все великие цели могут заключаться только в том, чтобы улучшить, так или иначе, положение той или иной группы человеческих существ. А о какой именно группе идет речь, — этого читатель, вероятно, еще не позабыл. Впрочем, если угодно, отважимся на еще одно определение: всеми действиями, всеми занятиями, всею жизнью реалистов руководит идея общей пользы, или — что то же самое — общечеловеческой солидарности. Реалист и в самом деле может быть врачом, учителем, даже капиталистом (разве капиталист не человек? разве он лишен головного мозга?), естествоиспытателем, журналистом, — кем хотите, лишь бы его работа направлялась на осуществление этой высшей цели, проникнута была этой руководящей идеей.

Только при этом условии реалист может воздействовать на общество, в котором живет. Что же он может, спросите вы, сделать для общества, помимо своей специальности? А вот что: воспитывать единомышленников. Грубо говоря — вербовать окружающих в реалисты. Пусть каждый человек, способный мыслить и желающий служить обществу, действует собственным примером и своим непосредственным влиянием в том самом кружке, в котором он живет постоянно. Учитесь сами и вовлекайте в сферу ваших умственных занятий братьев, сестер, родственников, товарищей, всех тех людей, которых вы знаете лично и которые питают к вашей особе доверие, сочувствие и уважение. Такая деятельность внутри собственного кружка многим покажется чрезвычайно скромною и даже мизерною, — этим-то она и хороша; меньше вызовет шуму, зубовного скрежета, филистерских стенаний… а под конец и окажется, что младшие братья и дети самых заклятых ретроградов сделались реалистами!

А когда реалистов станет много… О, тогда жизнь пойдет уже другая. Общественное мнение, если оно действительно сильно и разумно, просачивается даже в те закрытые лаборатории, в которых приготовляются исторические события. Искусные химики, работающие в этих лабораториях, живут все-таки в обществе и незаметно для самих себя пропитываются теми идеями, которые носятся в воздухе. Иногда общественное мнение действует на историю открыто, механическим путем (можно ли сказать яснее?). Но, кроме того, оно действует еще химическим образом, давая незаметно то или другое направление мыслям самих руководителей. Ну а внутренняя сторона истории, то есть экономическая деятельность, почти вся целиком находится в руках общества. Разбудить общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда (из тех же капиталистов!) — значит открыть трудящемуся большинству дорогу к широкому и плодотворному умственному развитию!

Уф! Как видите, задача поддается решению. Есть такие люди, такие книги, которые выучивают нас думать. Надо, чтоб таких людей и книг у нас было как можно больше. В этом альфа и омега общественного прогресса.

Осталось только выяснить, какие препятствия более всего мешают воспитанию реализма. Главных препятствий оказывается два: невежество и эстетика. Как бороться с невежеством, мы уже говорили. Популяризирование науки составляет, без малейшего преувеличения, самую важную, всемирную задачу нашего века. Хороший популяризатор, особенно у нас, в России, может принести обществу гораздо больше пользы, чем даровитый исследователь.

Что же касается до эстетики…

Видите ли, я был не прав, утверждая в «Очерках из истории труда», будто наука и искусство — занятия безвредные. Необходимо было сказать так: настоящая наука, настоящее искусство — полезны, а поддельные — безусловно вредны. В основание реалистического взгляда на эти вещи следует положить, думаю я теперь, мысль благородного мечтателя Пьера Леру. «С высшей точки зрения, — говорит он, — поэтами можно назвать тех людей, которые, из эпохи в эпоху, раскрывают перед нами страдания человечества, а мыслителями — тех людей, которые отыскивают средства облегчить и исцелить эти болезни».

Коротко и ясно, не правда ли? Поэт — или титан, потрясающий горы мирового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли. В первом случае он — Шекспир, Дант, Байрон, Гете, Гейне. Во втором случае он — г-н Фет.

(Или другой русский лирик, все равно. У нас в России

замечательных поэтов нет, никогда не было, никогда не могло быть и, по всей вероятности, долго еще не будет. У нас были или зародыши поэтов, или пародии на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоедова; а к числу пародий я отношу Пушкина и Жуковского. Первые все-таки заслуживают нашего уважения, заслуживают именно тем, что не смогли развернуться: не ладили, значит, с действительностью, она им не нравилась, они — ей; какая была действительность — известно; стало быть, можно предположить, что они хотели и при благоприятных обстоятельствах сумели бы создать что-нибудь порядочное. Но о людях второй категории этого не скажешь. В произведениях этих людей нет никаких признаков болезненности или изуродованности. Им было весело, легко и хорошо жить на свете, и это обстоятельство, конечно, останется вечным пятном на их прославленных именах. Впрочем, нет, — не *вечным*, хотя Пушкина мы все еще не решаемся забыть, — вернее, боимся признаться самим себе, что мы его почти совсем забыли. О литературной деятельности великого Пушкина мы еще поговорим как-нибудь впоследствии…)

На одного титана приходятся в литературе тьмы тем Лягушкиных и Козявкиных. Эти микроскопические существа не заслуживали бы даже упоминания, но как же быть, если на чтение производимой ими галиматьи отвлекаются силы честной молодежи?

А реализм — это строгая экономия умственных сил, это постоянное отрицание всех занятий, не приносящих пользы. У нас до сих пор всего какой-нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему известному молодечеству, и этот несчастный двугривенный ставим ребром и расходуем безобразно. Нам строгая экономия еще необходимее, чем другим, действительно образованным народам, потому что мы, в сравнении с ними, нищие. Но чтобы соблюдать такую экономию, надо прежде всего уяснить себе до последней степени ясности, что полезно обществу и что бесполезно. Одно дело — читать Гейне, и совсем другое — г-на Полонского. Роман Диккенса, Теккерея — или хоть Тургенева — может многому научить, в то время как исторический роман — одно из самых бесполезных проявлений поэтического творчества, и Вальтер Скотт вместе с Купером — усыпители человечества.

Сон, рутина, привычка, безотчетность, эстетика — все это понятия равносильные. Чтение наших соотечественников не имеет цели; русский человек ничего не ищет в книге, ни о чем не спрашивает, ни к чему не желает прийти. Он уверяет себя, что читает серьезную книгу *для пользы*, — но ведь это только так

говорится. Слово польза не вызывает в его уме никакого определенного представления, и в общем результате всякое чтение все-таки приводит за собою только истребление времени; а запоминается из прочитанной книги и нравится в ней исключительно то, что повеселило душу.

Значит, надо сделать так, чтобы русский человек, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно слышал в ушах своих звуки резкого смеха, сделать так, чтобы русский человек сам принужден был смеяться над своими возвеличенными пигмеями, — это одна из самых важных задач современного реализма. — Вам нравится Пушкин? — Извольте, полюбуйтесь на вашего Пушкина. — Вы восхищаетесь «Демоном» Лермонтова? — Посмотрите, что это за бессмыслица. — Вы благоговеете перед Гегелем? — Попробуйте сначала понять его изречения. — Вам хочется уснуть под сенью «общих авторитетов поэзии и философии»? — Докажите сначала, что эти авторитеты существуют и на что-нибудь годятся.

Вот как надо поступать с человеком, который подает надежду сделаться реалистом, на которого еще рано окончательно махнуть рукой. С ним надо обращаться в точности по совету Базарова — помните: «Он читает Пушкина. Растолкуй ему, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. Дай ему что-нибудь дельное, хоть Бюхнерово „Stoff und Kraft“ на первый случай…»

Совет хорош, скажете вы, да будет ли успех? В книге Тургенева эти базаровские слова вместо большой пользы принесли крошечный вред, то есть на несколько дней произвели легкое неудовольствие между отцом и сыном; вскоре оно исчезло, и все пошло по-старому. Не то же ли выйдет и в жизни?

Вот чем и замечателен роман «Отцы и дети». Вот почему даже и теперь, даже после «Что делать?», Евгений Базаров остается моим любимцем. Герои Чернышевского (хотя навряд ли вы пропустите это имя, г-н цензор!), Лопухов и даже Рахметов, говорю я, поступают, может быть, рассудительнее, высказываются подробнее, и вообще в их реализме сильнее выступает положительная сторона. Зато они и живут благополучнее, поскольку автор перезнакомил их между собою, окружил верными друзьями и любящими женщинами, дал им возможность быть понимаемыми с полуслова, дал твердую надежду на сочувствие и помощь, благодаря которым и преодолеваются в романе различные препятствия (между нами говоря — слишком легко). Это правильно, это так и нужно, чтобы читатель мог наглядно представить, как привлекательна жизнь, основанная на разумных отношениях между людьми. Но в действительности-то

она пока что устроена совсем по-другому. В действительности-то пока что, сегодня, сейчас по всей России, из конца в конец, в каждом доме идут сцены из «Отцов и детей». И в каждой такой сцене Базаров действует в одиночку.

Базаров — один против всех, потому что все против него: старые Печорины, подобные Павлу Петровичу, и молодые самодовольные пошляки, подобные Ситникову и Аркадию, и собственные родители, так и не сумевшие хоть под конец жизни повзрослеть, и любимая женщина, поступающая с ним по известному обыкновению всех женщин — они ведь дорожат преимущественно красотою, а искренне чувствующий человек пренебрегает красивыми словами, — ну, они и отвертываются от искренних людей и бросаются на шею фразерам или красивым куклам.

Тургенев, может быть, и не понял своего героя как следует, но его одиночество, но его отчаянное положение одинокого пловца, тонущего в море пошлости, глупости, ненависти, лжи, — понял очень хорошо. И судьба его книги это доказывает. Подумайте: если наша публика ни с того ни с сего совершенно несправедливо оплевала тургеневского Базарова, то как же поступает она с живыми Базаровыми, которых понять гораздо труднее и которым, однако, больно и досадно, когда на них сыпятся незаслуженные оскорбления от отцов, матерей, сестер и особенно от любимых женщин? Даже глубокая и проницательная критика «Современника», сам непогрешимый г-н Антонович говорит: Базаров — карикатура, Базаров не существует, но если бы он существовал, то, конечно, его надо было бы признать уродом и злодеем! (Ах ты, Коробочка доброжелательная! Ах ты, лукошко российского глубокомыслия!) Чего же в таком случае ожидать Базарову от какой-нибудь madame Одинцовой? Если он обращается с нею, как с существом разумным, если он ее слишком уважает, чтобы увлекать, убеждать, умолять (ведь все это значило бы насиловать ее чувство! но было бы гораздо, — о, гораздо — лучше, если бы он уважал ее поменьше) — тогда плохо его дело. Ей-то подавай внешнюю миловидность речей и жестов; клятвы и сверканье глаз она бессознательно считает необходимыми атрибутами любовного пафоса; к тому же привыкла, чтобы решали за нее, чтобы ей «вскружили» голову, то есть лишили воли и сознания да и делали с нею, что хотят. А сама, по своей воле, в здравом уме, да против правил эстетики, она полюбить не способна. Один живи и умирай, Базаров! И еще спасибо скажи, что эта Анна Сергеевна — женщина добрая, приедет проститься перед смертью. В этом отношении она стоит выше многих очаровательных, умных и безукоризненных женщин.

Те так же терзают людей, мажут их по губам, разбивают их счастье, говорят им: «вы меня не поняли», — и, сверх всего этого, ненавидят их самою упорною и холодною ненавистью…

Но забудем о них. Свет клином на них не сошелся. Тем более что и порядочным людям тоже порой достается на долю верность и любовь. Автор романа «Что делать?» (я и не думал произносить его фамилию, г-н цензор!) проставил на первой странице: «Посвящается моему другу О. С. Ч.». И моя статья посвящается моему лучшему другу — моей матери. Это решено.

— …Какая же это статья, — говорила Вера. — Таких статей не бывает. Ты высказал всего себя, написал все, что думал, и о самом важном, без чего жизнь ничуть не интереснее цветочного флирта. Ты прав во всем, и только об одном я жалела, читая, — обещай, что не рассердишься, если глупость, — я не могла прогнать мысль, что реалисты склоняются во множественном числе просто ради литературного приема, что ты их — как бы сказать? — не то чтобы выдумал, и не то чтобы сочинил… словом, реалисты — это ты сам, ты один, это нечто вроде твоего псевдонима. Да, есть Базаров, есть Рахметов и другие, но это в романах. А в жизни… Погоди возражать, а то собьюсь. Ты тоже других не знаешь и оттого немножко неконсеквентен, или я не поняла. Помнишь, о полезном труде? Сам настаиваешь, что разновидностей полезного труда сколько угодно, только выбирай, — а на поверку как-то так выходит, что кроме статей для «Русского слова» реалистам делать нечего. Ты сам замечаешь, что все свелось на журналистику, и шутишь: гора родила мышь. Но это совсем не мышь, просто на свете пока существует лишь один реалист…

— Здравствуйте! А Чернышевский? А Благосветлов, Зайцев? А ты сама разве у нас не реалистка?

— Не дразнись. Конечно, я стану реалисткой, то есть постараюсь. Ты не дал договорить. Так вот, если хочешь знать, я считаю, что ты написал великое произведение. Да, да! Это разговор начистоту между Базаровым и Рахметовым. Это — maman, не слушай! — евангелие реализма, евангелие от Базарова. И если сегодня реалистов мало — все-таки очень мало, согласись! — то после твоей статьи — только бы она вышла, только бы этот скверный Турунов пропустил! — очень, очень многие захотят сделаться реалистами. Вот увидишь! И тогда все будет, как ты предсказываешь.

— Это точно, — сиплым фальцетом выговорил вдруг дежурный офицер, заливаясь румянцем под удивленными взглядами.

И после крохотной паузы все четверо рассмеялись. Только солдат у двери остался невозмутим. Задумался, наверное, и как будто не слышал ничего.

Сенаторы изготовили приговор еще второго июня, и тогда же он был направлен в министерство юстиции — на рассмотрение, то есть, в сущности, на проверку. Чиновники министерства сделали в тексте несколько исправлений, чтобы навести правоведческий лоск, и министр Замятнин вернул его сенатскому обер-прокурору для окончательного согласования. После того как поправки были с благодарностью приняты, переписанный еще раз начисто приговор пошел в департамент гражданских и духовных дел Государственного совета, где и дожидался своей очереди до начала октября, но зато был утвержден беспрекословно и единодушно. Мнение Государственного совета, едва лишь оно было подписано председательствующим — семидесятипятилетним князем Гагариным Павлом Павловичем, — тотчас отослали вместе с приговором в дворцовую канцелярию, и девятого октября дежурный фельдъегерь, надлежащим образом экипированный, выехал по Варшавской железной дороге за границу, имея при себе в саквояже, запертом на два ключа, среди прочих бумаг и эти обе. Через Вильну, Варшаву, Берлин, Мюльгаузен, Лион, Марсель он за четыре дня доставил их в Ниццу, где император пребывал с десятого числа на вилле, специально купленной для государыни, которой доктора предписали лечение в здешнем климате. Император был занят, озабочен, раздражен (французская пресса все попрекала его жестокостями в Польше, и пресловутое общественное мнение заявляло о себе с такой наглостью, что Наполеон III, в угоду писакам, предпочел обойтись без официальной встречи, нанес лишь частный визит, во время которого всячески юлил, пытаясь загладить оскорбление), император торопился уезжать (любимый дядя, король Вильгельм Прусский пригласил его на охоту и ожидал в Потсдаме), — но перед самым отъездом, шестнадцатого, успел просмотреть дело о составлении, печатании и распространении возмутительных противу правительства воззваний, и приговор был конфирмован — мнение Государственного совета украсилось резолюцией: «Быть по сему, но с тем, чтобы Баллоду срок каторжной работы ограничить 7-ю годами». Двадцатого октября приговор опять оказался в канцелярии Зимнего дворца, пропутешествовал в канцелярию Государственного совета, оттуда — в канцелярию министерства юстиции, а двадцать восьмого возвратился в Сенат.

Пятого ноября ровно в полдень в собрании Первого

Отделения 5-го сенатского департамента всем подсудимым была объявлена высочайшая воля.

Формула участи Писарева была такая:

> «Кандидата Спб. у. Дмитрия Писарева, ныне 23 лет, за составление противу правительства и государя императора сочинения, лишить некоторых особенных, по ст. 54, прав и преимуществ и заключить в крепость на два года и восемь месяцев, а по предмету покушения распространить это сочинение оставить в сильном подозрении; ходатайство же его о смягчении ему наказания оставить без уважения».

Восьмого ноября, при очередном свидании с сыном, Варвара Дмитриевна, совершенно разбитая тревогами последних дней, прямо-таки онемела от возмущения, увидев, что он, даже не скрываясь от офицера (дежурил, правда, Пинкорнелли), протягивает ей сложенный во много раз клочок исписанной бумаги.

— Опять? — с трудом сглотнув, сказала она. И добавила горько: — Вот уж действительно, нашел время…

— Это совсем не то, что ты думаешь, — с досадой возразил он. — Выслушала бы сперва… Иван Федорович, объясните хоть вы.

— Прежде всего, успокойтесь, Дмитрий Иванович, и вы, сударыня, — ровным, очень тихим голосом говорил Пинкорнелли. Он сидел, вплотную придвинувшись к торцу стола, разделявшего мать и сына, спиной к часовому, и глядел прямо перед собой. — Видите ли, голубушка, Дмитрию Ивановичу угрожает серьезная опасность.

— Уж куда серьезнее, — вспыхнула Варвара Дмитриевна. — Злые, бессердечные люди: почти весь срок наказания позади, сами же они не сочли возможным назначить больший, — и вдруг оказывается, что прежнее заключение не считается, что все — с начала. Это какая-то адская насмешка. Ему тут сидеть до лета шестьдесят седьмого, а мне надо уезжать, у меня дочь-подросток…

— Приговор очень мягкий, — все так же без выражения и не взглянув на нее, перебил Пинкорнелли. — Могло быть как с Чернышевским, дело совершенно такое же, а статью применили другую, да еще по указу от семнадцатого прошлого апреля треть срока скостили. За это скажите спасибо светлейшему, без него собирали бы вы сейчас Дмитрия Ивановича в очень дальнюю дорогу. И был бы он ссыльно-каторжный, без прав состояния.

— Я знаю, — заикнулась было Варвара Дмитриевна. — А все

же…

— Потом, потом поговорим, — скривился старик. — Сейчас вот что важно. Комендант наш на извещении о приговоре положил резолюцию: испросить разрешения отправить в Шлиссельбургскую крепость.

— Господи!

— Подождите. Это было сегодня утром. Разрешение может дать только генерал-губернатор. Значит, нужно поговорить с ним прежде, чем он получит рапорт коменданта.

— Я еду сейчас.

— Задача непростая. Как правило, решенных арестантов всегда переводят в Шлиссельбург. У нас сидят только до приговора.

— А в Шлиссельбурге, Иван Федорович говорит, ни свиданий, ни переписки, ни книг!

В голосе сына Варвара Дмитриевна услышала отчаяние.

— Я еду, — повторила она. — Я на коленях буду умолять князя. Он не допустит. Или я умру там, в его приемной. Тебя не отправят в Шлиссельбург.

— Только не хватало — на коленях!

— Дмитрий Иванович написал к его светлости, — почти невнятно продолжал Пинкорнелли. Щеки его дрожали, но сидел он все так же прямо и на собеседников не смотрел. — Оно бы хорошо, напомнить о себе, и всякое такое. Не отнимайте, значит, возможность искупить мой проступок полезной литературной деятельностью. Это правильно. Но беда в том, что не примет князь письма. Не вправе поощрять противозаконные поступки.

— А написать официально — военачальник не передаст.

— Почти наверное не передаст, Дмитрий Иванович, но и ваш способ не годится. Не говоря уже о том, что в крепости начнется переборка: кто недосмотрел? кто посодействовал? — уж ладно, это куда бы ни шло, — а просто бессмысленно: не возьмет князь письма, и весь разговор насмарку. Еще и хуже может выйти: вот, скажет, как же его оставить в Петербурге, когда он злоупотребляет моей добротой.

— Не скажет. Надо попробовать. Без этого письма ты будешь обыкновенной просительницей, станешь унижаться…

— Какие пустяки!

— Есть одна дама, госпожа Этлингер. Не умею объяснить, кто такая, но князь наш с нею дружен, и министр внутренних дел с визитами приезжает; высшего общества дама. Занимается благотворительностью, посещает места заключения, помогает арестантам деньгами, хлопочет за них. Поляки в пересыльной тюрьме на нее чуть не молятся. В крепость генерал ее не

допускает, однако помните, Дмитрий Иванович, на Пасху лакомства какие-то к обеду давали? Она прислала. И по полбутылки мадеры каждому заключенному. Вот если бы к ней обратиться… Но опять-таки — о Шлиссельбурге нельзя ни слова, ни о чем таком вам знать не полагается.

— А я и Суворова ни о чем для себя не прошу. Он не может не понимать, кто я такой и как важна моя работа.

— Не может-то не может, а все лучше бы объяснить. Да по-хорошему, приличным тоном, блестящим слогом. Мне ли вас учить? Ваша матушка подождет у меня на квартире, а вы, не теряя времени, пока все тихо, пройдете сейчас к себе, да и за дело. Часа времени хватит? Хорошо бы хватило. Напишите-ка госпоже Этлингер. Звать ее Эдмона, а как по батюшке — не знаю.

«Мадам! Я Вас никогда не видел, а между тем Вы мне сделали много добра. Письмо, которое я осмеливаюсь Вам адресовать, не сомневаюсь, послужит неопровержимым доказательством глубочайшего уважения и горячей благодарности, какие я Вам приношу. Во-первых, я пишу Вам это письмо тайно, на страничке, вырванной из книги, обманув моих начальников. Этим клочком бумаги Вы можете меня погубить, а между тем я Вам доверяюсь без малейшего сомнения. Во-вторых, я пишу Вам это письмо, чтобы просить у Вас совета, в котором Вы мне не откажете и которому я точнейшим образом последую.

Цензура меня душит. Моя мать расскажет Вам подробности. Если бы я был свободен, я нашел бы способы поговорить с министром внутренних дел и сообщить ему обо всех тех беспорядках, какие позорят цензуру. Теперь у меня лишь одна опора: князь Суворов, который, как генерал-губернатор, является моим прямым начальством. Дайте мне добрый совет, мадам: как мне обратиться к князю. Должен ли я писать ему официально, через посредство коменданта, что мне совсем не нравится. Или, лучше, не сможете ли Вы передать князю письмо, которое моя мать Вам доставит? И наконец, если Вы думаете, что эта попытка с моей стороны будет бесплодной, — скажите мне это; я слепо доверюсь Вам, скрещу руки и перестрадаю все, как страдал до настоящего времени.

Но подумайте только, мадам, какой это позор; вся русская пресса, общественное мнение находится под сапогом такого низкого человека, как Катков. Он

клевещет на честных людей, а никто не открывает и рта. О мадам, если Вы можете что-либо сделать, чтобы способствовать благоденствию нашей несчастной литературы, Вы сделаете все, что в Ваших силах. Я Вас слишком уважаю, чтобы хоть на мгновение в этом усомниться.

Я ожидаю Ваших приказаний, мадам.

Имею честь оставаться Вашим очень скромным и очень покорным слугой».

«Князь! В течение всего моего заключения, которое продолжается более двух лет, от меня не было слышно ни одной жалобы, ни одного нарекания, ни одной просьбы. Но теперь, когда меня оскорбляют глубочайшим образом во всем, что мне всего дороже, я хочу говорить и обращаюсь к Вашей светлости, потому что я смотрю на Вас, как на моего благодетеля и как на ангела-хранителя всех тех, кто страдает невинно.

Цензура преследует меня с ожесточением, которое не имеет ни границ, ни примера во всей истории нашей литературы. Цензоры полагают, что можно позволять себе все по отношению к человеку беззащитному, запертому в крепости и лишенному возможности тягаться по своему делу. Я мог бы привести Вашей светлости некоторые примеры. Я приведу только один. Я написал статью, которую назвал „Реалисты“. Я посвятил ее своей матери и подписал своим именем. Название этой статьи изменили, посвящение уничтожили и мою подпись вычеркнули. Хотели даже запретить всю статью, и это, конечно, сделали бы, если бы моя бедная мать не ездила бы три раза сряду просить председателя цензурного комитета. Этот господин (его фамилия Торунов) сказал моей матери: „В сочинениях вашего сына мы всегда читаем между строками“. Когда я говорю *наука*, цензор читает *атеизм*; когда я нападаю на *предрассудки*, он думает, что я восстаю против *религии*; когда я издеваюсь над *сантиментальностъю*, они говорят, что я ниспровергаю *брак*. Хотят сделать из меня воплощенного дьявола единственно потому, что я не в состоянии защищаться против их клевет. Согласитесь, князь, что, читая „между строками“, можно вычитать все, что угодно. Действуя таким образом, можно найти предосудительные идеи даже в *Верую* и в *Отче наш*.

Я знаю, что совершил проступок весьма тяжелый. Я

знаю, что должен искупить этот проступок. Я подчиняюсь наказанию с безропотностью христианина. Но, князь, мой дорогой благодетель, когда человек согрешил, надо ли уничтожать для него все средства исправить свою ошибку? Я хочу исправить свои ошибки своей литературной работой и потому прошу только одного: оградите меня от грубого произвола цензоров, трусливых, тупых и невежественных. Хотите знать, князь, каково направление всей моей литературной деятельности? Я отвечу Вашей светлости так, как ответил бы духовнику. Любите истину, любите науку, учитесь, работайте на благо всех ваших сограждан, не предавайтесь пустым мечтам политических утопий, — вот что я повторяю в различных формах во всех моих сочинениях, и вот что цензура препятствует мне говорить и доказывать всей нашей молодежи.

Я знаю, князь, что цензура не подчинена Вам, но я подчинен Вашей светлости. Меня угнетают, и я обращаюсь к моему начальнику, я обращаюсь к *генерал-адъютанту* и прошу его о помощи и справедливости, как представителя нашего *Монарха*. Вы — очень добры, очень великодушны, очень могущественны, и Вашим покровительственным влиянием Вы можете поднять нашу несчастную литературу из того унижения, в которое она впала.

Что касается меня, то я столь уверен в правоте моих стремлений и настолько готов пожертвовать собою своей идее, что, ни минуты не колеблясь, я обратился бы прямо к самому *Государю*, если бы я имел малейшее средство довести до Его Величества мои жалобы и мои почтительные просьбы.

Теперь я это делаю при посредстве Вашей светлости. Если моя попытка дерзка, простите меня. Только моя пламенная любовь к родине заставляет меня действовать так, и я полагаю, что любовь к родине не может быть *слишком* пылкой.

С чувством глубочайшего почтения и неизменной живейшей благодарности к Вам, князь, покорнейший слуга Вашей светлости».

Варвара Дмитриевна à livre ouvert[23] перевела оба письма (Пинкорнелли, по его словам, в кадетском корпусе имел из французского хорошие баллы, но с тех пор прошло как-никак с лишком сорок лет, в продолжение которых этот диалект

пригождался ему не чаще, чем верховая лошадь), — и оба письма хитроумный штабс-капитан забраковал. Да она и сама видела, что воспользоваться ими не придется. Было бы чересчур странно являться к незнакомой даме с поручением от осужденного преступника: позаботиться о русской литературе. И для обращения к генерал-губернатору предлог, выбранный Митей, очевидно не годился, хотя некоторые выражения и общий тон могли — нет, должны были! — понравиться и растрогать. И Варвара Дмитриевна порешила — с одобрения и к немалому успокоению Пинкорнелли, — что отправится завтра утром на Большую Морскую без всякого письма: как бы ни был князь Суворов благороден, а чем жалостнее просить и чем смиреннее выглядеть, тем выше шансы на успех. Рыцари вообще-то любят поднимать поверженных, поучал Иван Федорович, иронически сощурив левый глаз и загадочно шевеля правой бровью, однако надежнее будет взывать к великодушию, а не к чувству справедливости, не говоря уже о здравом смысле, на который полагаться не совсем и благоразумно. Митя не хотел просить за себя, возразила Варвара Дмитриевна, вы же слышали, он только посчитал возможным вступиться за своих «Реалистов». Вот именно, вот именно, сострадательно улыбался Пинкорнелли, а вам следует просить только за него.

— Завтра тяжелый день, понедельник. И это к лучшему, потому что народу в приемной будет немного. Станьте позади всех, чтобы к вам князь подошел к последней. И умоляйте об аудиенции, ежели не хотите, чтобы наш генерал проведал обо всем и взял свои меры.

Но ничего этого не понадобилось. Увидев среди просителей, стоявших вдоль стен обширной приемной залы, даму в траурном платье, Суворов направился прямо к ней. В лицо признал не тотчас, но когда услышал фамилию, то сам, без просьбы, распорядился, чтобы адъютант проводил Варвару Дмитриевну в особую комнату, примыкавшую к приемной. Ожидать ей пришлось не более четверти часа, и говорить оказалось легко. Его светлость прекрасно помнил дело Писарева; приговор, по его мнению (которое Варвара Дмитриевна с жаром поддержала), обличал в государе незлобивость поистине ангельскую; большего ожидать было невозможно; теперь дело за осужденным: примерным поведением и благонамеренными статьями он обязан доказать, что заслужил таковую снисходительность; все условия для этого налицо; ни о каком переводе в другую крепость не может быть и речи; пусть госпожа Писарева не тревожится и, если обстоятельства призывают ее в имение, не боится уезжать. Александр Аркадьевич проследит за тем, чтобы о здоровье ее

сына имелось неослабное попечение и чтобы литературным его работам не чинили ни малейшего препятствия; последнее тем легче, что рукописи отныне будут — через управление коменданта и управление генерал-губернатора — поступать непосредственно к редактору, а тот уж пускай сам ведается с цензурой, которая одна (Варвара Дмитриевна часто закивала, мысленно благодаря дальновидного Пинкорнелли), одна вправе решать судьбу статей, — там литераторы служат, им и карты в руки.

— Словом, я вашего сына не оставлю, сударыня. И ручаюсь, что ежели он, в чем нет никакого сомнения, окажется достоин монаршей милости, то не позже как через полгода его освободят. Вы же знаете, в апреле или мае состоится свадьба цесаревича. Только и надо дотерпеть до весны, а там выйдет манифест, праздничный манифест об амнистии! Не сомневайтесь, так и будет, верьте слову князя Суворова!

Варвара Дмитриевна горячо благодарила и ушла хотя в слезах, но утешенная.

Суворов, получив рапорт генерала Сорокина, целую неделю не отвечал на него, а потом продиктовал письмоводителю отношение, в котором говорилось:

> «При настоящих обстоятельствах, имея в виду неудобство препровождения политических арестантов для срочного заключения в Шлиссельбургскую крепость, я полагал бы оставить на время арестантов Писарева, Ольшевского и Ткачева в С.-Петербургской крепости».

Сорокин прочитал, пожал плечами, проскрежетал невнятное и махнул рукой, наказав, однако же, своему письмоводителю, чтобы он не забыл отметить в ведомости, что срочное заключение осужденного Писарева исчисляется со дня, когда эта вот бумага за подписью его светлости занесена в журнал входящих, — а именно с нынешнего дня, с восемнадцатого ноября.

Варвара Дмитриевна собралась в Грунец, а Вера — в Москву. Они пришли в крепость прощаться. Писарев был весел и уверял, что за работой не заметит, как пролетит время до весны, что в тюрьме только первая осень тяжка и первая весна, потом совершенно привыкаешь, тем более что задуман целый ряд статей, которые дай бог успеть приготовить до возвращения в Грунец, где он все будущее лето проведет купаясь и толстея.

— Пишите часто, обо всем, обо всем… И о Раисе. А главное — не унывайте. Все хорошо, и будет еще лучше. Кончилась неопределенность, кончилась в нашей жизни эта нестерпимо затянувшаяся глава! До весны — всего каких-нибудь сто дней.

Двадцать листов напишу — и свободен! Но забавно как получилось: одна свадьба привела меня сюда, другая — выводит.

Глава тринадцатая
АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866

В ночь на двенадцатое апреля, в час без десяти по местному времени (в исходе третьего — по петербургскому), в Ницце, на вилле Бермон, проговорив: «Стоп машина!», двадцатидвухлетний цесаревич, наследник престола Российской империи, великий князь Николай Александрович умер от болезни, которую лейб-медик Здекауер поименовал méningite cérébro-spinale, а век спустя назвали бы остеосаркомой. В предсмертном бреду цесаревич держал речь, обращаясь к каким-то депутатам, но не мог шевельнуть рукой: в одну вцепились отец и мать, в другую — принцесса-невеста и любимый брат Александр, отныне сам становившийся цесаревичем и наследником престола.

Тело доставили в Кронштадт морем, на фрегате «Александр Невский», в свинцовом гробу.

Двадцать пятого мая гроб перенесли с фрегата в крепостной Петропавловский собор. Двадцать восьмого — под перезвон со всех колоколен столицы — опустили в склеп.

Все эти дни работать над «Разрушением эстетики» было почти невозможно. Пушки неистовствовали, барабаны рявкали так, что захватывало дух, днем и ночью витали над крепостью рыдания хора, и помимо всего этого и вместе с этим всем крепость наполнилась звуками шагов и голосов множества людей, сливавшимися в невнятный шаркающий гул, и казалось, что там, за окном, замазанным белой краской, идет непрестанный дождь. А дождя не было, погода стояла пасмурная, но тихая. На прогулку не выводили, к сожалению; на дворе наверное было теплее, чем в каземате, где после недавней (девятнадцатого и двадцатого) бури с наводнением штукатурка на стенах и войлок на полу, не говоря уж о тюфяке на кровати, расползались от сырости.

А весна выпала славная: столько работы, столько надежд… Помимо написанных еще в декабре двух статей, с начала года отослано в редакцию еще семь, а всего более двадцати печатных листов, как и предполагалось.

И еще одна была радость: письма от Раизы. Формально она адресовалась к Варваре Дмитриевне, однако не скрывала, что хотела бы говорить с ним. И намекала, и прямо просила: передайте ему, скажите ему… Видно было, что внимательно читает «Русское слово» и поняла наконец, кем пренебрегала, кому предпочла отставного прапорщика. Но — характер известно какой: ни за что не признается, да и совестно. Поэтому дразнит,

дерзит и без конца, к месту и не к месту, словно специально для того, чтобы свести с ума, отпускает рискованные, чуть не циничные шуточки, долженствующие обозначать, что она — дама, une femme mariée, и, как любит выражаться Щедрин, знает, в чем штука. И остроты эти звучат так странно, как если бы она говорила басом или у нее выросли вдруг усы… Хоть над матерью бы сжалилась, та переписывает покорно слово в слово, а сама терзается и ворчит, что такие игры с заключенным человеком безжалостны и до добра не доведут. Зря терзается, опасности никакой, а хоть бы и была: лишь бы Раиза не замолкала, — прежний голос к ней вернется. Остротами нас не проймешь, а вот без нее — тоска и помешательство.

Но теперь она сама то и дело повторяет, что отношения возможны, что они существуют, что она ими дорожит! Вот хоть последнее письмо:

> «…Maman, да скажите же ради бога, когда ж это Митя-то поумнеет? Надо иметь его объемистую голову, чтобы вмещать в нее рядом с его обширным и всесторонним умом такое юродство, такое нелепое ребячество, какие высказываются во всех его отношениях ко мне. Те *несбыточные надежды и идеи*, о которых Вы пишете, вызвали во мне сначала раздражение и досаду, а потом смех. Так и хочется сказать: mais, mon pauvre garçon, rappellez votre esprit égare, et parlons raison[24].
>
> И как он не понимает, что нельзя же безнаказанно ставить женщину в такое неловкое и комическое положение, что после каждого слова надо в скобках вставлять: а все-таки я люблю Евгешу, а не тебя, и если бы даже разлюбила Евгешу, то все же тебя не полюблю. Ведь если в ругательстве над Катковым и в похвале Брему он мог усмотреть надежды для себя, то глумление над Станицким может показаться ему признанием в любви; а неодобрение музыки, чего доброго, равносильно приглашению в спальню. Хорошо, что с этой последней стороны я гарантирована тем, что люблю музыку и ратовать против нее не стану. Ведь это сумасбродство. Ведь этой манией он напрашивается в субъекты юмористических романов Теккерея и Диккенса. Что против него Сэдрифт, ежегодно повторяющий свое предложение, — мальчишка и щенок.
>
> …И наконец, как-таки он не разочтет, что своим нелепством вынудит прекращение всяких возможных отношений. Пока он в области отвлеченностей, или, по

крайней мере, говорит о посторонних предметах, он для меня умный, развитой человек и приятный собеседник. Как только речь коснулась меня, — маниак. Сейчас понесет чепуху непроходимую. Возможны ли тут какие-нибудь разумные отношения. Ну как я скажу, например, что с особенным удовольствием читала последнюю часть „Нерешенного вопроса“, что она за живо затрагивает. Батюшки светы! Что же бы то было! J'aurais été considérée plus amoureuse que l'amour et plus passionée que la passion[25]. Да мало того, а что же, если бы пришлось признаваться, что рассказ „Записки гувернантки“, о котором я Вам говорила, так сходится во многом с этою последнею частью, точно я спетую песню на ноты положила, или наоборот. Ну что же бы тогда-то он сказал?! N'irait-il pas s'imaginer que je l'ai violé, dominée par ma passion?[26] — Нет, право, надо же когда-нибудь образумиться! Ведь я не в первый раз надсаживаюсь, стараясь убедить его, что сходство убеждений еще ничего не значит. Несколько людей одинаковых убеждений будут все-таки разниться между собою, потому что всякий имеет свою индивидуальность. Да нет, скучно и толковать… Взять чулок вязать — будет полезнее.

Главное, что обесительно, что ведь Митю ничем не проймешь; он, пожалуй, вот и таким письмом может быть доволен: дескать, пусть себе пишет, а я буду читать; уж и то хорошо! Мама, вы этим письмом располагайте как хотите. Если сочтете нелишним дать прочесть его, то давайте; только, пожалуйста, не принимайте это за просьбу с моей стороны. Ну, покончу с этим предметом. Досада начинает разбирать. Да и устала ужасно…

Мама, да давайте ж как-нибудь Митю-то урезонивать; ну что это, право. Ведь он же дорожит дружескими нашими отношениями, так зачем же делать их невозможными…»

Ну-с, что вы на это скажете? Кто из нас в здравом уме, а кто перетолковывает каждую фразу, отыскивая в ней запретный смысл, и сам за собою это замечает, и злится за это на себя и на других? Кто, изо всех сил напуская на себя такой добродетельный, такой безучастный вид, словно речь идет о шалостях несовершеннолетнего племянника, — на самом деле судорожно ищет, бедная, предлога лишний раз вспомнить вслух про отношения и чувства?

Вот когда — впервые за пятнадцать лет — Писарев узнал до глубины, что такое свобода: словно в детстве, играя в битву краснокожих, он был нечаянно ранен индейской стрелой, и наконечник с обломавшимся древком застрял в груди, зарос, как бы забытый, лишь при неосторожных движениях причиняя боль, — а теперь вдруг нету раны и нет стрелы: как бы приснились. Блаженная, праздничная скука; ничего не болит; обида и любовь значительно уменьшились в размерах. Пришел его черед сказать отповедь. И он написал:

> «Mia cara. В твоем последнем письме ты очень остроумно сражаешься с ветряными мельницами. Никакого *хронического жениха* тебе не предстоит. Чтобы совершенно успокоить тебя, даю тебе конституционную хартию наших будущих отношений. Когда я буду вполне располагать своими поступками, тогда я предложу тебе письменно вопрос: желаешь ли ты меня видеть? — и если ты не ответишь мне просто и ясно: „желаю“ — то и не увидишь меня. Если нам придется увидеться, то, разумеется, о любви с моей стороны не будет ни слова до тех пор, пока ты сама того не пожелаешь, — а так как ты уверена в том, что не пожелаешь никогда, то никогда этого не будет».

— Так ей и надо!

> «На безбрачие я себя не обрекаю, но намерен жениться только тогда, когда совершенно ошалею от любви к какому-нибудь субъекту, но теперь мне этими пустяками заниматься некогда…»

— Вот вам и Лидочка, — с улыбкой пробормотала Варвара Дмитриевна, промокая переписанную строку крохотным яшмовым пресс-папье.

> «…во 1-ых потому, что я — казенная собственность, во 2-ых потому, что нам дают карательную цензуру, которая наполняет теперь все мои помыслы».

Это была чистая правда.

> «Вообще же думаю, что жизнь велика и что много чудных перлов скрыто в ее глубине. Пользоваться этими перлами я вовсе не прочь, но отыскивать их не намерен, потому что надо работать, а не шалопайствовать. Когда

же некий перл сам влезет мне в руки, я его не выпущу».

Это писано в конце марта, когда о болезни цесаревича еще никто не знал и до освобождения оставались вроде бы считанные недели.

> «Довольны ли вы этим, злобущая леди Макбет и свирепая разрушительница ветряных мельниц? Если довольны, то не смейте говорить, что я добиваюсь приятельских отношений с вами. Я друг вашего детства, и поэтому мне *добиваться каких-то приятельских отношений* совсем не к лицу. Это все равно, как если бы генерал-лейтенант стал добиваться полковничьих эполет. Кроме того, я ничего не намерен от тебя *добиваться*. Довольно я поползал перед тобою на коленях. Наконец-то мне это глупое занятие надоело, и с этой минуты я поднимаюсь на ноги и выпрямляюсь во весь рост. Любить я тебя буду, вероятно, всегда, но добиваться — баста. Что дашь — спасибо, а просить не желаю. До свидания».

Дрогнул все-таки голос под конец. Но какое это имело значение, если встреча, на которую и надежды-то не осталось, теперь была неизбежна и так близка — через неделю-другую, не дальше.

Кто же знал, что так выйдет: вместо иллюминации — траур, и об амнистии даже помышлять как бы неблагопристойно: уж не рассчитываете ли, дескать, горе августейшей семьи и целой России обратить в предлог для поправления ваших собственных ничтожных обстоятельств?

Положим, от христианского государя не вовсе нелепо было бы ожидать, что боль своего непоправимого несчастья раскроет ему глаза на чужое страдание и он устыдится зла, причиненного стольким людям по его воле.

Искандер в «Колоколе» так и написал:

> «Судьба, касаясь холодной рукой смерти до Вашей семьи, остановила Вас, воспользуйтесь этим. Вы собирались идти дальше тем страшным путем, которым Вы идете с половины 1862 года. Возвратитесь с похорон Вашего сына на прежнюю дорогу. Нигде не бывает раскаяния легче и очищения полнее, как у близкого нам гроба. Оно Вам необходимо для того, чтобы приготовиться к великому Земскому делу.
>
> …Но прежде всего остановите руку палача,

возвратите сосланных и прогоните внезаконных судей, которым поручалась царская месть и неправое гонение».

Генерал Муравьев недаром был возведен в графское достоинство: Польша и Литва угомонились. Сотни повстанцев погибли в боях, многие десятки — повешены и расстреляны, а восемнадцать тысяч пошли по этапу в Россию — на каторгу и в ссылку (дав повод самому блестящему из придворных шутников — поэту Тютчеву обмолвиться экспромтом, que c'est un poison que l'on avale pour s'en débarrasser[27].

И князь Александр Федорович Голицын — тот самый, помните, ревнитель откровенности на допросах — не зря пожалован был в прошлом году голубой андреевскою лентой. Следственная комиссия под его руководством завела пятьсот сорок четыре дела, и только сорока четырем подозреваемым удалось избежать наказания. Таким образом, Александр Федорович успел погубить, кроме Писарева, еще четыреста девяносто девять человек. Сделать больше ему было не суждено, его постигла кончина, и пятьсот сорок пятым арестантом, как и последующими, занялся его преемник, генерал-лейтенант Петр Петрович Ланской, но все равно — заседания продолжались, и одного за другим приводили из казематов в комендантский дом и отводили обратно небритых молодых людей с землистыми лицами и мрачными глазами.

> «Не для невинных жертв ваших, не для пострадавших мучеников нужно всепрощение, — взывал к императору Герцен. — Оно нужно для Вас. Вам нельзя человечески идти дальше без амнистии от них.
>
> Государь, заслужите ее!»

Но давно прошли времена, когда в Зимнем дворце регулярно получали и внимательно читали «Колокол». Миновала и та смутная пора, когда пасквиль какого-нибудь Шедо-Ферроти раскупался нарасхват только потому, что в нем, как бы то ни было, говорилось о Герцене, приводились цитаты из его произведений, и сам пасквилянт вынужден был, хоть и с тысячью оговорок, признавать за ним благородные намерения, ум и дарование. Теперь же, после бесчисленных статей Каткова, Павлова и других патриотов, после петербургских пожаров и польского восстания, благомыслящим людям при упоминании об этом беглеце, засевшем ныне в Женеве, оставалось только пожимать плечами и громогласно (а лучше всего — печатно) дивиться: «До чего может пасть человек, когда-то считавшийся умным и имевший дерзость уверять других в своей честности!».

Смешно было и подумать, что монарх преклонит свой слух к словам подобного человека.

Скорее уж наоборот: не подлежало сомнению, что мысль, которую осмелился внушать государю полупомешанный изменник, будет с негодованием отвергнута.

Так что — какая амнистия, какое всепрощение…

Хорошо еще, что указ Сенату: «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати» — пошел на подпись до того, как положение цесаревича было признано безнадежным, а не то «закон 6 апреля» назывался бы, чего доброго, «законом после дождичка в четверг».

Вот и утешайся новой великой реформой, какое-никакое, а тоже освобождение — не мысли, так слова; не слова, так слога. Работать станет легче, это главное; любовь отложим на потом, на когда-нибудь…

— Легче, как же, держи карман! — шепотом вскрикивал Благосветлов, злобно оглядываясь на часового, и двигал челюстями так, словно обкусывал каждую фразу с обеих сторон. — Свет не видал такого криводушного, такого скаредного, такого трусливого закона! Прежде всего, это враки, будто предварительная цензура отменена. Обыкновенная низкая ложь. Это большими буквами напечатано, а вся сила закона — нонпарелью изложена, нонпарелью, в примечаниях. А там говорится, что ежели я, например, изъявлю желание — а попробуй не изъяви! — издавать «Русское слово» по этим новым правилам, то первейшая моя обязанность: не позже чем за два дня до рассылки отпечатанного нумера представить в цензурный комитет узаконенное число экземпляров. Это параграф двадцать пятый. Но и это обман, потому как имеются, естественно, параграфы двенадцатый и тринадцатый, которые до меня, до издателя, как бы и не касаются, трактуя исключительно о содержателях типографий. Так вот им, содержателям и владельцам типографий, надлежит знать, что всякое сочинение без предварительной цензуры может быть выпущено в свет не прежде, как по истечении трехдневного — трехдневного! — срока с получения из цензурного комитета расписки в том, что обязательные экземпляры доставлены. Вот тебе и все освобождение. Раньше цензор стоял между автором и печатным станком, а теперь попятится, подвинется, притаится позади станка, между ним и читателем, — только и разницы! Первые сброшюрованные экземпляры я, стало быть, отсылаю на Фонтанку, угол Графского переулка, — и тут же на три дня останавливаю станок, ожидая решения своей судьбы. Своей,

прошу заметить, и не в отвлеченном каком-нибудь смысле, а совершенно попросту: ежели за эти три дня Главное управление по делам печати усмотрит, что от распространения книжки может произойти значительный вред, — издание будет немедленно арестовано, а издатель, или редактор, или автор, по выбору господ цензоров, немедленно же пойдет под суд. Какой именно вред признается значительным — об этом ни звука, но во всяком случае от любых неприятных сюрпризов правительство защищено. Способ старинный, нехитрый, зато безотказный, а от добра добра не ищут.

— Ну какие, ради всего святого, какие могут быть сюрпризы? Чего они страшатся, этого мне, видно, никогда не уразуметь. Неужели кто-нибудь там настолько глуп, что искренне верит, будто книжка журнала с твоей или моей статьей расшатает устои государства? Неправдоподобно что-то. Самой малой толики соображения довольно, чтобы понимать, что это бред.

— Это-то — конечно, это понимают. Знаменитый сатирик, что ныне председателем в Пензенской казенной палате, в свое время тоже их усовещивал. Поймите же вы, говорит, что русская литература не больше как Гулливер: пускай же и наслаждалась бы свободою находиться между большим и указательным перстами великана! А что усовещивать: великану это известно как нельзя лучше. Боятся, милый мой, не за государство, а за себя, и не нас боятся, а друг друга и начальства. Цензор докладывает комитету, комитет — Совету по делам печати, Совет — министру, а тот — сам знаешь кому. И если бы на этой лестнице кто-нибудь один со своей ступеньки отрапортовал безмятежно: у меня, мол, все благополучно, горизонт чист, устои не дрожат… Батюшки! Что бы это было! Некто ступенькой ниже чувствует себя дураком; некто на ступеньке параллельной оказывается лжецом; некто ступенькой выше остается без дела… Да это все равно что сказать: а не даром ли мы получаем весьма значительное (повысили им еще!) жалованье? Не пора ли нам, господа, начать подыскивать себе другую службу? Да такого отступника истолкут, живого изотрут в пыль, а у него жена, у него дети, может быть, золотухой страдают, а фрукты в Петербурге кусаются…

— Бесконечно трогательная картина. Слезы наворачиваются на глаза. Но к делу. Мне сюда газет не приносят. Что все-таки будет с несчастными малютками, ежели их папаши не убедят друг друга, что от наших статей империя рухнет? Насколько я понимаю, вздумай цензура арестовать журнал, ей пришлось бы доказывать этот же тезис в гласном суде. Сомневаюсь, чтобы такой путь считался желательным. Даже если приговор предрешен, все равно: гласное разбирательство, речи сторон —

так ведь предполагается? Все как у больших? Публика повалит валом. Я сам с удовольствием побывал бы на таком процессе — не в качестве обвиняемого, конечно, — а вот понравится ли все это нашим друзьям цензорам? Навряд ли. Помимо всего прочего, спорить они не умеют, не приучены…

— И не научатся никогда. Отстоять свою правоту в честном споре можно только если ты прав.

— Вот и я говорю: без очень серьезного повода затевать процесс не станут. Да кто же им даст очень серьезный-то? Дураков нет. Ежели действительно — даже не верится, ей-богу, — действительно никто не будет ничего вычеркивать, — то чего же мы не сумеем высказать самым невинным тоном, не нарушая самых строгих правил приличия? Под цензурой исхитрялись, так неужто теперь попадемся? Нет, Григорий Евлампиевич, напрасно ворчишь. Реформа как реформа, жить можно. Чуточку осторожности на первых порах — и «Русское слово» процветет. А золотушные дети тоже авось не зачахнут.

— Ничегошеньки у нас не выйдет, не надейся. И «Русскому слову», скорее всего, в ближайшее время — конец. Процесс невозможен, это верно. И вымарывать некому — кроме меня. Это тоже правда. Но задумывался ли ты, откуда вдруг такая забота о неприкосновенности нашего слога? Пресна, что ли, показалась литература министру внутренних дел? Дай-ка, думает, погляжу, на что способен Писарев, ежели его статей не калечить. То-то славно будет почитать, откинувшись на козетке после праведных трудов, — так, что ли, ты, может быть, полагаешь? Ради этого господин Валуев трудился переводить, так сказать, на язык родных осин французский закон пятьдесят второго года?

— Оставь риторические вопросы и продолжай, это любопытно.

— Что любопытного… Просто его высокопревосходительство не хуже нас понимает то самое, о чем ты только что толковал. Что навострились и ты, и я, и Елисеев (этот особенно), и Слепцов, и даже глупенький Антонович, не говоря уже о Щедрине, — все овладели жалким искусством писать между строк и выражать свои мысли, не нарушая самых стеснительных узаконений. А читатель обучился эти мысли угадывать. А цензура, видя, что закон не нарушен, и в то же время чуя дуновение мысли, приходила в ярость, подобно обманутому Одиссеем киклопу, и наугад, не жалея, вымарывала слова, — но мысль, одухотворявшая их, слышалась в самом тоне наших статей. В конце концов, изуродованные, но все-таки живые, они выходили в свет и делали свое дело, а нас нельзя было за это наказать. Неудивительно, что лорду-бюрократу это надоело. Чтобы

покончить с литературой, надо было сочинить такой закон, по которому подлежат наказанию наравне с преступниками и те, кто закона не нарушает.

— Это каламбур.

— Ничего не каламбур. Слушай и запоминай. Статья вторая. Освобожденные от предварительной цензуры издания, в случае нарушения в них законов, подвергаются судебному преследованию…

— Этот случай мы уже разобрали.

— Совершенно верно. И тут же, через точку с запятой… Слушай внимательно: повременные же издания, кроме того, в случае замеченного в них вредного направления, подлежат действию административных взысканий, по особо установленным на то правилам.

— Так и сказано: кроме того?

— Слово в слово.

— И особые правила обнародованы?

— Отчасти. Все очень просто: коль скоро статья не дает убедительного повода для судебного преследования, но вместе с тем содержит мнения, в каком-либо отношении вредные, — министр объявляет журналу предостережение. Покажется мало — объявит второе. Издание, заслужившее третий авертисман, прекращается на срок до полугода распоряжением господина министра. А если эта мера не разорит издателя дотла, экзекуцию можно повторить. Вот и все. Никакого процесса, никаких прений. Закон вступает в силу с первого сентября. Сентябрь, октябрь, ноябрь — и «Русское слово» прикажет долго жить. И «Современник», вероятно, тоже. Для того все это и придумано.

— А если остаться под предварительной?

— Во-первых, предварительной цензурой нас теперь еще скорее доедут. А во-вторых, ну как же не попробовать? Я, может быть, всю жизнь ждал этой минуты, когда представится возможность хоть слово напечатать, не спрашивая дозволения. Пускай это обман, пускай ловушка, — все одно не утерплю! И никто не утерпит, хоть Некрасов и приговаривает, что лучше бы пообождать. От эмансипации не отказываются. Вон мужички — не видят разве, что их обокрали, что с наделом, какой им от того же Валуева, между прочим, определен, жить можно только впроголодь? А пригласи-ка их обратно в крепостные… И потом, человек устроен странно: вот стоит он перед гильотиной и все про гильотину понимает — как действует механизм и для чего топор треугольный, — а поверить, что этот кусок металла через минуту оттяпает его собственную, все понимающую башку, — нет, не в силах. Так вот и я: знаю твердо, что несдобровать

«Русскому слову», и сам себе не верю. Мало ли, думаю, как еще обернется. Стыдно же им, думаю, с первых же шагов обнаружить свой умысел. И если сразу прихлопнуть лучшие журналы, то цензуре делать будет нечего. От исполнителей тоже многое зависит. Цензором у нас будет Скуратов — это скверно, а вот кому поручат опекать «Русское слово» в совете — пока вопрос. Гончарову — тогда пиши пропало, а возьмется старик Никитенко — глядишь, и поживем еще… Словом, жребий брошен! И знаешь, что мы дадим в сентябрьской книжке? Твою статью о Чернышевском, ту самую, что полтора года назад запретили. Вытребуем у твоего коменданта и тиснем. Откроем ею новую эру. Впрочем, если нас все-таки отдадут на расправу автору «Обломова», эра продлится недолго. «Эпоха», кстати, уже кончилась: Достоевский прогорел.

— Вот жалость! А как же неизвестный, но отвратительный господин Николай Соловьев? Где найдет он пристанище? Где ему теперь оплакивать мою погибшую нравственность? Только я собрался позаняться им пристальней, — ан его уже и нет, преследователя моего меднолобого.

— Нашел о ком думать — о букашке. Он плевка не стоит. Забудь. А Достоевский объявил временное банкротство и еле-еле уговорил кредиторов отсрочить платежи. Собирается за границу — писать роман. Напишу, говорит, и расплачусь со всеми.

— Предложить бы ему сейчас хороший аванс, чтобы роман остался за «Русским словом»! Он писатель настоящий. А проза у нас в журнале хоть и честная, а так скучна, что удивляюсь, как подписчики терпят.

— Настоящий-то он настоящий. Но запальчивый какой-то, опрометчивый, блажной. «Мертвый дом», что говорить, великая книга, но видел бы ты новую повесть, вот в последнем, февральском нумере «Эпохи». Одного господина проглотил крокодил, и этот господин из утробы крокодила принимается проповедовать разные теории, в том числе теорию новых экономических отношений. Каков сюжетец? В публике толки. Одни говорят, что здесь разумеется Щедрин, его участие в «Современнике». Другие утверждают, и даже в печать проникли намеки, будто крокодил — это крепость, и тогда проглоченным господином — глупым и смешным — выходишь ты либо Николай Гаврилович. Во всяком случае, иные фразы прямехонько из «Русского слова». А ты говоришь — аванс, подписчики. Что проку в таланте, если нет направления?

— Достоевский сам сидел, сам был на каторге и в ссылке. Не может он издеваться над нашей участью. Это недоразумение. Ты что-нибудь не так понял. Не поверю, пока не прочту

собственными глазами!

— Хорошо, хорошо, не огорчайся и не сердись. Я ни в чем не убежден. И насчет аванса мысль, пожалуй, разумная, да денег в кассе нету таких: он много запросит, особенно сейчас. А у нас подписка до двух тысяч пока не дотянула.

— Нет, так нет. И мне тогда не торопись прибавлять полистную плату. А над Чернышевским смеяться — это слишком. Думаешь, пропустят «Мысли о русских романах»? Ах, ну да, я и забыл: спрашиваться не надо. Но ты же сам говоришь: то, что прежде вычеркивали, нынче станут запрещать, а чего не запретят, за то засудят. И цензоры прежние…

— Название замени, начало перепиши. И я еще пройдусь, ты уж прости, осторожным перышком. Как новая будет статья. Не вспомнят, не узнают. А волков бояться — в лес не ходить. Ежели на первых же порах себя не поставить как следует — после и подавно считаться с нами не станут.

— Да я-то не боюсь… Одним словом, тебе видней, а я — с моим удовольствием. Лишь бы военачальник не заупрямился: к делу, скажет, подшил рукопись, или потерял. С него станется.

— Выцарапаем, ничего. Рукопись — это, брат, собственность, а собственность священна. К тому же хоть он теперь полный генерал и без высокопревосходительства лучше не подступайся, но есть начальство, слава богу, и над ним.

— Попробуем. Договорились. А что еще там делается, на наших литературных пажитях?

— На пастбищах, ты хотел сказать? А все то же самое. Новости похожи одна на другую, время словно и не идет. Вот «Народную летопись» закрыли. Это газетка такая сочинялась в начале марта. Двенадцать нумеров только и вышло — вполне порядочных, не то Елисеев орудовал, не то Жуковский, под псевдонимом. А дохнул Валуев, и нет больше «Летописи», тринадцатому нумеру не бывать. Как раз тринадцатое число и подвело. Все газеты, видишь ли, в этот день обвели свои страницы траурной каймой, а «Летопись» и в ус не дует, даже извещения не дала о смерти наследника. Как бы не успела редакция распорядиться. И это бы еще ничего. Но следующий нумер вышел с траурной каймой…

— Так что же?

— А то, что на полосе — депеша из Нью-Йорка: «Президент Линкольн прошлою ночью застрелен убийцею. Он скончался сегодня».

— Так Линкольн убит?

— Убит. Какой-то актер по фамилии Бут или Бус прямо со сцены, говорят, во время представления выпалил дважды по

президентской ложе.

— Агент плантаторов?

— Без сомнения. Но распубликовал письмо, где, конечно, рекомендуется врагом тиранов. Так сказать, Бут лезет в Бруты. Мы выразили американцам глубокое прискорбие, а «Народную летопись» все-таки — того. Будете знать, мол, как соваться не в свое дело. Бедная русская пресса! Вечно урок не выучен, вечно неполный балл! Валуев, без шуток, мнит себя педагогом, ну а мы все для него школяры, причем противные: в классах ленимся, одеты не по форме, причесаны не так, и фуражку снимаем не на той дистанции. С нами необходима строгость, строгость неумолимая, не то расшалимся окончательно и вовсе пропадем. С нами только так: перебиваешь наставника — получай по рукам железной линейкой! А его патрон, директор училища — ты знаешь кто — с брезгливой миной слушает наши стоны и неодобрительно так заявляет: «Можно ли обещать мое покровительство и сочувствие литературе, когда она так себя ведет! Теперь не время гладить наших журналистов по голове!». Доподлинные слова, да будет тебе известно. Это называется — мы живем во второй половине девятнадцатого века!

— «Московские ведомости», однако, с Валуевым не церемонятся, а он терпит.

— Каткову можно. Перед ним администрация на задних лапках служит. Он же как дело поставил? Прочь, говорит, от меня, и министры, и цензура, не сметь мешать новому Сусанину! Спасу, говорит, государя от подземной интриги, хоть бы и против его воли спасу, а кто встанет на моем пути, тот неблагонамеренный или даже нерусский! Замечательно тонкая шельма. Знай вопит себе, что держава в опасности, и ничего не боится. Такую взял себе свободу слова. А тут Валуев. Noblesse-то oblige. Прикрикнуть не смеет, однако отваживается нахмуриться. Сам на цыпочках стоит, весь трепещет, а пальчиком все-таки грозит: нельзя же так, дескать, о брате директора попрошу отзываться почтительней, а то я буду просто вынужден выставить за поведение не самый высший балл. О линейке, разумеется, нет и помину, однако Михаил Никифорович, не будь глуп, немедленно растворяет уста и вопит как зарезанный. Ах вот как, вопит, вы тоже заодно с врагами отечества, тоже передались Мраморному дворцу? А Зимний, стало быть, погибай? Ведь кроме Каткова и графа Муравьева некому защитить престол. Умолкни я — и государь с Муравьевым останутся одни против полчища врагов. Так не бывать же этому! Буду, буду обличать, и делайте со мною что хотите. А что с ним поделаешь? Муравьев за него, а двор и дворянство за них обоих. Князь Вяземский бессмертными

стихами так определил: «Кто Муравьеву враг, его кто охуждает, России тот не сын и русскому чужой!». Кому охота прослыть подобным чудовищем?

— Я слыхал, что нашелся такой человек.

— Один, точно, нашелся. Людоедом назвал героя. Ну, на то он и Суворов. Имя обязывает. Он в Государственном совете, когда слушалось дело Серно-Соловьевича, знаешь что сказал? Умное правительство, сказал, старалось бы иметь за себя таких людей!

— Еще бы! Умное-то!

— И случилась необыкновенная вещь: Государственный совет, по существу, отменил приговор Сената. Приговор был — двенадцать лет каторги и поселить в Сибири навсегда. Мнение Государственного совета…

— Я знаю. Вечное поселение. Видел я Серно-Соловьевича. То есть не видел, а пел в дуэте с ним тропарь. Очень смешная история. Он скоро тебе напишет и статьи пришлет.

…Великая ектенья, антифоны, «блаженства», тропари, апостол, херувимская песнь или как она там называется, и снова ектенья. Уже не менее трех раз по команде веселого толстяка в дьяконском облачении молились о государе, синоде, начальствах духовных и светских, о палатах, воинстве, о граде, о благорастворении воздухов (вот это действительно было бы кстати!), о временах мирных; а также о плавающих и путешествующих, почему-то приравненных к недугующим, страждущим и плененным, — а службе все не предвиделось конца. Надо думать, что по замыслу отца Василия сегодняшняя литургия, как бы повторявшая в некотором сокращении пасхальный чин (было двенадцатое мая, среда, отдание Пасхи), долженствовала заменить «праздникам праздник и торжество из торжеств», на коем заключенные, конечно, присутствовать не могли, поскольку в ночь на четвертое апреля находились в камерах.

Духота стояла в церкви комендантского дома; припозднившееся солнце рвалось в тесную залу из щелей в ставнях и крохотных круглых оконец под потолком; волокна сладкого дыма плавали в воздухе, изнизанном пересекающимися лучами.

Молящиеся располагались группами, по три человека в каждой: арестант посредине, двое солдат по бокам. Получалось обычно три или, как в этот раз, четыре довольно плотных шеренги, отстоявших друг от друга менее чем на шаг.

— От святаго Иоанна благовествование. Глава двенадцатая, стих тридесять шестый. Дондеже свет имате, веруйте во свет, да

сынове света будете. Сия глагола Иисус, и отшед скрылся от них…

Пошатывало, подташнивало, кружилась и болела голова. Но после евангелия дело пойдет быстрей… Хотя, впрочем, там, кажется, еще сугубая ектенья… Потом разные пантомимы с вином и хлебом… Да, еще и проповедь. Не оставит же нас отец Василий без проповеди. Покурить бы сейчас, вот что.

— И аще кто услышит глаголы моя и не верует, аз не сужду ему. Не приидох бо, да сужду мірови, но да спасу мір…

Золотые, между прочим, слова. Для субъекта, одержимого идеей, будто факта его смерти достаточно, чтобы исправить историю, — поразительно смиренные. И прямо противоречат законам о печати.

Ну вот, опять начинается. Еще раз обо всех на свете начальниках господу помолимся.

В алтаре отец Василий затянул: «Да воскреснет Бог», и едва дошел до «врагов Его», как молодой дьякон, оборотясь лицом к строю молящихся и взмахнув слегка рукой, прогремел жизнерадостным баритоном:

Христос воскресе из мертвых…

Этот тропарь знали все: и солдаты, и арестанты. И подхватили с каким-то восторгом:

Смертию смерть поправ…

Третий стих отчетливо пропели одни арестанты, а солдаты пробормотали его невнятно и недружно. Трудный, в самом деле, стих, и мелодию никак не удержать. В Грунце, в приходской церкви, на пасху все было так же: дьячок возглашал первый стих, вся церковь кричала второй, а на третьем крестьяне запинались, и в робком, смутном гуле только Варвара Дмитриевна и Митя, держась за руки, звонко вторили дьячку…

— И да бежат от лица его ненавидящие его, — опять послышался из алтаря голос отца Василия.

И, дождавшись паузы, молящиеся вместе с дьяконом грянули вновь:

Христос воскресе из мертвых…

Но за спиной у Писарева незнакомый низкий голос пропел в

унисон:

— Писарев, speek you English?

— Смертию смерть поправ! — откликнулся он, отрицательно качая головой. Оборачиваться было нельзя. Солдаты, стоявшие по сторонам, самозабвенно пели, часто и мелко крестясь, и, к счастью, ничего не заметили.

— Яко тает воск от лица огня, — завел отец Василий, — тако да погибнут беси от лица любящих Бога.

Христос воскресе из мертвых, —

ответствовали дьякон и хор, а один голос прогудел:

— Я Серно-Соловьевич,
смертию смерть поправ…

— И сущим во гробех живот даровав, — заключил Писарев, кивая головой в знак того, что услышал и понял.

Так и продолжался разговор. Выяснилось, что Серно-Соловьевич приговорен на днях к вечному поселению, что он пишет для «Русского слова», и что «славная вещь — „Реалисты“, смертию смерть поправ…»

Никогда не подумал бы Писарев, что церковное пение может доставить столько удовольствия. Соловьевича он слегка помнил по Шахматному клубу, — кажется, даже знакомил их там Благосветлов, — и слышал, разумеется, что взят Соловьевич одновременно с ним и с Чернышевским и сидит в равелине. Вечное поселение… Счастливец! Поедет через всю страну, сколько увидит лиц и облаков, а прибудет на место — гуляй сколько хочешь, купайся в реке; в Сибири леса и реки отличные; переплыть на другой берег и повалиться на горячий песок где-нибудь под обрывом… И чтобы вокруг тишина.

В церкви стало тихо. Протоиерей отец Василий Полисадов вышел на солею, с полминуты помолчал, вглядываясь в ряды подневольных своих прихожан, потом провозгласил:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Началась проповедь.

В университете Полисадов считался неумным болтуном, и на его лекциях скамьи пустовали. Чаще всего слушателей было только трое: Писарев, Трескин и Скабичевский. «У остальных господ студентов нашлись, как обычно, дела поважней? — скорбно вопрошал Полисадов, зайдя в аудиторию. — Ну что же, посмотрим, посмотрим, как эти гении выдержат экзамен». Но

гении выдержали, благодаря писаревским тетрадкам, и теперь наперегонки делали карьеру кто где, и Трескин и Скабичевский, кажется, не оплошали, одному Писареву досталось наслаждаться красноречием протоиерея по меньшей мере раз в неделю вот уже скоро четвертый год, и какая же это ненавистная забава!

Сегодняшняя проповедь была о благоразумном разбойнике: не о том, который висел слева от Иисуса и, сам умирая, дразнил его, говоря: если ты Христос, спаси себя и нас; но о том, который висел справа и урезонивал своего озлобленного товарища: дескать, чего пристал к человеку, ему и так хуже, чем нам с тобой, потому что мы осуждены справедливо.

— Достойное по делам нашим приняли! Так сказал раскаявшийся злодей. Многие ли из вас возвысились до него? Многие ли повторяют эти слова утром и вечером от полноты сокрушенного сердца? Многие ли сумели до конца прочувствовать вину, которая привела каждого из вас в стены сей крепости?

Писарев слышал, что позади произошло какое-то движение. Серно-Соловьевич, должно быть, стоял теперь совсем близко, за плечом.

— Сущая ложь, — шептал он почти беззвучно, но очень отчетливо. — У Матфея, как и у Марка, оба разбойника поносят Христа, и весь народ с ними, как и всегда бывает в жизни. Этого благоразумного Лука выдумал.

— Знаю, что в гордыне самообольщения иные думают про себя: какой же я разбойник? Разве я убивал или грабил? Я всего только сочинял — или читал — или говорил — слова, смысл которых клонился к охуждению законов и властей, от Бога поставленных. Только и всего! Зачем же держать меня взаперти? — Отец Василий проговорил всю тираду нарочито тоненьким голоском и даже как бы съежился, очевидно, изображая глупого преступника, но тут же распрямился и прогремел: — А затем и держать! Затем что не придумал враг человеческий более тонкого и соблазнительного, более опасного яда, чем речь, напоенная отрицанием и сомнением…

— Боже, какой лицемер, — еле слышно доносилось сзади, — просто во рту оскомина. И почти три года это был единственный мой собеседник. Удивительно, как я не помешался. Он живал за границей, он магистр философии, он не может не знать, что убеждения, за которые нас мучают, исповедуются в целом мире миллионами, десятками миллионов!

А отец Василий уже декламировал басню Крылова «Сочинитель и разбойник»:

Ты ль Провидению пеняешь?
И ты ль с разбойником себя равняешь?
Перед твоей ничто его вина.
По лютости своей и злости
Он вреден был,
Пока лишь жил;
А ты… уже твои давно истлели кости.
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя не осветило бед.
Твоих творений яд не только не слабеет,
Но, разливаяся, век от веку лютеет…

Хорошо читал отец Василий Полисадов. И Крылову эта басня особенно удалась. Заслушались конвойные солдаты, замерли арестанты, замолк над ухом Писарева едкий шепоток. Только стихи гениального поэта разносились над толпой, ударяя по сердцам с невиданною — или как там? неведомою? — силой:

Вон дети, стыд своих семей,
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? — Тобою.
Кто, осмеяв, как детские мечты,
Супружество, начальство, власти,
Им причитал в вину людские все напасти
И связи общества рвался расторгнуть? — Ты.
Не ты ли величал безверье — просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти, и порок?
И вон, опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами,
И до погибели доведена тобой!
В ней каждой капли слез и крови — ты виной.

Протоиерей выдержал паузу, желая, наверное, насладиться произведенным эффектом, но многие заключенные воспользовались ею, чтобы откашляться, и хриплый лай наполнил церковную залу.

— Вот оно, — повысил голос отец Василий, — вот оно, вечное чудо искусства. Крылов сам был сочинитель, но его творения пробуждали и пробуждают в людях добрые чувства: любовь к

престолу, к отечеству, а паче — к небесному нашему Отцу. И за это — ему даровано истинное бессмертие…

Набрался он все-таки в Европе вольнодумного духа, этот поп: светские стихи читает с амвона, о чудесах искусства распространяется… Истинно бессмертный баснописец — это, должно быть, самая настоящая ересь. В средние века священника за такую проповедь просто-напросто сожгли бы на костре.

— Бессмертие в русских умах и русских сердцах! Разве не подумалось нам с вами, дети мои, что эта вот самая басня написана не далее как в прошлом году? Что разоренная мятежом страна — это несчастное Царство Польское? Что совратитель, дерзко смеющийся над всеми установлениями, божескими и человеческими, это не кто иной, как пресловутый Герцен, по чьей вине и многие из вас находятся здесь? Ну можно ли поверить, что этому прекрасному сочинению — почти полвека?

— Двести восемьдесят девять человек расстреляны и повешены. Это если верить газетам, — шелестело у Писарева за спиной. — А толпа так гнусно подла, что замарала бы самые ругательные слова. Я проклял бы тот час, когда сделался атомом этого народа, если бы не верил в его будущность. Но и для нее теперь гораздо более могут сделать глупость и подлость, чем ум и энергия. К счастию, они-то и у руля.

— Замолчите, господин! — резко проговорил вдруг солдат, стоявший справа, и Писарев вздрогнул, но не повернул головы.

— …Перед вами две дороги, — с угрозой продолжал Полисадов, глядя, казалось, прямо ему в глаза. — Пойдете направо — там ожидает, восседая одесную Спасителя, ликующий некто, которого мы называем теперь благоразумным разбойником. Налево пойдете, — отец Василий уже спешил, — попадете в объятия Герцена и компании, заслужите поношение и постыдную кончину в жизни сей, муку и гибель в жизни будущего века. Итак, выбирайте, пока не поздно. Аминь.

Проповедь окончилась. Тотчас послышалась сзади возня, сдавленный голос произнес: «Руки». Писарев стоял как бы окаменев: оборачиваться не разрешалось.

— Прощайте! — сказал где-то далеко, должно быть у самых дверей, но громко и весело Серно-Соловьевич. — Почва оказалась болотистее, чем мы рассчитывали, но не вздумайте унывать. Это счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже. Надо вбивать… — Голос прервался и донесся последний раз откуда-то из-за дверей: — Сваи! Сваи надо вбивать! Прощайте!

Писарев оторвал взгляд от пола и осторожно поднял голову. Арестанты и солдаты стояли смирно, тишина прерывалась только

чьим-то гулким кашлем. На амвоне никого не было, Полисадов скрылся в алтаре.

Но что-то мешало вздохнуть, и чувство близкой опасности не проходило. Только когда солдаты приказали ему повернуться и повели к выходу, Писарев понял, откуда это чувство. У дверей стоял, не сводя с него глаз (и ясно было, что давно стоит и давно не сводит глаз), комендант Сорокин.

Вечное поселение все-таки не каторга. Да и как полагать окончательно определенной участь человека, которому нет еще и тридцати? Словом, за Серно-Соловьевича теперь Суворов был спокоен. А поскольку все решилось в Государственном совете и милосердие монарха не подвергалось ни малейшему испытанию, Александр Аркадьевич рассчитывал, что ходатайство о помиловании Писарева не покажется неделикатным. Следовало только правильно выбрать подходящую минуту. В июне, например, обращаться к его величеству было бы преждевременно: слишком свежа отцовская скорбь, а если всю правду говорить, то и дело Соловьевича еще не забыто.

Варвара Дмитриевна Писарева этих соображений, вернее, первого из них, потому что вторым Суворов поделиться не мог, — не приняла. Несчастная женщина утверждала, что материнская скорбь стоит отцовской, что боль утраты не проходит ни через три месяца, ни через три года, но что трех лет тюрьмы вполне достаточно для преступника, приговоренного к двум годам и восьми месяцам. За неделю до того, как истекли эти три года, — двадцать пятого июня — она подала на высочайшее имя прошение, в котором, увы, чуть сильнее, чем требовалось, напирала на эту арифметику, и помилования для сына добивалась не как величайшего и незаслуженного снисхождения, но едва ли не как справедливости.

Ну а как только речь заходит о справедливости, Третье отделение, ведающее подобными прошениями, немедленно обращается в министерство юстиции. Оттуда после обычных проволочек прислали справку о том, что в срок тюремного заключения зачисляется время, проведенное в арестантских ротах и работных домах с момента объявления приговора до начала отбывания наказания, то есть до перевода в тюрьму. Ничего более подходящего к случаю в Своде законов не отыскалось, и как быть с человеком, приговоренным к заключению не тюремному, а крепостному, но до приговора отсидевшим два с половиною года не в работном доме, а именно в крепости, — этот юридический казус министерству оказался не по зубам.

Но в Третьем отделении, если на то пошло, имелись и свои

собственные правоведы. Они разрешили загадку в том смысле, что статья закона, о коей идет речь в справке из министерства, относится и к крепостному заключению, как более легкому.

Все же полной уверенности, что справедливость соблюдена, в их отзыве не было видно, потому что если крепостное заключение по приговору считалось легче тюремного, то зато по сравнению с пребыванием в работном доме до приговора оно считалось много тяжелей.

Получив обе справки, Долгоруков, как было заранее условлено, приложил, кроме них, к прошению Писаревой личное послание генерал-губернатора на имя начальника Третьего отделения. В этом письме, дожидавшемся своего часа еще с июня, говорилось:

> «Молодой человек этот, неся заслуженное наказание с покорностью, являет из-за стен крепости пример добродетели, содержа литературным своим трудом престарелую мать и малолетних сестер, но здоровье его ослабевает, и несчастное семейство может лишиться единственной опоры в жизни.
>
> Ваше сиятельство, вероятно, одинакового со мной мнения, что наказания налагаются законом не в виду возмездия за преступление, но в видах исправления, а потому, если есть убеждение, что виновный исправится, то всякая оказываемая ему милость может только укрепить его на пути добродетели, а потому я имею честь обратиться к Вам, милостивый государь, с покорнейшей просьбой, не изволите ли Вы признать возможным в настоящее время, по прошествии почти 3-х лет со дня заключения Писарева, предстать с ходатайством к Государю Императору о Всемилостивейшем помиловании…»

Всемилостивейшее помилование — вот это был верный тон. И день выбрали точно — двенадцатое августа, ровно четыре месяца прошло со дня смерти цесаревича, казалось бы достаточно, чтобы горе если не забылось, то ослабло и чтобы сердце смягчилось. Одного только не принял в расчет Александр Аркадьевич, — а князь Долгоруков не счел возможным его предупреждать, — что император ничего не забывает. Ни прокламации, три года назад писанной, где сказано было, что династия Романовых должна погибнуть; ни рапортов генерал-лейтенанта, ныне инженер-генерала Сорокина — бесхитростного, но зоркого старика; ни докладов министра внутренних дел о журнальных статьях, не пропущенных цензурою, и вообще о

направлении журналов; ни процесса Чернышевского; ни процесса Серно-Соловьевича; ни панегириков, которые расточал этим двоим в своем листке Герцен; ни мартовской речи Суворова в Государственном совете.

Есть люди, о которых говорят или которые сами о себе думают, будто они все понимают; их можно использовать на незначительных должностях, притом соблюдая осторожность. Александр II принадлежал к людям, которые все помнят; чтобы царствовать, особенно в России, это необходимо и этого достаточно.

«Твой обожаемый, — говаривала мужу светлейшая княгиня Любовь Васильевна Суворова, — даром что ученик Жуковского, а подписать смертный приговор у него рука не дрогнет. Отец был крут, но прям, а этот жесток и уклончив». Александр Аркадьевич от ее слов приходил в бешенство, кричал и топал ногами, — но казни в Польше, но возвышение Муравьева, но дело Чернышевского…

Письма генерал-губернатора к Долгорукову император как бы не заметил, словно забыв на этот раз, что его личный друг князь Суворов до сих пор с неизменным успехом применял такую форму для неофициальных обращений к его величеству.

Зато прошение госпожи Писаревой и приложенные к нему справки удостоились внимательного изучения. Ведь дело шло о справедливости. Иметь преступного сына — само по себе несчастье (и едва ли не более тяжкое, господи прости, чем потерять сына-ангела); но бедная старушка (император был всего на три года моложе Варвары Дмитриевны, но откуда же он мог это знать, если в письме Суворова сказано: престарелая), госпожа Писарева лишена была даже того утешения — слабого, конечно, и горького, — которое дает уверенность в том, что с виновным поступлено по справедливости, то есть по закону. Отказать ей в этом утешении было бы не по-христиански, пренебречь малейшим намеком на могущую совершиться несправедливость — не по-царски.

Александр II обмакнул золотое перо в малахитовую чернильницу и начертал на полях справки, выданной министерством юстиции:

> «Весьма справедливо, что в этой статье речь идет о времени заключения по объявлению приговора, а не до объявления его».

Таким образом, с этим делом было покончено, и Долгоруков, понятливо кивнув, принялся докладывать о других.

Тринадцатого августа о неудаче узнал Суворов, а

семнадцатого — получила официальное письмо из Третьего отделения Варвара Дмитриевна. Ей сообщили, что, принимая во внимание тяжесть совершенного ее сыном преступления и то обстоятельство, что ни Сенат, ни Государственный совет не сочли возможным повергать его участь монаршему милосердию, министр юстиции считает прошение госпожи Писаревой не заслуживающим уважения.

— А государь? — со слезами допытывалась она у Суворова. — Неужели ему так трудно прочесть самому? И даже для вашего ходатайства он недоступен?

— Надо терпеть, надо выжидать, — отвечал он. — Подходящий случай еще представится, погодите.

— Еще два года! Он не выдержит. Ведь я же только просила отпустить его со мной в деревню. Он сидел бы в своей комнате и работал, совершенно как здесь, нам больше ничего не нужно. Он же болен, а в этой крепости даже здоровые люди сходят с ума. Он жалуется на бессонницу, и что нечем дышать, и шумно как в аду.

— Шумно?

— Вы хотите сказать: там же тихо, как в склепе? И я тоже, приходя, пугаюсь именно тишины. А он говорит: как в аду. И улыбается, показывая вид, будто шутит. Но он не шутит, поверьте, я-то знаю.

> «Тишина — для меня необходимый элемент: можно снести не совсем чистый воздух, даже отчасти вонь, можно затворить окна, проработать часа четыре и потом бежать на берег освежиться: но куда спрятаться от этой адской трескотни?.. Врагу только злому посоветую я ехать в эту гнусную щель — Булонь! Многие звали меня в Остенде, но там толпа знакомых — покоя не дадут! За что же и зачем такие препятствия, или зачем они не пришли раньше, когда я только принимался в Мариенбаде за труд: тогда у меня надежд не было и я был равнодушен! Хоть плакать, так в ту же пору! Боже мой: тишины, тишины, тишины пошли — и нет надежды — это ужасно!»

Так стенал Иван Александрович Гончаров в письме к своей молодой приятельнице и поклоннице Софье Никитенко — дочери известного нам литератора, академика, бывшего профессора (и цензора! — следовало бы добавить; но видите ли: письмо, что перед нами, отправлено с побережья Атлантического океана к берегам реки Славянки и датировано двадцать восьмым июля. Лето! Половина членов Совета по делам книгопечатания, которому предстоит первого сентября преобразиться в Совет

Главного управления по делам печати, наслаждается заслуженным — и оплаченным — отпуском. Что ждет того или иного из них по возвращении в Петербург — прибавка или отставка, — неизвестно; министр поговаривает о том, что новая система требует не литераторов, а юристов, и вообще молодое вино лучше бы разливать в новые мехи. Только в конце августа должно было решиться, кто из писателей останется деятелем цензуры; троих многовато, — считал Валуев; но пока что ни Гончаров, ни Тютчев, ни Никитенко об этом вроде бы не подозревали).

> «Меня становится на борьбу нравственную, с обстоятельствами, службой и прочее, но не хватает на борьбу с колесами и мостовой — нервы не выносят, ведь это все равно, что молотком бить по голове… Боже мой, какой разгон, какой разъезд, какая трескотня! Это ад, ад, ад!»

Иван Александрович надписал и запечатал конверт, собрал принадлежности для купанья и ушел из boarding house'a на взморье. Все равно день был потерян, и отпуск пропал даром, — как и вся жизнь, собственно говоря. Каждый год — одна и та же невеселая история. Осень, зиму и весну напролет читаешь и слушаешь сплошные, бесконечные глупости, сам пишешь бог знает что: отзывы, отчеты, обзоры, даже какие-то ведомости. По четвергам заседания с неизбежными словопрениями, а в промежутках — читай, читай: «Современник», «День», «Ясную Поляну», «Театральные афиши и Антракт», «Русский архив» и «Епархиальные ведомости»… И все к спеху, и за каждым изданием, да что там — почти за каждым автором почти каждой статьи кто-нибудь да стоит из сильных мира, и все эти сильные друг с другом не в ладах, а журналисты все как один тщатся прослыть передовыми и бесстрашными, а министр хоть и очаровательный человек, но чрезвычайно самолюбив, обидчив и не терпит прекословия, — и по всему этому любое неосторожное выражение, свое ли, чужое ли, чревато скандалом, если не катастрофой. Вот и портишь глаза, отравляешь ум, сочиняешь и произносишь бездну ненужного, изо всех сил скрывая от людей, загораживая, оберегая едва теплящийся в душе огонек истинной жизни, — в единственной надежде, что наступит же когда-нибудь лето, предоставят отпуск, выдадут пособие, и уеду я от вас на три блаженных месяца в богемские леса, в любимый Мариенбад, где в отеле «Stadt Brussel» имеются просторные, светлые комнаты, в которых всегда тихо, разве что если день ветреный, то слышно, как сосны шумят, да по воскресеньям орган поет в соборе, точно

горный великан, рассевшись на солнышке посреди городка, лениво забавляется с гармоникой.

В Мариенбаде — источник воды, расслабляющей желудочные нервы, но зато, подобно вину, волнующей сердце; в отеле — диета, и совершенное уединение, и взгляд из окошка тонет в зелени… Господи, ведь ничего же больше не нужно, кроме хорошей погоды и безусловной, могильной тишины!

И наступит день, когда, заперев для верности дверь на два оборота ключа, мы добудем из чемодана походную чернильницу (Ваш подарок, Софья Александровна! Великая умница Вы, да наградит Вас небо!) и водрузим ее на стол. А затем извлечем тетради, carnets[28], листки, листочки, клочки, накопившиеся за много-много осеней и зим, — и разложим по порядку, и станем проглядывать не спеша… И вдруг воображение, как белка, поскачет с одной ветви сюжета на другую, с одной — на другую, и на час или два роман развернется перед глазами до последнего слова, до точки в конце. Между разрозненными клочками бумаги привидятся такие сцены, послышатся такие речи, что слезы подступят к глазам от любви и жалости к этим выдуманным людям, от счастья быть их создателем и от благодарности к тому, кто дал тебе это счастье…

И если на втором этаже не поселят сумасшедшего, чтобы он изо всей силы топал ногами над самой головой, или в раскрытом окне напротив не заведется вдруг барыня, играющая на фортепьяно ровно четыре часа — с десяти утра до двух, в то самое время, когда только и можно работать, — или под окном, в переулке не примутся гурьбой слоняться взад и вперед, нарочито громко переговариваясь, неизвестно откуда взявшиеся подозрительные личности, — словом, если хоть ненадолго рассеются фантасмагорические обстоятельства, так упорно подстраиваемые теми, кто, по-видимому, очень не хочет, чтобы роман был дописан, — о, тогда слабый огонек разовьется в гудящее пламя, и рука пойдет по бумаге сама, словно под диктовку, и жизнь в запертой комнате превратится в увлекательный сон наяву… И вдруг все это кончится. Ни с того ни с сего, внезапно, как и началось. На столе — груда исписанной бумаги, за окнами — ветер и дождь, за дверью — шаги и шепот, а в душе — уныние, скука и отвращение к труду.

И отпуск почти весь позади, а роман опять не дописан, и, конечно, не будет дописан никогда, потому что до точки в конце последней фразы все так же далеко, как и пять, и десять, и пятнадцать лет назад. Не ленился, сидел по шесть часов, писал до дурноты, до судороги в пальцах, — и вот все будто оборвалось, и написанное кажется вздором, мараньем какого-то борзописца из

тех, кого читаешь там, в Петербурге, изо дня в день, и тошно даже подумать о том, чтобы взяться еще когда-либо за перо, и тошно жить, и почти нестерпимо хочется на тот свет.

В этот раз Иван Александрович в Мариенбаде исписал кругом тридцать с лишним огромных листов; еще бы полстолько — и победа; поправлять, добавлять, отделывать можно было бы урывками, по ночам на Моховой; но кто-то (скажем — судьба) жестоко посмеялся над его вдохновением. После мариенбадских вод полагается укреплять желудочные нервы или железной водой, или морскими купаньями, или, наконец, веселым житьем в большом городе, где хорошая еда, хорошее вино. Иван Александрович Парижем на сей раз не соблазнился, выбрал море и примчался сюда, в Boulogne-sur-mer: еще оставалось почти три недели отпуска; двадцать морских ванн — это как раз полный курс; устроиться у m-r Valbin, в том же старом домике у моста, где так славно работалось в шестидесятом году, — и продолжать, продолжать роман!

Однако судьба (назовем это так) все предусмотрела. Оказалось, что ни самого Valbin, ни жены его нет, ни даже тот дом у моста не существует: он сломан, и на его месте устроен рыбный рынок. Иван Александрович бросился искать другое пристанище, — а купальный сезон в разгаре, отели, пансионы переполнены, из каждого окна глядят рыжие и других мастей рожи англичан и англичанок; нашелся, наконец, пристойный boarding house, Иван Александрович распаковал вещи и улегся спать, предвкушая, как с утра, после купанья и завтрака, возьмется за работу… Но утром-то и последовал решающий удар: улица Napoleon (бывшая de l'Ecu), на которую выходили окна его комнаты, наполнилась треском экипажей: и коляски, и телеги со звонками, и черт знает что еще прыгает и скачет по мостовой! Всякая надежда пропала; оставалось только спрятать рукопись обратно в чемодан и, доведя курс морских ванн до конца, возвращаться в Россию, впрягаться в служебную лямку.

На море был штиль. Плоские, теплые волны лениво наползали на пляж. От купанья в такую погоду — никакой пользы, все равно что плескаться в Маркизовой луже. Оно и похоже на Финский залив, только на горизонте вместо купола Кронштадтского собора горят под солнцем меловые утесы: там Англия. Иван Александрович не пошел в купальную будку: не хотелось купаться, не хотелось ничего, — и присел на скамью на эспланаде, надвинул на глаза соломенную шляпу. На самом солнцепеке его знобило от тоски.

Как слепы и жалки крики тех, которые обвиняют его в лени! Было два года свободного времени на море — и он написал

огромную книгу, «Фрегат „Паллада“». Глотнул свежего воздуха в Мариенбаде — и за семь недель явились три тома «Обломова»! Теперь похитил три месяца свободы, хотел выкроить из них недель шесть на работу — судьба помазала по губам да и отказала, боже мой, а как был счастлив!

Он ленив, он сам — Обломов, он мало трудится! Хотят, чтобы человек пилил дрова, носил воду да еще романы писал, романы! то есть где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии! Попробовали бы сами совместить службу и творчество — узнали бы, что это за мука. Они ведь думают, что цензор так, прохлаждается в жизни: книжку почитал да отметку ей выставил, только и труда.

Где им понять, хоть кому бы то ни было, почем этот хлеб достается! Ближайшие сотрудники не понимают. Никитенко Александр Васильевич, расположенный человек и почтенный литератор, ища сочувствия, жалуется — на что? — на то, как тяжко быть чиновником:

— Нет рабства более жалкого и позорного! Чиновник еще счастлив, если он глуп: он тогда, пожалуй, даже может гордиться своим рабством. Но если он умен, положение его ужасно. Он должен насиловать свою волю, свое чувство, свои убеждения. И как вообще начальник не любит в подчиненном ума, то этот подчиненный каждую минуту должен трепетать или за свою честь, или за свой жребий… Он поставлен в необходимость льстить и делать вид, будто разделяет мнения, диаметрально противоположные его собственным…

Он говорил это прямо в глаза Ивану Александровичу, и было очевидно, что старик ничтоже сумняшеся равняет себя с ним, с Гончаровым, и не догадывается, насколько жестоки, самонадеянны и оскорбительны его слова. Скажите, какое несчастье: умному человеку приходится служить, да еще по цензуре! А вот каково это: когда художник, томимый громадным замыслом, художник, самою природою (а может быть — и кем-то повыше) предназначенный к тому, чтобы создавать типы и представлять жизнь в необозримой, прозрачной панораме; художник, я говорю, который всякую ночь не спит часов до двух, потому что над его изголовьем носятся тени воображенных, но не воплощенных, бесконечно дорогих ему персонажей; художник, чья жизнь и чей труд послужат в глазах потомков оправданием его страны и его эпохи, — словом, когда единственный в России великий писатель продает за мизерное, по существу, жалованье свою жизнь и свой мозг, чтобы власть употребила их на разъяснение важных вопросов, вроде того, подлежит ли запрещению статья какого-нибудь Антоновича «О пище» или не

подлежит? Вот эту судьбу как вытерпеть? И ведь никому не признаешься даже в том, что принимаешь ее сознательно: засмеют. Какой же Гончаров великий писатель, вот Тургенев — другое дело, тот действительно un maitre du roman russe! Два-три человека видят истину. В новом руководстве для цензоров, например, где все русские писатели расставлены по местам, в зависимости от дарования и направления, сказано прямо, что первое место в нашей литературе принадлежит, бесспорно, произведениям г. Гончарова. Но это «Обозрение» — издание секретное, выдается под расписку, а критика журнальная после смерти Добролюбова молчит о Гончарове, точно воды в рот набрав, — откуда же читателю знать, что он еще существует, еще жив, еще борется? И пусть бы забыли, забыли совсем, как-нибудь доскрипим эту жизнь, отсидимся в темном углу и о славе даже не вздохнем, — лишь бы дали дожить спокойно и не мучали, — но славы нет, а зависть и злоба не дремлют, и рыбный рынок на месте разрушенного домика m-r Valbin лишний раз это доказывает. Вы, Софья Александровна, приписываете мои жалобы на происки врагов каким-то галлюцинациям, — но вот же он, рынок, там, простите великодушно, вонь, и торговки кричат, — ужели это галлюцинация? Неужели еще и после этого можно сомневаться, что кое-кому и без тайных руководств, и без статей журнальных превосходно известно, кто такой на самом деле Гончаров и какое значение мог бы иметь его труд, его роман «Художник», если бы только автору удалось, если бы ему позволили дописать до конца? И можно ли было яснее дать понять, что ни в какую не позволят, не допустят, что — не суждено?

И пожалуйста, и хорошо, и все равно, только зачем же было притворяться, будто надзор ослабел, будто утомились или сбились со следа? Зачем три-то части дали написать, почти четыре? Чтобы позабавиться? Или чтобы потом, постепенно расхитить по клочкам?

Иван Александрович не ведал и гадать не хотел, кто эти люди. Кто бы ни были — масоны, иезуиты, революционеры или haute police[29], — паутина плелась за границею, и все нити вели к некоему русскому писателю с бархатными манерами и отменным художественным вкусом. (Ах, как трогательно мы мирились в прошлом году на Смоленском кладбище, перед открытым гробом Дружинина!) Но один бы он ничего сделать не сумел, ему повиновались бесчисленные пособники. Многие действовали тишком — подслушивали, подглядывали, доносили, раскрадывали по словечку. Это особенно удобно вне России: все эти отели и кургаузы нарочно так устроены, чтобы человек

постоянно и весь был на виду. Ну, а дома применялся другой способ. Там дразнили: явно, печатно, с таким расчетом, чтобы жертва страдала от ядовитых укусов, не смея ни возмутиться, ни даже вскрикнуть от боли; чтобы, не зная душевного покоя, Иван Александрович и не думал браться за свою рукопись, а старался забыться в служебной деятельности. Тот, кто придумал такой способ преследования, очень тонко понимал натуру Гончарова — уязвимую, впечатлительную, страстную! Правда, способ этот, как более рискованный, использовался сравнительно редко, притом и сослуживцы Ивана Александровича, спасибо им, не давали воли анонимным пасквилянтам. Только один из агентов интриги осмеливался нападать открыто. Точно сорвавшись с цепи, он бросался на Гончарова безо всякого повода, оскорблял походя, швырялся высокомерной насмешкой на каждом шагу. В статье о русской драме заявлял ни к селу ни к городу, будто в лице Штольца нравственный карлик возведен в перл создания; в другой статье — трудно даже сказать, о чем она, — подпускал якобы невзначай остроту: дескать, Иван Александрович выдумал обломовщину как болезнь и Штольца как лекарство; и даже в каких-то «Исторических эскизах», пересказывая книгу Зибеля о средних веках, потешал читателя обещанием, что будет излагать факты «объективнее самого г. Гончарова»! Один во всей литературе, этот молодец вот уже несколько лет подряд безнаказанно травил и унижал Ивана Александровича!

Хорошо еще, что он выдал себя, и все увидели, кому он служит, — не то, чего доброго, поверили бы в искренность такого неколебимого презрения. Право, это со стороны Тургенева просчет: не стоило доводить до того, чтобы его подручному говорили печатно, и не где-нибудь, а в «Современнике»: о недоносок благосветловский, о недоразвившееся дитя г. Тургенева, о скудоумный г. Писарев! И как не сказать! И слепому ясно, что это значит, если человек — невидимый, между прочим, и надежно защищенный от попыток литературного возмездия званием политического заключенного, — если этот человек, опять-таки один во всей литературе, объявляет «Отцов и детей» величайшим произведением, а их автора — своим учителем и руководителем!

Но скудоумный он или слабоумный, а свое дело знает: кусает больно, а ничего другого от него и не требуется. Лишь бы Гончарову не хотелось жить, не хотелось создавать… Ну что же, господа, вы победили, Гончаров бросает перо, и пусть его незавершенный труд так и называется — «Неоконченный роман»; потомство нас с вами рассудит, только жаль, что с опозданием, и вы не почувствуете стыда. Но все-таки — за что? Кого и чем

оскорбил я умышленно? За что ловить меня, как зайца, и травить собаками, и раскидывать повсюду тенета, и расставлять западни? Какая злобная, несправедливая, бессмысленная шутка!

Нарядный закат пылал над океаном, но Иван Александрович, погруженный в горькие мысли, ничего не замечал, и гуляющие на эспланаде ускоряли шаг, поравнявшись со скамейкой, на которой сидел с закрытыми глазами этот невысокий толстенький господин в седых бакенбардах и пристанывал сквозь зубы, и бормотал на неизвестном языке.

— Что-то, Верочка, в толк не возьму: скудоумный я все-таки или слабоумный?

— И то и другое, и просто глуп, и даже глупейший человек в мире. А также — дай бог памяти — болтливый фанфарон. Пишешь заученными фразами, как попугай, читаешь безо всякого соображения, как гоголевский Петрушка… А еще ты — умственное убожество и ловкий лицемер!

— Убожество — так и следует. А лицемер-то почему?

— А кто в студентские годы обманывал профессора: переводил брошюру Гайма и даже делал из нее извлечение, ни понимая ни аза?

— Да, действительно… Стало быть, и «Университетскую науку» приплел? Надо же. Это ведь шестьдесят третий год, мы тогда еще жили, можно сказать, душа в душу. То есть не мы, конечно, а «Русское слово» с «Современником».

— Знаешь, я думаю, он все твои статьи вырезает и хранит, вот как мы с Катей. Втайне восхищается, вслух бранится. Это своего рода любовь. Больше всего на свете ему, наверное, хотелось бы с тобою подружиться, — или чтобы ты его, по крайней мере, не презирал.

— Да кто его презирает, Антоновича! Сам напрашивается на щелчки. Не лез бы с нотациями, никто бы его не трогал. Этакая страсть поучать — у человека, не умеющего думать! Ну если не дал бог таланта и умом наделил самым узеньким, почти из одной памяти состоящим, — зачем ввязываться в полемику? Преподавал бы географию или книжки хорошие переводил, — какие познания зря пропадают! Вспыльчивый зубрила, вот он кто! Я шучу, а он ругается. Только и умеет. Прочитал «Реалистов» — написал «Лжереалистов». Я, каюсь, ему «лукошко глубокомыслия» преподнес, — но он-то в ответ ничего другого не нашел, кроме «бутерброда глубокомыслия». Бедняга!

— Это у него система, он ее даже обнародовал, когда сражался с Достоевским; наказывать всякую литературную ракалию тем же оружием, которым она сама согрешает. Вот и ты:

согрешил бутербродом — и получил бутерброд.

— Я-то ладно, съем и не поморщусь, но по этой системе он старого писателя, потерявшего здоровье на каторге, издыхающей тварью обозвал!

— Но и Достоевский ему показал, где раки зимуют! Что он сделал и с Антоновичем, и со Щедриным, — я бы на их месте просто умерла.

— На меня, между прочим, сослался Достоевский, даже не раз: дескать, вам это все еще прежде было говорено.

— Кстати, ты про фигу знаешь?

— Про какую еще фигу?

— Обыкновенную. Которую ты целуешь.

— Что, что такое?

— Так и думала, что эту прелесть ты проглядел. Вот, выписала даже. Это было в декабрьской книжке «Современника» за прошлый год. Слушай: «Господин Тургенев показал „Русскому слову“ фигу, оно целует — в журнале напечатано почему-то: цалует — эту фигу, приняло ее за идеал, за комплимент, разыскивает на этой фиге все идеи и свойства молодого поколения, водяным настоем этой фиги разбавляет свои статьи…»

— Хоть бы перечитывал на свежую голову. Кулдыкает, как индейский петух, себя не слыша. Водяной настой фиги?

— «…берет эту фигу за модель и образец всего своего миросозерцания. „Современник“ хотел образумить „Русское слово“, показать критикам „Русского слова“, что они держат в руках и лобызают не идеал молодого поколения, а тургеневскую фигу, тургеневскую куклу, выставленную для осмеяния. И вот за это-то „Русское слово“ и бранит критику „Современника“». По-моему, звучит очень жалобно. Видишь, тебя образумить хотели, а ты какой неблагодарный.

— Ничего, отблагодарю еще, долго ждать Антоновичу не придется. Ишь, весельчак. Это тоже он мое выражение передразнивает. Помнишь, было в какой-то статье: фига озорства? Ну, ладно же. То, что я сейчас пишу, как раз называется: «Посмотрим!». Вот и посмотрим. А о «Пушкине и Белинском» помалкивает?

— Что ты! О чем же Антонович промолчит? Комически-нелепая, говорит, статья, из которой видно, что ты не понимаешь историю нашей литературы.

— Вот как. Это мнение, кажется, довольно близко к тому, что вы с maman мне высказывали. Ведь ты согласна с первым критиком «Современника», признайся?

— Нисколько не согласна, не выдумывай. Пушкина не

разлюбила, в этом сознаюсь. А написал ты о нем удивительно, не хуже Белинского. И maman так же считает.

— И тоже не разлюбила.

— Ты столько перестрадал в жизни, Митя, столько передумал. Неужели ты не убедился, что никакой ум, никакой реализм не сладят с любовью?

— Я убеждаюсь, что ты защищаешь не Пушкина, а подполковника Соколова. Но ведь на него нападаю не я, а все тот же храбрый портняжка — Антонович. Я бы не решился. Связываться с человеком, который выберет для ответа название: «Маску долой!»…

— Ничуть не опасней, чем с человеком, который напишет: «Посмотрим!». Зачем ты меня сбиваешь? Николай Иванович тут ни при чем. Я люблю его, это правда, и не скрываю ни от кого. А он влюблен в одну даму, которая живет в Париже и любит кого-то другого, должно быть, своего мужа. Это все не так уж весело, и кто-кто, а ты… Но я как раз хотела о Пушкине, о твоих статьях. Ни по одному пункту я не сумела бы тебе возразить. И никто не умеет, хотя некоторые прямо задыхаются от негодования. Минаев эпиграмму сочинил: «Явился Писарев Дантесом и вновь поэта расстрелял!».

— А Дмитрий Дмитрич, стало быть, — Лермонтов: заклеймил убийцу гневными стихами!

— О да, Лермонтов, только дуэлям на пистолетах предпочитает английский бокс. Так я говорю: возразить нечего. Ни один мыслящий человек теперь, после твоих статей, не скажет: я Пушкина не только люблю, но и понимаю, — пока не объяснит, не другим, так самому себе, убийство Ленского, «Бородинскую годовщину» и ей подобные стихотворения, и еще эти строчки: бичи, темницы, топоры — довольно с вас, рабов безумных…

— Да уж. Но почему — теперь? Разве Добролюбов еще семь лет назад не высказался начистоту об этих темницах и топорах и о чрезмерном уважении Пушкина к штыку? А Чернышевский, еще раньше, разве недостаточно ядовито заметил, что «Чернь» выразила всегдашний образ мыслей великого поэта? Уж не говорю о покойном Панаеве… «Современник» давным-давно стоит на этой точке, почему же именно из-за меня переполох, именно я удостоен производства в Дантесы?

— Должно быть, они не договаривали до конца. Впрочем, Добролюбова я тогда еще не читала. Но все равно, Митя: Пушкин написал семь томов, а ты осуждаешь его за несколько страниц или даже строк. Это несправедливо. Мне кажется, найдется когда-нибудь такая точка, с которой Пушкин виден весь. Как Петербург

с колокольни Исаакиевского собора.

— Ты поднималась на колоннаду? Одна? И не страшно было?

— Николай Иванович за руку меня держал.

— Как я завидую! В первый же день, как выпустят, прямо отсюда поеду и тоже поднимусь, непременно. Вот где, я думаю, свобода! Мне даже снится, как я туда взбираюсь — но как-то странно, почему-то все бегом, по темным лестницам, по ярким галереям, все вверх, вверх, как бы взлетаю по спирали, кругами над городом парю. Самое занятное в этом сне, что я его не вижу, а как будто читаю, — нет, не так: мне читают по книге очень знакомым голосом и очень торопливо. И я понимаю, что сплю, и слышу голос и каждое слово, замечаю слог и слежу за действием. Но все действие в том, что я бегу, — и я бегу!

— Чей же голос?

— Мой собственный, разумеется. Вероятно, бормочу во сне. Узнаю свой голос и просыпаюсь.

— И тебе страшно?

— Как сказать? Пробуждение тоскливое, и сердце сильно бьется. А сам по себе сон хоть куда. Вроде бы я там от кого-то убегаю, но этот кто-то, на мое счастье, такой медлительный, что все время отстает. Во всяком случае — не приближается. Я почти без усилия опережаю его на целый ярус, он мелькает внизу, и ему меня не догнать. Но это в сторону. Так вот, чтобы в мышлении подняться на такую высокую точку, надо вам, сударыня, смирить ваше влюбчивое сердце и назначать свидания пореже, а в освободившееся время одолеть «Курс положительной философии» Конта. С этой высоты наш маленький, миленький Пушкин неразличим, но зато открывается судьба человечества и долг человека. Мы слишком буквально приняли у Бокля, что история представляет собою борьбу знания с невежеством. Нам рисовалось невежество как пустое, неосвещенное пространство в человеческом уме, как пещера, населенная призраками, которые при свете исчезают без следа, ведь они даже и не существуют, а лишь мерещатся. Но это тоже заблуждение. Будь это так на самом деле, прогресс давно бы победил. Невежество — не пещера, но цитадель, перед которой сорокинская твердыня — простая чижовка. Она окружена морем иллюзий, она охраняется Авторитетами, закованными в броню, над которою столетиями трудятся в душном, неподатливом мраке две зловещие сестры — грациозная Эстетика и величавая Религия…

— Похоже на сказку про Кощеево царство, железное государство.

— Правильно, очень похоже. И весь вопрос в том: где искать Кощееву смерть? Где спрятана эта иголка, которую надо

переломить?

— Ты догадался?

— По-моему, да. Позавчера, восьмого октября, начал статью об исторических идеях Конта. Главное будет в октябрьской книжке.

— А как же это, «Посмотрим!»?

— Сочиняю две статьи разом, вперемежку. Четыре листа одной, пять — другой. А всего за этот год знаешь сколько написано? Почти шестьдесят печатных листов! Бери пример: что значит забыть о глупостях!

…На письмо твое должен сказать:
Не за картами гну теперь спину.
Как изволите вы полагать.
Отказавшись от милой цензуры,
Погубил я досуги свои, —
Сам читаю теперь корректуры
И мараю чужие статьи!
Побежал бы, как школьник из класса,
Я к тебе, позабывши журнал,
Но не знаю свободного часа
С той поры, как свободу узнал!..
Пусть цензуру мы сильно ругали.
Но при ней мы спокойно так спали,
На охоте бывать успевали
И немало в картишки играли!
А теперь не такая пора:
Одолела пииту забота,
Позабыл я, что значит игра,
Позабыл я, что значит охота! —
Потому что Валуев сердит,
Потому что закон о печати
Запрещеньем журналу грозит,
Если слово обронишь некстати…

Поступившая из дирекции почтамта сводка сведений, добытых при перлюстрации частной переписки за октябрь-ноябрь, заканчивалась этим отрывком. Петр Александрович Валуев, министр внутренних дел, прочитал его с улыбкой и распорядился, чтобы стихи переписали на отдельном листке небольшого формата. Пожалуй, стоило обдумать, не вклеить ли их в изящно переплетенный in-quarto, в котором Петр Александрович по ночам рассказывал потомству о своей трагической роли в русской истории. Сами по себе стихи, может

быть, этого и не заслуживали — много чести (шутка Гончарова, заметившего, что поэзия Некрасова — рогожа, вышитая шелком, — заключала в себе, по мнению министра, большую долю истины: разве что качество шелка вызывало сомнение); но тот факт, что наши soit disant[30] передовые журналисты сознали наконец-то необходимость взяться за ум (не поздно ли? Ну, да лучше поздно, чем никогда) — безусловно, следовало считать знаменательным. Указ 6 апреля миновал пору цветения и начал приносить первые плоды. Этот указ был в полном смысле слова любимым детищем Валуева. В отличие от двух других великих реформ, в проведении которых Петр Александрович принимал непосредственное участие, — крестьянской и недавно объявленной земской, — цензурная осуществлялась в точном соответствии с его предположениями, можно сказать — носила на себе отпечаток его личности. Вот и результаты не замедлили явиться. С двумя предостережениями на шее «Современник» очень и очень подумает над составом следующей книжки. Вот и пускай думает. Пускай-ка редакция сама, добровольно возьмет на себя обязанности предварительной цензуры и знаменитый демократический поэт под страхом самое малое двадцатитысячного убытка (неизбежного в случае приостановки журнала) сам урезонивает своих обнаглевших сотрудников. Охота и карты подождут, причем недолго, потому что какой толк марать чужие корректуры, если в минуты отдыха от этого душеспасительного занятия сочиняешь стихотворения вроде «Газетной» или «Железной дороги»? Гончаров, правда, пытается по старой дружбе выгораживать Некрасова: дескать, в его стихах столько натяжек и преувеличений, такая вопиющая односторонность, что даже юношество относится к ним недоверчиво, а значит, для общества они безвредны. Но это аргумент не из сильных, просто Иван Александрович, как он сам о себе с гордостью говорит, литератор de pur sang[31] и, как таковой, не может не поглядывать в лес. Он сам понимает, что не прав, и, выказав для порядка благородство души, затем проголосовал за второе предостережение безропотно. Но все-таки… Ах, эти литераторы!

Еще слава богу, что удалось сплавить старика Никитенко. В цензуре при новом порядке вещей делать ему было нечего: слишком любит распространяться насчет достоинства литературы; и потом, доверять дневнику неодобрительные суждения не о ком ином, как о министре внутренних дел («пошляк», «дурак» и прочее), — по меньшей мере наивность. Петр Александрович сумел бы стать выше личного самолюбия, будь это нужно для дела; но тут обстояло как раз наоборот: с

какой стати допускать на заседания Совета Главного управления соглядатая, который дотошно перескажет потомству, что там происходит? Да и зачем потомству такие подробности? Совершенно ни к чему. А крупные события и главные черты эпохи оно найдет в изящных томах in-quarto, причем слог этих «Отрывков», можно смело надеяться, будет оценен читателями двадцатого столетия повыше, чем плоская болтовня академика из бывших крепостных. О да, талант не дается происхождением, это так, но когда они соединяются в одном лице, и пра-пра-правнук боярина, бывшего рядом с Димитрием Донским на поле Куликовом, — писатель, о романе которого (увы, далеко еще не конченном!) даже не склонный к восторгам Гончаров кричит: «Изумительно!» — словом, когда Петр Валуев берется за перо, чтобы раскрыть тайны царствования, известные ему из первых рук, как выдающемуся политическому деятелю, — тогда мы вправе ожидать, что получится произведение необыкновенное. И пускай люди будущего рассудят, кто был настоящий литератор, а кто — пошляк. Никитенко-то, возможно, еще и сам одумается: чин тайного советника и чувствительная прибавка к пенсии подсластят пилюлю, и старик поймет, что с ним обошлись великодушней, чем следовало бы.

Вот странность: ведь Петр Александрович знал, что никто его не любит, он привык к этому, даже слегка бравировал равнодушной готовностью к чужой неприязни, — все же не зря во время оно приятельствовал с Лермонтовым и зачитывался «Героем нашего времени», а теперь писал роман «Лорин», — но порою до тайных слез обижало его нежелание окружающих сознаться хотя бы самим себе в истинной причине этой неприязни. Причина заключалась просто-напросто в том, что он был умнее их всех, начиная — horribile dictu[32] — с государя и кончая… да все равно… Все они чувствовали умственное (и моральное!) превосходство Петра Александровича, но вызываемое этим превосходством естественное недоброжелательство оправдывали нелепыми наветами, противореча друг другу до последней степени. Одни называли его педантом, другие — фразером; говорили, что он либерал; что он крепостник; что он консерватор; что он красный; нынешний наследник престола изволил величать его (за глаза, впрочем) не иначе, как Краснопевцевым; а Герцен в своем листке прозвал его: «Валуев-ценсура»…

Все с той же слабой улыбкой, усталой и насмешливой, на твердых бесцветных губах Петр Александрович придвинул поближе и раскрыл журнал заседаний Совета Главного управления. Что же, он не умел и не желал внушать симпатию;

зато он умел подбирать людей, использовать их, управлять ими, умел заставить их выслушать его и послушаться. Во дворце, к сожалению, это удавалось не часто, зато в министерстве — всегда. Совет, например, буквально с первых дней своего существования принялся беззаветно осуществлять замысел Петра Александровича. За три месяца объявлено было четыре предостережения, и то лишь потому, что крайний орган нигилистической пропаганды — «Русское слово» — непростительно запаздывал и первый бесцензурный нумер, октябрьский, вышел только теперь, в середине декабря. Будь Благосветлов столь же щепетилен с подписчиками, как Некрасов, — предостережений сегодня насчитывалось бы уже не менее шести. Причем если газетам — «Петербургским ведомостям» и «Голосу» — они были даны скорее в целях педагогии, а попросту — для острастки, ну, и чтобы слегка затушевать главную цель, — то «Современнику» и «Русскому слову» надеяться было, по существу, не на что. Социалистическая пропаганда не может быть терпима даже в таком неблагоустроенном государстве, как Россия, и Петр Александрович ясно выразил Совету Главного управления свое непреклонное намерение — в кратчайший срок привести эти журналы к молчанию. Вот, наконец, появилось на арене и «Русское слово», и любо-дорого было смотреть, как впился в него честный Гончаров. Никогда еще на памяти министра не проявлял этот весьма осторожный чиновник такого рвения. Чего-чего только не открыл он в статье некоего Писарева! В отзыве своем Иван Александрович далеко превзошел проницательностью и горячностью цензора Скуратова, да и весь столичный цензурный комитет, председателю коего, кстати говоря, не повредила бы небольшая головомойка. Они там, в комитете, поняли свою роль чересчур уже формально: отметили в статьях Писарева, Соколова и Зайцева с десяток сомнительных мест и сообщили в Главное управление, что, хотя нарушение закона налицо, статьи «по изложению своему не представляют вполне достаточного повода к судебному преследованию». Остальное, дескать, на благоусмотрение Совета Главного управления…

Зато Гончаров разобрал статью «Новый тип» — видимо, самую дерзкую из всех — с подлинным талантом. Он описал ее как поразительный образец крайнего злоупотребления ума и дарования. Он произнес в заседании настоящую инвективу против «Русского слова» и особенно против этого Писарева: говорил о софизмах, парадоксах и заносчивой претензии, о безмыслии, незрелости и жалком самохвальстве вольнодумства, о блеске лжи, о ребяческом, доходящем до абсурда, рвении

сотрудников «этого жалкого органа прессы» провести в публику запретные плоды «новых и соблазнительных всего более для них самих и для юных неразвитых умов читателей, а в сущности уже по достоинству оцененных здравыми умами и наукой, жалких и несостоятельных доктрин материализма, социализма и коммунизма…»

Большой, серьезный, благонамеренный писатель может оказать делу порядка неоценимые услуги. Иван Александрович в сегодняшнем заседании своим примером это доказал. Он представил этого Писарева так, что присутствовавшие как бы воочию узрели самонадеянного юнца, не без дарования и с живой, выработанной речью, но лишенного каких бы то ни было нравственных устоев.

Конечно, маститый художник мог бы и не принимать ничтожную статейку о романе «Что делать?» так близко к сердцу и не тратить на нее столько творческого огня. «Русское слово», кто бы что бы о чем бы там ни писал, все равно обречено богам, и Гончаров навряд ли мог в этом сомневаться. Но именно то, что он говорил и действовал не в угоду министру, а по задушевному убеждению, придавало его выводам особую ценность. Заключительный вывод был такой:

> «Не стоило бы карательной цензуре относиться строго к этому буйно-младенческому лепету, но в большинстве публики найдутся, конечно, немало молодых мечтателей, которые не отнесутся так легко к увлечениям Писарева и, пожалуй, примут их на веру…»

Итак, Гончаров предложил объявить журналу «Русское слово» первое предостережение, и Совет Главного управления единодушно его поддержал. Как видно, процветанию господина Благосветлова приходит конец. Ловкий человек, настоящий фификус[33], такие нравились министру внутренних дел, такие люди нужны — при условии, что они выберут себе какой-нибудь промысел безобидный. Ведь как обустроил свои дела — и не зацепишь его: редактором числится Благовещенский, типография принадлежит якобы Рюмину, книжный магазин при «Русском слове» записан на кого-то еще, а сам Благосветлов — только держатель издательских прав (полученных притом безвозмездно), только домовладелец, и состоятельный, и с немалым кредитом…

Неуловим — и, вероятно, благонадежен. В позапрошлом году подсылали к нему агента из способнейших, бывшего студента-технолога (фамилия Волокитин, псевдоним — Волгин), с бойким пером. Насказал он сорок бочек арестантов: и прокламации-то Благосветлов печатает, и комитетом революционным

заправляет, — а на поверку только и оказалось, что отклонил грубый редактор волокитинскую статью, ну а Волгин, как многие люди его призвания, ставил истину не выше справедливости. Пришлось на время оставить Благосветлова в покое. Но теперь это время прошло, он и сам чувствует. После 6 апреля и особенно после появления из-за границы подполковника Соколова редакция, по достоверным сведениям, объята раздором. Благосветлов, подобно Некрасову, учредил нечто вроде домашней цензуры. Сотрудники восстали, предъявили ультиматум, фификус пошел на уступки… Что-то такое было в начале октября в газетах о том, что отныне журнал превращается как бы в общую собственность подписчиков и редакции, а издатель не только не стесняет сотрудников, но еще и обязан представлять и печатать отчеты о своих доходах и расходах. Но, как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло, и первого декабря Соколов и Зайцев напечатали в «Голосе», что «самовольные действия гг. Благосветлова и Благовещенского, прямо противоречащие заявленным ими принципам издания журнала, вынуждают нас отказаться от желаемого участия в „Русском слове“». И в постскриптуме: «То же самое уполномочил нас сообщить от своего имени и Д. И. Писарев».

Так вот это какой Писарев! Он сидит в крепости и сам посылать заявления в газеты не может (а печатать в журналах?)! Это, видимо, тот самый, автор прокламации, в которой говорилось, что министры, подобные Валуеву, империю не спасут…

Ну что же, может быть, и не спасут, тем более что Валуев один и подобных ему что-то не видно. Петр Александрович давно устал изображать Лебедя и, противодействуя Щуке и Раку, напрасно хлопать крыльями над неподвижным возом. Поклажа непомерно тяжка. Он уже четыре года пробыл министром и не далее как две недели назад умолял государя об освобождении от этой, как он выразился, умственно-арестантской работы, хотя без двенадцатитысячного жалованья и казенной дачи на Каменном острове обойтись было бы нелегко. Петр Александрович предпочел бы уехать послом в Англию или Францию и, обретя некоторый досуг, заняться литературою. Но государь не соизволил на это; напротив, он требовал, чтобы Петр Александрович сам признал, что на своем посту незаменим. Уклоняться не приходилось; можно было назвать людей более приятных (Шувалова, к примеру), но более полезных — просто не было. Небогаты мы людьми. И Валуев остался министром. А раз остался — он будет служить империи, как служил всегда: без страха и упрека; только так подобает поступать дворянину,

которого обессмертил Пушкин в «Капитанской дочке» под именем Гринева. Ни дня без поступка! И не взыщите, молодой человек, что сегодня, девятнадцатого декабря, поступок будет не совсем для вас выгодный…

Размышляя в этом роде, Петр Александрович Валуев, министр внутренних дел, просмотрел остальные бумаги по Главному управлению, а потом написал распоряжение, которым обязал г. д. с. с. Гончарова составить текст предостережения журналу «Русское слово» и озаботиться его опубликованием в завтрашней «Северной почте».

> «Принимая во внимание, что в журнале „Русское слово“ (№ 10) в статье „Новый тип“ (стр. 4, 8, 10, 13 и 26) отвергается понятие о браке и проводятся теории социализма и коммунизма; статья же „О капитале“ (стр. 50–62) враждебно сопоставляет класс собственников с неимущими и рабочими классами, а в повестях „Три семьи“ (стр. 113–115) и „Год жизни“ (стр. 224–227) высказываются проникнутые крайним цинизмом отзывы об основных понятиях о чести и о нравственности вообще, — Министр внутренних дел на основании ст. 29, 31 и 38 Высочайше утвержденного 6 апреля сего года мнения Государственного Совета и согласно заключению Совета Главного управления по делам печати определил: „объявить первое предостережение журналу „Русское слово“ в лице издателя, кандидата прав, Григория Евлампиевича Благосветлова и редактора, окончившего курс в С.-Петербургской Духовной семинарии, Николая Александровича Благовещенского“».

Сообщение в газете от двадцатого декабря переполнило чашу терпения инженер-генерала Сорокина. Кому-кому, а господину коменданту было отлично известно, чья это статья отвергает понятие о браке! Между тем его высокопревосходительство уже дня три как пребывал в сильнейшей ажитации, именно из-за Писарева. Из последнего письма осужденного к мамаше явствовало, что нашелся умник, предложивший ему, ни много ни мало, две с половиною тысячи рублей за полное собрание его сочинений! И добро бы это был книгопродавец, издатель, какой-нибудь Благосветлов, — ничуть не бывало! Не издатель и не литератор, а отставной артиллерии поручик, о котором и сам Писарев услыхал впервые в жизни, — некто Павленков — брался выдать в свет все статьи восемью выпусками, каждый ценою в рубль. Оставалось только надеяться, что он имел в виду барыш, а не распространение безнравственных учений, но верилось в это с

трудом, выбор был чересчур неизвинительный: неужто в России нечего больше печатать? Притом непонятно было, как дошло до Писарева это предложение. То есть очень понятно: через сестрицу, — но какова дерзость?

Осужденный, ясное дело, ног под собою не чуял от радости.

> «Ну вот, мама, — писал он, — ты все не верила, что твой непокорный сын может сделать кое-что и хорошего, такого, по крайней мере, что бы люди очень ценили и чем бы они очень дорожили. Ан вышло, что ты ошибалась, да еще как! Где это видано, чтобы издавалось полное (заметь, maman, полное, а не „избранные“ и пр.) собрание сочинений живого, а не мертвого русского критика и публициста, которому всего 26 лет и которого г. Антонович считает неумным, Катков — вредным, Николай Соловьев — антихристом и пр. Признаюсь, мне это приятно, что издают, да еще деньги за это платят, которые нам теперь совсем не лишние. Заживем, мамаша, заживем, да еще как. Предчувствую, что еще несколько лет работы, и я так высоко заберусь на литературный парнас, что ты, и Верочка, и Катя станете звать меня не Митей уже, а Дмитрием Ивановичем…»

Сорокин, пожалуй, даже себе не мог объяснить хорошенько, что так оскорбительно задевает его во всей этой истории. Он только мечтал, мучительно мечтал о той минуте, когда молодчик запоет по-другому. И ознакомившись с распоряжением министра внутренних дел, решил, что минута эта наступила.

Накануне рождества Писарева водили в баню, устроенную в Невской куртине. А когда привели обратно, он сперва было не узнал своей камеры…

> «Ваша светлость. К Вам пишет из каземата Петропавловской крепости человек, облагодетельствованный Вами, и пишет он не затем, чтобы просить себе у Вашей светлости новых благодеяний.
>
> Ваша светлость изволили доставить мне, кандидату университета, Дмитрию Писареву, содержащемуся в Петропавловской крепости с 3 июля 1862 г., возможность писать и печатать статьи в журналах. В течение двух с половиной лет (от июня 1863 г. до декабря 1865 г.) я пользовался беспрепятственно великою милостью, дававшею мне возможность кормить мать и сестер.
>
> Во все это время я постоянно получал и держал у

себя в каземате все дозволенные в России книги и периодические издания, которые мне были необходимы для моих работ.

С конца декабря нынешнего года все переменилось.

Крепостное начальство отобрало у меня все мои книги, и я хожу теперь по каземату из угла в угол, не зная, что делать, не зная, чем будет существовать мое бедное семейство, и не умея понять, чем я мог навлечь на себя такое тяжелое наказание.

Лучшие годы моей жизни проходят в каземате. Я об них не жалею, я не прошу освобождения. Я знаю, что виноват, и несу с полной покорностью заслуженное наказание.

Но об одной милости умоляю Вашу светлость, и эту милость я готов вымаливать себе на коленях и со слезами: не лишайте меня возможности учиться и работать, не закрывайте раскаявшемуся преступнику единственной дороги к полному исправлению и к новой жизни, разумной, полезной и скромной.

Вашей светлости известно, что невежество составляет настоящие причины тех мечтаний и увлечений, от которых погибает добрая и честная молодежь.

Вашей светлости известно, что образование есть самое надежное оружие против опасных заблуждений.

Будьте же великодушны: позвольте мне по-прежнему употреблять долгие дни моего заключения на приобретение полезных знаний, на развитие моего незрелого ума и на работу, доставляющую пропитание моей больной матери и моим сестрам.

Положение моего семейства в настоящую минуту тем более печально и затруднительно, что издатель „Русского слова“ г. Благосветлов, пользуясь моим заключением, на днях обманул меня при окончательном расчете, с лишком на 400 р. Вследствие этого неожиданного дефицита работа моя становится еще более необходима, чем прежде.

…Легко может быть, что письмо мое бессвязно. В таком случае прошу Вашу светлость великодушно извинить меня. Вы можете себе представить, князь, как тяжело ложатся все эти огорчения на человека, потрясенного уже тремя с половиной годами одиночного заключения. У меня ужасно болит голова, путаются мысли, и я страдаю бессонницей, так что в сутки мне

удается заснуть всего на 2 или 3 часа…

Умоляю Вашу светлость упрочить за мною благодеяния, которые уже дарованы мне Вашим великодушным заступничеством. Я буду совершенно счастлив, лишь бы у меня не отнимали того, что мне было дано Вашей светлостью.

С глубочайшим уважением и беспредельной преданностью имею счастие быть облагодетельствованный Вашей светлостью

Дмитрий Писарев. 1865 г. Декабря 26 дня».

Инженер-генерал был очень доволен и на копии письма, препровожденной в Третье отделение, сделал карандашом игривую надпись: «После дождя хорошая погода», — знал, что там умеют оценить шутку.

Само письмо, памятуя, так сказать, уроки прошлого, утаить от генерал-губернатора Сорокин не решился, переслал; только приложил объяснительную записку, в которой расписывал привольное житье Писарева в крепости (свидания с матерью и сестрами до четырех и более раз в месяц), напоминал, что его статьи заслужили общее неодобрение, и, непреднамеренно каламбуря, оправдывал принятые по отношению к осужденному «некоторые меры предосторожности» — министерским предостережением, объявленным журналу «Русское слово».

«Писарев не только не ценит делаемого ему в Санкт-Петербургской крепости снисхождения, — с тонкой укоризной отмечал комендант, — но не желает понять и того, что, если бы не милостивое участие к нему Вашей светлости, должен был бы содержаться в Шлиссельбургской крепости, где свидания с родными и литературные занятия были бы не так возможны, как здесь».

Сорокин получил от Суворова нагоняй. Книги и письменные принадлежности были Писареву возвращены. Старый комендант не трогал его больше, даже избегал посещать его камеру. Инженер-генерал Сорокин много чего испытал на своем веку и научился ждать. Он верил, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Одиннадцатая книжка «Русского слова» вышла в самом конце года, и второе предостережение журналу было объявлено восьмого января. Справедливости ради необходимо заметить, что

на этот раз Иван Александрович Гончаров с ожесточением возражал против такой меры. Он приготовил проникновенный разбор статьи Писарева «Исторические идеи Огюста Конта», которая оказалась, по его словам, самой замечательной в цензурном отношении.

Ни один критик, ни один философ не сумел бы передать пафос писаревской статьи так изящно и точно, так просто и кратко. Гончаров выбрал из нее три страницы, но таких, где главное убеждение автора — что будто бы вся история человеческой мысли представляет колоссальную борьбу рассудка с воображением — высветилось до дна.

Пересказав эти три страницы всего четырьмя абзацами и подчеркнув употребленные Писаревым иносказательные обороты, Иван Александрович неожиданным и блестящим приемом — как искусный анатом — вскрыл их внутренний смысл:

> «Я прошу позволения прочесть эти три страницы вполне, чтобы решить, согласно ли будет мнение г. Председателя и гг. прочих членов Совета с моим заключением о том, что автор под именем средневековой и традиционной доктрины разумеет не иное что, как христианскую религию вообще, и что последнее, приведенное мною выражение автора: „средневековая организация теократической власти“, очевидно относимое им к светской власти пап, не уничтожает его первого вывода (стр. 226) о том, что средневековая доктрина (т. е. христианство) есть не что иное, как плод воображения и уступка рассудку.
>
> Если, несмотря на замаскированную диалектику автора, вывод будет ясен и для всех гг. членов Совета, то само собою разумеется, что такое явное отрицание святости происхождения христианской религии подвергает автора и редакторов журнала ответственности по суду на основании I ч. тома XV Свода законов».

Идея была довольно смела, и, предвидя возможные возражения со стороны тех, кто предпочел бы уже проторенный путь, Иван Александрович выдвинул в ее пользу два соблазнительных аргумента. Один состоял в том, что новое предостережение «миновало бы наказанием главного виновника, т. е. автора означенной статьи г. Писарева, который, как объявлено в этом и других журналах, вместе с некоторыми сотрудниками отделился от редакции; тогда как по суду он первый был бы подвергнут ответственности».

Второй аргумент рассчитан был на то, чтобы заинтересовать министра: статья Писарева представляет собой капитальное нарушение законов о печати, и, кажется, нельзя сомневаться, что она послужит для судебной власти достаточным поводом «принять относительно „Русского слова“ решительную меру, которая разом положила бы предел вредной пропаганде этого журнала».

Однако ни Совет Главного управления, ни министр не согласились на судебное преследование. Дело это было новое, совершенной уверенности в положительных результатах не внушало, требовало составления многочисленных бумаг и грозило промедлением. Синица в руках предпочтительнее журавля в небе. Если бы Писарев действительно получил за свою статью хоть пару лет каторги, то подобный афронт, конечно, приструнил бы пишущую братию… Но оттягивать ради этого прекращение «Русского слова» все-таки не хотелось: ведь журнал можно было остановить буквально недели через три, как только появится декабрьская книжка.

Гончаров смирился с решением коллег, но затаил обиду. И о декабрьской книжке отозвался сдержанно:

> «…замечательный образец журнальной ловкости — остаться верною принятому направлению, не подавая поводов к административному и еще менее к судебному преследованию».

В отзыве сквозил упрек: не воспользовались удобным случаем, упустили — вот и ожидайте теперь «первейшего повода». (Статей Писарева не было в этой книжке. Была статья Д. Рагодина, и мог ли знать Иван Александрович, что это псевдоним?)

Валуев вышел из себя, потребовал письменных объяснений, — Гончаров их представил… Словом, дело затянулось до февраля, когда наконец-то был отпечатан январский нумер «Русского слова» за 1866 год. Двенадцатого февраля вечером экземпляр был доставлен к цензору Скуратову, а шестнадцатого в 3 часа 35 минут пополудни Благосветлов и Благовещенский уже давали полицейскому поручику подписку: «…предостережение „Русскому слову“ мы получили и немедленно обязываемся приостановить свое издание». Журнал был закрыт на пять месяцев — стало быть, до июля…

Бессонница и головная боль не оставляли Писарева с того достопамятного рождества. Он похудел, осунулся, стал как бы меньше ростом, будто лопнула какая-то пружина, распрямлявшая

тело, и оно всей тяжестью обвисло на позвоночном столбе. Самая короткая прогулка утомляла, мешанина крепостных шумов раздражала донельзя. И впервые за все время заключения больше хотелось читать, чем писать. Просто лежать на кровати с томиком Теккерея в руках, погружаясь в хитросплетение судеб вполне посторонних людей с иностранными именами, и с горячим участием следить, как они там, в своем сюжете, живут, хлопочут, спорят, влюбляются и так далее.

Зато реальные события, то есть сообщения о них из-за стен крепости (в самой-то крепости — что могло происходить?) — мало его занимали. Благосветлов, чтобы удовлетворить невольно обманутых подписчиков, затеял учено-литературный сборник «Луч», а в предвидении неизбежной гибели «Русского слова» подыскивал надежного человека, под фирмою которого можно было бы издавать новый журнал, с более солидным названием, например — «Дело». Павленков отпечатал уже три тысячи экземпляров первого выпуска собрания сочинений, а также объяснился Вере в любви. Маша Маркович написала Варваре Дмитриевне из Парижа, что ее возлюбленный Александр Пассек умирает (для завершения проекта о преобразовании русских тюрем ему оставалось изучить постановку дела в Англии и Ирландии, он поехал туда на занятые деньги, вернулся в последнем градусе чахотки: денег нет, книги нет, и жизнь кончена); Серно-Соловьевич умер в Сибири при каких-то странных обстоятельствах…

Все это доносилось до Писарева глухо, как бы сквозь слой воды. Ему и мерещилось иногда, что он тонет.

Однако же он работал; хотя и без прежнего вдохновения, но сравнительно много. За февраль окончил статью «Погибшие и погибающие» — три печатных листа. В марте написал замечательное сочинение: «Популяризаторы отрицательных доктрин». Это была не критика и не публицистика, и поверхностный читатель мог бы даже принять статью за пересказ книги Геттнера «История всеобщей литературы XVIII века», — или за извлечение, наподобие того, над которым корпел семь лет назад студент Писарев в Публичной библиотеке, за большим овальным столом, на диванчике, обитом красным плюшем… На самом же деле это было размышление о Литераторе — о роли, участи, целях, обязанностях этого персонажа человеческой истории, о его шансах уцелеть там, где общественное мнение «еще не привыкло вмешиваться постоянно в общественные дела и где весь строй существующих учреждений враждебен такому вмешательству»…

Пятого апреля во время утренней приборки солдаты поспешно и молча вынесли из каземата все книги, до единой, всю бумагу, чернила, перья. Пинкорнелли не появлялся. Незнакомый дежурный офицер вопросов и восклицаний Писарева словно не слышал, выдать хоть один лист бумаги — для жалобы на имя генерал-губернатора — наотрез отказался, на требование же пригласить коменданта отвечал так: «Его высокопревосходительство пожалует к вам в свое время».

…Сорокин пожаловал только через две недели. Мундир, усеянный орденами, отливал тусклым блеском, напоминая крылья какого-то исполинского жука, но выражение лица и вся повадка инженер-генерала были точь-в-точь как у Мышиного короля, изготовившегося для решительной схватки с Щелкунчиком. В глаза глядеть было невозможно — такая восторженная злоба светилась в них, — и Писарев стоял, потупясь, возле кровати, а комендант прочно уселся на табурет, упершись в колени ладонями. Долго разглядывал он понурую фигуру в зеленом байковом халате и громадных стоптанных туфлях, а потом произнес почти ласково, почти шутливо, словно бы наставляя неразумного мальчугана, — и только голос поскрипывал от ярости:

— Головной убор!

Писарев поспешно стянул с головы красную феску, сшитую по его просьбе Варварой Дмитриевной.

— Я желал бы знать, — начал он, — за какую новую вину…

— А вы помолчите, пока вас не спрашивают, драгоценный друг, — улыбнулся ему комендант Сорокин. — Я для того и посетил вас, чтобы все разъяснить раз и навсегда. А гадость эту вы бросьте-ка на пол. Бросайте смело, вам ее больше не носить. Арестантам полагаются мягкие фуражки, а если вы свою потеряли — пеняйте на себя.

Писарев молча положил феску на измятое одеяло.

— Итак, приступим к делу, драгоценный друг. Мне доложили, что вы докучаете офицерам и рядовым, умоляя их доставить вам хотя бы клочок бумаги и карандаш. Что такое вам не терпится написать? Новую статью, или, может быть, на стихи потянуло?

— Мне почему-то не дают законным порядком обратиться к его светлости князю Суворову, — проговорил Писарев.

Комендант подхватил весело:

— Ах, к его светлости? Это другое дело. Но отчего же именно к нему?

— Вы отлично знаете, — с досадой сказал Писарев. — Генерал-губернатор дозволил мне…

— В Петербурге больше нет генерал-губернатора.

— Так он умер? А вы, стало быть, на радостях решили потерзать беззащитного человека?

— Что еще за вы! — процедил Сорокин. — Не вы, а ваше высокопревосходительство. И если вы, молодой человек, еще хоть раз забудетесь, я вас познакомлю с крепостью поближе. Уверяю честью, найдутся уголки потемней этого каземата. Но с чего вы взяли, драгоценный друг, будто светлейший князь умер? — говорил комендант участливым голосом. — Он, как слышно, здоровехонек. Князь не оправдал доверия государя, и его должность упраздняется. Крепость отныне подчинена обер-полицмейстеру Санкт-Петербурга, его превосходительству генералу Трепову. Отчего бы вам не обратиться к нему? Или прямо к его сиятельству графу Шувалову — главному начальнику Третьего отделения? Вы ведь хотите жаловаться? Это ваше право, если только есть на что. С вами обращаются не по закону?

— Мне даровано высочайшее разрешение заниматься литературными трудами. А теперь я лишен всяких средств им воспользоваться.

— Разрешение высочайше отменено раз и навсегда. Еще какие имеете жалобы?

— Да что случилось-то?! — громко вскрикнул Писарев, изо всех сил удерживая нервическое рыданье. — Скажите хоть, что я такого сделал!

— Надо говорить — ваше высокопревосходительство, — мягко напомнил Сорокин, — бог с вами, прощаю последний раз. А случилось, изволите ли видеть, неслыханное злодейство. Четвертого сего апреля неизвестный человек на набережной у решетки Летнего сада стрелял в государя императора.

— И ваше высокопревосходительство полагаете, что это был я? — усмехнулся Писарев.

— Государь невредим, — словно не услышав, монотонно продолжал Сорокин. — Бог спас: простой русский мужичок отвел руку убийцы. Преступник схвачен, сидит у нас в крепости — видите, я от вас ничего не скрываю, — граф Муравьев его допрашивает.

Писарев старался дышать беззвучно.

— Преступник сперва назвался крестьянином Петровым, потом, кажется, Владимировым. Наконец обнаружилось, что его фамилия Каракозов, он дворянин. По некоторым сведениям — в родстве с известным Огаревым… Вот и все, — внезапно отрезал Сорокин. — И говорю я вам это только потому, что вы-то уж никому ничего не расскажете до самого конца срока заключения. Свиданий больше не будет, а сидеть вам еще, драгоценный друг,

ой как долго.

— Чем же виноваты моя мать и сестры? — глухо спросил Писарев. — Их-то за что казнить?

— Прекрасно, — похвалил его комендант Сорокин. — Прекрасно, что вы такой заботливый сын и брат. А еще лучше, что не спрашиваете, чем виноваты вы сами. Я, признаюсь, ожидал этакой, знаете, игры в невинность. Вы ведь у нас немного того, иезуит, не правда ли? Ах, мой незрелый ум! Ах, болезнь душевная! Головка бо-бо! Не отнимайте единственного лекарства: дайте книжечку заграничную почитать и по ней статейку тиснуть. От статейки моему семейству прибыль, а русскому юношеству — польза. Вот она, польза, вся теперь налицо!

— Это все, должно быть, очень остроумно… ваше высокопревосходительство. Боюсь, однако, что связь ваших идей даже для зрелого ума неуловима. На всякий случай заверяю, что фамилию — Каракозов — слышу в первый раз.

— Вот видите! — восхитился Сорокин. — Одна у вас погудка: знать не знаю, ведать не ведаю. О Каракозове слышите впервые, какой паинька. Ну а Рахметов?

— Что Рахметов? Никакого Рахметова не существует, это вымышленное лицо, персонаж романа.

— И верно. Как я запамятовал? Вы еще панегирик роману этому напечатали. Новый тип людей обнаружили там и превознесли. А роман назывался как?

— Вы на ложном пути, ваше высокопревосходительство, — нехотя сказал Писарев. — Случайное, отдаленное сходство фамилий ничего не доказывает. Да и сходства нет. Это все равно, что Орлов и… Воронов, или Гусев.

— Или Сорокин, правильно? — подхватил комендант. — Язык-то у вас, я гляжу, побойчей шевелится, ежели хвост прижать. Но вы не ответили, как находите название «Что делать?». Ведь чудесное, согласны? Для всех шалопаев и недоучек, для всех праздношатаек, для умственного-то пролетариата — чего же лучше? Полдня поваляться в постели, журнальчик листая, — и к обеду превзойдешь науку жизни. Кто недоумевал, чем бы ему заняться, — враз поймет! А у Чернышевского не вычитает — Писарев подскажет. Вот, мол, что надо делать: прежде всего купите-ка пистолет…

— Господи, какая дичь! То есть, я хотел сказать, ваше высокопревосходительство, что теперь, после реформы судопроизводства, подобное обвинение полагается доказывать. Это прежде…

— Прежде? — тоненько пропел инженер-генерал Сорокин. — Прежде, мой драгоценный, арестанты не писали романов, ни

статей, не проповедовали на всю Россию… Надеюсь, и впредь не будут, а пока что мы с вами обойдемся без адвокатов, без присяжных, по-домашнему. Я ведь не препираться сюда пришел, а единственно предупредить: овечья шкурка более вам не пригодится, никого не обморочите. Не питайте надежд, не пишите слезниц, и вообще постарайтесь, чтобы я о вас хоть на время позабыл. Я не позабуду, а вы все-таки постарайтесь, не шутя говорю.

— Только из-за того, что какой-то несчастный безумец или фанатик, неизвестно даже по какой причине, попытался…

— Опять за свое. Это вам-то неизвестно? А извольте-ка припомнить, какое число проставлено на последней странице романа «Что делать?». Под каким числом у него «Перемена декораций»? Не четвертое ли там апреля?

— Рукопись окончена в такой-то день, только и всего.

— Разумеется. А убийца выбрал этот самый день случайно или по наитию?

— Несчастное совпадение.

— Ах, так? Ну, вам виднее. Стало быть, вы не думаете, что чудовищный умысел был негодяю внушен чтением некоторых журналов?

— Я думаю, ваше высокопревосходительство, что это самая нелепая и вздорная клевета. Литература не обучает убийствам.

— Вон что… Ай-ай-ай! А его сиятельство граф Муравьев такой простак, поверил клевете. Требует уничтожить ваше «Русское слово», и «Современник» заодно, чтобы духу их не было. А сотрудников мне передает одного за другим: держите их, говорит, Алексей Федорович, построже. Скорее лягу в гроб, говорит, чем оставлю неоткрытым это зло. Тут не один человек, тут многие действовали. А я ему, как человек необразованный: правда, говорю, ваше сиятельство, подстрекатели опасней исполнителей, а мы их щадим. Есть у меня арестантик: тоже на цареубийство покушался — на словах, о, только на словах, в листке подметном, — так этот заключенный, говорю, с дозволения светлейшего князя почти три года излагал печатно свои воззрения обо всем на свете, о чем хотел. Так вы хоть теперь позаботьтесь о нем, просит меня граф. Я, натурально, обещал.

Он замолчал, отдуваясь. Молчал и Писарев.

— Напоследок, — заговорил опять комендант, и в руке его оказался листок бумаги, — я должен передать вам поклон от вашего божка, от Герцена.

— Мы незнакомы с господином Герценом.

— Это известно. Только портретик его держали на столе. Ну и читали, конечно. А он — вас. И вот что пишет. — Комендант

откашлялся. — «Зерна царского посева не пропадают и на каторге, они прорастают толстые тюремные стены и снегом покрытые рудники». Что, скажете, не о вас?

— Вот не знал, что в крепости получается «Колокол».

— Нарочно выписку взял из Третьего отделения. Послушайте далее: «Для этой новой среды хотим мы писать и прибавить наше слово дальних странников — к тому, чему их учит Чернышевский с высоты позорного столба, о чем говорят подземные голоса из царских кладовых, о чем денно и нощно, — Сорокин поднял палец, — проповедует царская крепость — наша святая обитель, наша печальная Петропавловская лавра на Неве». Как же не о вас?

— Давно это написано?

— Да уж больше года. Мой грех, — вздохнул комендант. — Никогда я себе не прощу, что допустил эту… лавру. Все могло прелестно устроиться, невзирая на ваши с генерал-губернатором шашни. Гнили бы вы потихоньку в равелине, смотрели бы страшные сны, корчили бы рожи часовому, и не то что сочинять, а и говорить уже разучились бы. Сидит у меня один такой — целые дни орет благим матом, а что — не разберешь. Вот этот уже безопасен. А Чернышевского и вас я проглядел, да! Еще Пинкорнелли этот… но с ним решит военный суд. А мне два утешения только и остаются. Первое, что ни Чернышевскому, ни вам не литераторствовать больше. Уж я расстараюсь, чтобы вам тут жилось не слаще, чем ему на каторге. Время еще не упущено. Авось не вытерпите, драгоценный друг. Для того и в Шлиссельбург не отправляю, чтобы лично, самому, в окошечко наблюдать. Умалишенные бывают страх забавны.

— А еще чем намерены вы утешаться, ваше высокопревосходительство? — дрожащим, высоким от гнева голосом осведомился Писарев. Его трясло. Непослушными руками он вцепился в отвороты халата.

— А другое утешение мне отец Василий подсказал. Ничего, говорит, не горюйте, их очень скоро забудут, и весь вред выветрится. Дети нынешних гимназистов при имени Писарева только и вспомнят анекдот, что жил некогда глупец, лаявший на самого Пушкина, наподобие крыловской Моськи. А внуки не припомнят и анекдота, и ни один учитель не поставит за это единицу…

— Лжете вы, — хрипло крикнул Писарев, — лжете про гимназистов! Агент полиции ходит в бархатной рясе, декламирует басни Крылова и предсказывает будущее! Это вас с ним никто не вспомнит, потому что вас нет и не было никогда! А обо мне пожалеют… Пускай я здесь сгнию, вам на радость. Все равно какой-нибудь мальчик, совсем один, далеко, в глуши —

раскроет старый журнал… Через двадцать, через сто лет раскроет! И я, давно мертвый, этому мальчику буду как брат. Потому что мыслить — очень трудно. И очень весело, если хотите знать, да где вам! Вам бы только толкаться и топтать, бедные дураки, только бы…

Он разорвал тесемки, которыми был завязан халат, зачем-то сбросил его и так стоял в одной лишь ветхой длинной рубахе, нелепо растопырив руки, давясь словами. Потом упал навзничь. Ударила сигнальная пушка: полдень. Но Писарев не слышал. Он потерял сознание.

ЭПИЛОГ

Один славный мастер учил, что конец романа, подобно концу детского обеда, должен состоять из конфет и засахаренного чернослива. На практике это означает, что точку надо ставить в тот момент, когда герой выпутается из беды или добьется цели, — не раньше, но и не позже, а стоит промедлить — и начнется новый сюжет, в ходе которого чернослив, очень возможно, будет съеден без остатка.

Когда пишешь роман-биографию — сочиняешь, если позволено так выразиться, правду, — этот совет, к сожалению, неприменим. Биографии все кончаются плохо, и почти ни одна не совпадает со своим сюжетом. Но считается, что биограф не вправе покинуть героя прежде, чем тот простится с жизнью. Итак, доскажем необходимое.

В ту апрельскую ночь шестьдесят пятого года, когда умер старший сын Александра II — в Ницце, на вилле Бермон, — принцесса Дагмара Датская, невеста усопшего, как ни была безутешна, не смогла не заметить выдающихся достоинств нового русского цесаревича. По чудесному совпадению, чувство ее и на этот раз оказалось взаимным и умилило родителей суженого. Так что по истечении годичного траура назначена была помолвка. Покушение Каракозова все испортило и омрачило: помолвку перенесли на середину июня, а торжественный въезд высоконареченной невесты в Петербург — на вторую половину сентября, чтобы в памяти встречающих расплылись очертания безликого чучела из белой мешковины, трепещущего на веревке посреди Смоленского поля.

> «Торжественный въезд, — записал 17 сентября 1866 года П. А. Валуев, — состоялся при великолепной погоде, с большим великолепием земного свойства. Да будет это согласие неба и земли счастливым предзнаменованием… Прекрасные стихи кн. Вяземского под стать той милой Дагмаре, которой и наименование он справедливо называет милым словом».

Чуть ли не в этот самый день (измучивший обитателей Петропавловской крепости нескончаемой пушечной пальбой) в Париже умер от чахотки молодой русский юрист, некто Александр Пассек; его подруга, госпожа Маркович, более известная в отечественной литературе под псевдонимом Марко Вовчок, закрыла покойнику глаза и придавила веки

пятифранковыми монетами.

В последующие две недели датскую принцессу по утрам наставляли в православии, по вечерам развлекали: то спектакль в Большом театре, то музыкальный вечер в покоях императрицы… А госпожа Маркович заказывала на заводе свинцовый гроб, ездила по знакомым — занимать деньги, вела переговоры с директорами железной дороги.

> «Не могу понять, — брюзжал Тургенев в своем Баден-Бадене, — зачем нужно перевозить тело, чтобы похоронить его не там, где его настигла смерть. Во всяком случае, г-жа М. делает это не из религиозных соображений. Ну, да что об этом говорить».

По желанию матери Пассека, Татьяны Петровны (доселе именовавшей избранницу своего милого Брити не иначе как волчицей), он был похоронен в Москве, в Симоновом монастыре; произошло это в начале октября; через несколько дней в Петербурге, в Зимнем дворце торжествовалось миропомазание принцессы Дагмары — отныне благоверной княгини Марии Феодоровны. Бракосочетание назначено было на двадцать восьмое; ожидались большие милости; Маркович спешно выехала в столицу, чтобы, воспользовавшись благоприятной минутой, хлопотать о напечатании «Проекта преобразования тюрем» — того самого проекта, в котором, по мнению бедного Пассека, заключался смысл его короткой жизни.

Расчет Марии Александровны оказался верен: рукопись обещали издать. Еще бы: разве возможно в столь радостный для государства миг отворачиваться от гуманных предположений? Как не подумать о будущих заключенных, смягчая участь нынешних? Празднество ознаменовалось манифестом, извещавшим, что император «преклонил заботу к участи скорбящих и бедствующих членов вверенной ему святым Промыслом великой семьи народной…». Короче говоря, тем из скорбящих и бедствующих, кто после приговора вел себя безукоризненно, наказание сокращалось на целую четверть.

Мария Александровна знала от Раисы Гарднер петербургский адрес тетушки; прочитав манифест, сразу отправилась на Малую Дворянскую; плакали вместе от жалости друг к другу, к самим себе, но и от радости за Митю: срок заключения убавился на восемь месяцев, так что ждать оставалось, по расчету Варвары Дмитриевны, не более недели.

Задержаться так надолго Мария Александровна не могла — торопилась в Москву, — но твердо обещала объявиться через месяц.

Ровно через месяц, на обратном пути во Францию, Мария Александровна остановилась на двое суток в Петербурге и навестила родных.

А Писарева выпустили только восемнадцатого ноября: инженер-генерал Сорокин документально доказал как дважды два и Варваре Дмитриевне, и высшему начальству, что раньше — нельзя, что это было бы противно законам. Вот и получилось, что Писарев снова увидел эту женщину не то на десятый, не то на одиннадцатый день своей свободы.

Она была старше, и троюродная, и замужем (и где-то в Черниговской губернии прозябал Афанасий Васильевич, а в пансионе под Парижем — двенадцатилетний Богдасик); и дамы уверяли, что она нехороша собой, а литераторы — что ее талант весь израсходован; незнакомых фраппировали ее манеры, знакомые находили излишне пространным перечень ее увлечений; а главное — она носила траур по этому Пассеку и выглядела бесконечно грустной, и явно думала о прошлом, роняя в разговоре, что, дескать, тогда только и счастье женщине, когда она так верит, так любит, что покоряется во всем любимому человеку.

Но все это не имело никакого значения.

В ее присутствии сразу проходили сонливая тоска и головная боль; через час после расставания с нею накатывала тревога, не отпускавшая до следующей встречи; видеться с нею как можно чаще — вот и все, чем можно было спастись; а она уезжала во Францию.

На вокзале, после целого дня самых невозможных признаний, было произнесено, что она подумает о переселении в Петербург; Писарев упрочит свое положение в журналистике и заработает побольше денег — однако же не в ущерб здоровью, — а она заплатит — сама, сама! — тамошние долги, пристроит сына в хорошем месте и к весне, может статься, вернется, может быть и насовсем, ведь в Париже ни единой родной души, а здесь — такой славный младший брат, веселый, умный и послушный.

Как ни странно, все сбылось: не прошло и трех месяцев, как она возвратилась. Он все это время жил ожиданием, слал в Париж умоляющие письма, сочинил для благосветловского «Дела» статью о новом романе Достоевского, печатал там же огромную компилятивную работу по истории средних веков, и еще одну компиляцию, по английским источникам, и был весел и нежен с матерью и сестрами.

После приезда Маши Маркович он заметно переменился, и дома почти не бывал, и в редакцию не заглядывал, пропадая по целым дням на Итальянской, где она обитала в квартире

замужней подруги. Работал через силу, жаловался на приливы крови к голове — холодная вода не помогала — и все повторял, что никто ему не нужен, кроме Маши, а родные и знакомые — в тягость. Варвара Дмитриевна смиренно соглашалась: это так и должно быть, — когда любишь, и любишь сильно, то все мамашеньки в сторону, — а сама обижалась и ревновала отчаянно, и притвориться как следует не умела.

В конце мая Писарев объявил ей и сестрам, что рассорился с Благосветловым — да, из-за Маши, да, по ничтожному поводу, но все равно вдребезги, — теперь не будет прежних гонораров, и надобно расстаться, потому что вчетвером не прожить. Нашел себе крохотную комнатку на Таврической, обедал за тридцать копеек в кухмистерской, переводил с немецкого «Историю цивилизации» Шерра (издатель, из небогатых и начинающих, платил пять — семь рублей за печатный лист), редактировал (совсем за гроши) чужие переводы, почти бедствовал, но зато мог себе позволить ни с кем не знаться, кроме единственного человека, который был ему необходим; правда, этот человек настаивал на соблюдении приличий, не скрывая, что это всего лишь предлог, оправдывающий отсутствие любви.

В июле Маркович наняла квартиру на Невском, а в сентябре, сделавшись вдовой (где-то там, в глуши, скончался, напрасно ее призывая, старый муж), позволила наконец Писареву поселиться возле нее — совсем рядом, в том же доме Лопатина, только по другой лестнице.

Мечта исполнилась: день за днем просиживал он у стола, за которым любимая женщина писала роман, подробно разглядывал платье и прическу, дыша ее духами. Когда Маше слишком надоедал этот неотступный обожающий взгляд, она сердилась: нечего бездельничать. Он нехотя уходил к себе, нехотя исписывал страницу, иногда тут же разрывал ее в клочки. Слог не утерял изящества, но измельчился, остыл, обмяк. Впрочем, теперь Писарев больше пересказывал, чем сочинял, и не стоило негодовать на Некрасова, который, загодя заручившись статьями бывшего оракула «Русского слова» в будущих, перелицованных «Отечественных записках», ни разу так и не напечатал его подписи…

Писарев не негодовал. Он был счастлив. Только вот голова болела. Работа не удавалась. И Маша не любила его.

> «…О, Маша! — взывала из Грунца Варвара Дмитриевна. — Я знаю, что это безумие, что это письмо не приведет ни к чему, но все же, ты ведь добра, умоляю тебя, сделай Мите жизнь легкой и счастливой… У Мити

не так, как у других; если он страдает — его умственные способности уничтожаются… Если ты не можешь сделать его жизнь приятной — да что я говорю — счастливой, если не умеешь его полюбить, то хоть пожалей его, меня пожалей…»

В конце апреля шестьдесят восьмого года, когда Маркович закончила роман, они с Писаревым принялись хлопотать о заграничных паспортах. Не вышло: Писарева не отпускали ни за что. Тогда, вооружась медицинским свидетельством, он попросил разрешения пользоваться купаниями в Лифляндской и Курляндской губерниях. На это согласились.

Четвертого июля, утром, в Дуббельне, что верстах в двадцати от Риги, Писарев вошел в море, по мелководью забрел подальше от берега, окунулся — и с этой минуты никто не видел его живым.

1969–1987

ПРИЛОЖЕНИЕ
POST FACTUM: АПРЕЛЬ 1878

> «Милостивый государь Федор Михайлович!
>
> Благодарю Вас за внимание к моей просьбе, за присланные книги и еще более за дружеское отношение к моему сыну. Г-н Достоевский (вероятно, Ваш брат или родственник) пишет мне, что Вы любили и уважали моего сына. — Мне всегда так отрадно слышать от хороших людей доброе слово о дорогом моем Мите — так давно меня покинувшем».

Варвара Дмитриевна встала и прошлась по комнате, чтобы подступившими вдруг слезами не испортить письма. В последние десять лет с нею часто так бывало: не больно, и вроде бы не плачешь, а слез не унять, и не легче от них. Старость это. Старость и горе, сказала она себе и вернулась к столу.

> «Г-н А. Дост. спрашивает у меня, не найдется ли письма или хотя бы записки моего сына. С 51-го года, с десятилетнего возраста, как мы расстались и он поступил в гимназию — за все годы переписка вся по годам и под № сохраняется у меня — я так любила моего сына, что берегла каждую его строку».

Ну вот, опять в три ручья. Она отбросила перо, взялась за петлю на крышке сундучка, стоявшего у ног, подтащила его поближе к окну и уселась возле — прямо на пол. Откинула крышку.

В этом деревянном сундучке, снаружи обитом кожей, а изнутри оклееннном розовым в белую полоску репсом, хранилось все ее достояние. Здесь были две Митины серебряные медали: гимназическая и университетская; альбом с его переводами из Гейне; тетради, в которых он вел дневники; его письма — от самого первого, где так забавно описана железная дорога, до открытки с видом Дуббельна и усталыми словами на обороте. Тут же были и Катенькины письма, и Верочкины, и фотографии всех троих детей Варвары Дмитриевны, и конверты с их локонами, даже чей-то молочный зуб в сафьяновой коробочке, и какие-то свидетельства с двуглавым орлом на печатях, и газетные вырезки, и фарфоровая кукла — безрукая, с разбитым лицом.

Все это было пронумеровано, сколото, разложено по бюварам

и коробкам, — но, роясь в сундучке, Варвара Дмитриевна каждый раз находила возможность что-то исправить, поменять, точно раскладывала большой пасьянс.

Две фотографии оказались одинаковые. Наощупь найдя на дне сундучка карандаш, на обороте одной она написала: «Мой дорогой, любимый Митенька», — на тот случай, если Бог отнимет у нее память, — и вернула на прежнее место, и опять перевязала пачку ленточкой. Вторую фотографию положила на стол.

> «Г-н Дост. пишет, что Вы бы желали, многоуважаемый Федор Михайлович, иметь карточку моего сына и какую-нибудь записку его руки. Посылаю Вам карточку, сделанную в 1866 году по выходе из крепости, — очень была похожа, — и еще 4 письма. Вы в них увидите, как он переносил свое заключение, какая ясность и спокойствие, и это было действительно так. Сенаторы Чемадуров и Корнельян-Пинский, когда я приехала к ним, чтобы узнать, какая участь ожидает моего сына, — оба сказали мне, что я напрасно так тревожусь, что сын мой и спокоен, и весел даже, и когда его требуют в Сенат, то он из крепости приезжает не как из заключения, а как бы с балу, и что когда дали ему прочесть статью, за которую он арестован, то он, улыбаясь, сказал, что теперь она и ему не нравится — и более ничего, никакого раскаяния, никакого горестного выражения в лице, — говорили они».

И злились, добавила про себя Варвара Дмитриевна. Даже в приговоре написали, что раскаяние, с которым он обращается к милосердию монарха, — притворное. И не пожелали ничем облегчить его участь. Два с половиной года продержали под следствием, не выпуская на поруки, сколько Благосветлов ни хлопотал, и на суде не нашли смягчающих вину обстоятельств, наказали, как за приготовление к бунту: два года и восемь месяцев заключения в крепости. Восемь-то месяцев уж потом скостили, по случаю бракосочетания цесаревича.

Страшно сказать — она и не говорила никому, кроме Раисы: а ведь эти годы, пока Митя сидел в крепости, это было для Варвары Дмитриевны счастливое время. Все бросила, примчалась с Верочкой в Петербург, поселилась против крепостных ворот, на Большой Дворянской. Обивала пороги, дожидалась в приемных, совала серебряные пятачки караульным солдатам, а с генерал-губернатором говорила по-французски.

— Хороший человек был этот Суворов, если бы не он — не позволили бы Мите писать в крепости.

Кутаясь в старенький бурнус, в любую погоду пешком ходила на Восьмую линию, в типографию Тиблена — держать корректуру Митиных статей. Доставляла в крепость нужные книги, в башмаке проносила письма… Была необходима. Но счастье заключалось в другом. Просто Варвара-то Дмитриевна всегда знала, что только она одна и любит Митю, а тепрь и он, казалось, понял это и тоже любил только ее одну.

> «Вы увидите, как он горячо желал, чтобы я жила до его освобождения, и вот я-то, несмотря на разбитое окончательно здоровье, живу, а его — нет. Извините, что я посылаю Вам несколько писем, — я думаю, что, может быть, Вам приятно будет прочесть письма человека, который так чтил талант Ваш… В 66-м году, по выходе его из крепости, мы читали вместе Преступление и наказание, но как нервы его были потрясены переходом в жизнь из гроба, в котором он был заключен 3 года и 4 месяца, то чтение было по совету доктора приостановлено, потому что слишком волновало его. После, когда холодная ванна укрепила его нервы, мы докончили роман…»

Она спутала цифры и не заметила — не стала переправлять. Она вспомнила вдруг, как говорил ей этот доктор, Полотебнов: «Готовьтесь к худшему. Теперь для этого умственного организма начнется ряд пертурбаций, которые могут погубить его». А Варвара Дмитриевна думала тогда, что доктор преувеличивает, что припадок у Мити вызван только поразительным сходством сюжетов. Она и сама удивлялась: романист словно издали следил за семейством Писаревых. И Раскольников этот назубок повторял статьи из «Русского слова», и Разумихин влюбился в его сестру, совсем как бедный Павленков в Верочку.

> «Вообще его приводил в восторг Ваш талант в практическом анализе все перечувствованное честным преступником, — написала она, уже не разбирая падежей, не видя слов, — его борьба! Да, и было же это время, и пережила я счастливый день 8 ноября 1866 — день выпуска его из крепости — арестован он был 2-го июля 62-го года, а 68-го года 4-го июля утонул — странно, он как будто предчувствовал, что утонет».

А Благосветлов говорит — утопился. Откуда ему знать? Они с Митей и не виделись с конца шестьдесят седьмого года, с тех пор, как Маша их поссорила. Она со всеми Митю рассорила, эта наша

знаменитая Марко Вовчок. В доме Лопатина на Невском, где они с Митей поселились, никто уже к нему не ходил, и Павленков писал Верочке: «Новая крепость — дом Лопатина — ничего, кроме слога, в нем не оставила». Даже Варвару Дмитриевну Митя видеть не хотел: все бы только ему сидеть понуро возле стола, за которым эта женщина сочиняла свой роман, и смотреть на нее. И ведь знал, наверное знал, что она его не любила! Уж как Варвара Дмитриевна умоляла: Маша, пожалей его! Маша, спаси его! А Маша думала только о своих страданиях, о своих потерях, о своей литературе. Вот и не уберегла мальчика. И зачем понадобились им эти морские купания!

> «В 63-м году, когда я еще жила в деревне, он писал ко мне, чтобы я утешала себя мыслью, что в крепости он застрахован от всяких несчастных случайностей, что, наприм., любя купаться, как он любил, он мог бы утонуть, а тут поневоле огражден от этой опасности. И полный жизни и любя жизнь, делая планы работ на прочие годы вперед — утонул, и нет, нет его, моего хорошего и дорогого Мити!»

А Благосветлов говорит — слава богу; Митя, дескать, еще в конце шестьдесят седьмого года умер как умственный деятель. Но это он со зла, от обиды, Благосветлов. Он хоть и разбогател, и капиталистом скаредным сделался, а Митю все-таки не забыл. У него в кабинете Митин портрет висит, на котором по нижнему полю — Митиной рукой: «Слова и иллюзии гибнут, факты остаются». Это из статьи о Молешотте, кажется.

Факты. Варвара Дмитриевна всхлипнула и даже обрадовалась — ей опять было больно плакать. Какие факты, Митенька? Вот они все в моем сундучке. А твой гроб свинцовый, страшный — на дне Волкова кладбища. А Катенькина могилка — где-то в Швейцарии.

Двоих детей пережить, боже мой, и оба умерли так страшно, вдалеке, между чужих людей, так одиноко. Я же знаю, знаю, что Катенька застрелилась, хоть от меня и скрывают. Нигилизм, конспирация, деньги, любовь, револьверы и печатные станки. Факты. И Верочка так несчастлива. И Раиса. Обе — пожилые, больные, одинокие, зарабатывают черновой поденной журналистикой, бедными черными платьями по редакциям шуршат, и обе курят мужские папиросы. Маша растолстела уродливо, ничего не пишет, всеми забытая, живет в провинции, замужем за офицером, а он чуть ли не ровесник ее сыну. И мы с Иваном Ивановичем доживаем врозь и, сказать по правде, сильно нуждаемся. А продать право на издание не можем — это значило

бы обмануть и ввести в убыток покупателя, потому что не пропустит цензура сочинений Писарева. Григорий Евлампиевич объяснял — это все из-за Гончарова, он преследовал Митю беспощадно, это по его докладу вновь остановлено было «Русское слово». И тогда комендант велел отобрать у Мити книги. А потом несчастный Каракозов стрелял в государя, и тут уже закрыли журнал насовсем, и даже бумагу, даже чернильницу из камеры унесли. Целый год не позволяли писать, оттого и на волю вышел такой потерянный. Не прощу Гончарову. И Щедрину — за то, что в печати дразнил Митю юродивым. И никому не прощу, кто его не любил. Что факты? Все факты нашей жизни погибнут вместе с нами. Остается только любовь. Иллюзии остаются. Слова.

Варвара Дмитриевна спохватилась, что Достоевский ее не слышит, и принялась поспешно писать:

> «А между тем требуют соч. Писарева, и нет в продаже, дают тройную цену, чтобы только достать, и нет нигде, а мы нуждаемся — у меня только одна дочь, и я живу с ней розно, потому что не имеем средств жить вместе. Она живет литературной работой, и ей едва достает на прожитье того, что она получает. И что находят вредного в соч. моего сына? — понять не могу, — он был такой хороший, такие честные, честные существа!»

Не перечитывая, она растопила в пламени свечи брусок сургуча, запечатала пакет хрустальной гирькой с вензелем ВП и надписала адрес: «В Петербурге, близ Греческой церкви».

Достоевский получил это письмо. Он хотел использовать его и автографы Писарева в новом, только что начатом романе «Братья Карамазовы». Но потом передумал.

1979

notes

Примечания

день милостей *(фр.)*.

2

«То, что нам предлагают, это — конституция и две палаты» *(фр.)*.

3

Милый друг Маменька! *(фр.)*

что он меня поистине любил *(фр.)*.

что говорить об этом в те часы, когда он имеет счастье видеть его величество, было бы кощунством *(фр.)*.

быть в курсе всего, что там делается *(фр.)*.

что он погиб в общественном мнении *(фр.)*.

8

Старый лев… выказывает геройский дух *(фр.)*.

9

«Что сделают с Польшей» *(фр.)*.

10

В самом деле *(фр.)*.

обозрения *(фр.)*.

Но оставим это все *(фр.)*.

или это все всерьез *(фр.)*.

в шутку *(фр.)*.

она замужем *(фр.)*.

16

увы! *(фр.)*

жестокость *(фр.)*.

напрямик *(фр.)*.

соблюдать приличия *(фр.)*.

литературного произведения *(фр.)*.

их посредником при этой переписке *(фр.)*.

эта прическа ей к лицу *(фр.)*.

с листа *(фр.)*.

да приди же в себя, мой бедный помешанный мальчик, и поговорим разумно *(фр.)*.

25

Меня бы сочли более влюбленной, нежели сама любовь, и более пылкой, чем сама страсть *(фр.)*.

26

Разве не вообразил бы он, что я себя насилую, подавляя свою страсть? *(фр.)*

что это яд, который мы принимаем, чтобы от него избавиться *(фр.)*.

записные книжки *(фр.)*.

высшая полиция *(фр.)*

так называемые *(фр.)*

31

чистокровный *(фр.)*

страшно вымолвить *(лат.)*

плут (от *нем.* Pfifficus).